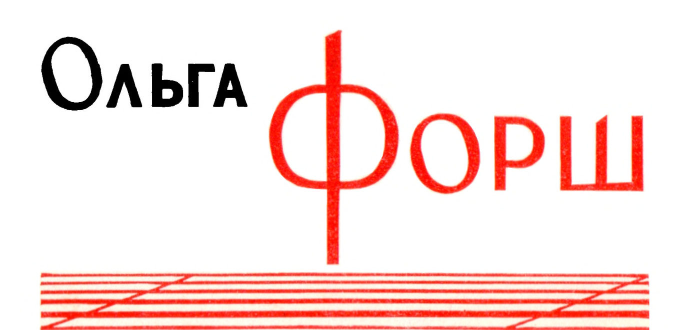
ОЛЬГА
ФОРШ
5

Ольга Форш

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

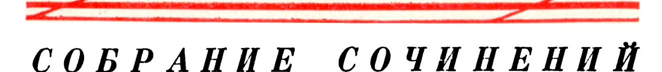


Ольга Форш

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ВОСЬМИ ТОМАХ

Государственное издательство
Художественной литературы
МОСКВА · ЛЕНИНГРАД
1963





СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ
5

ПЕРВЕНЦЫ СВОБОДЫ

Государственное издательство
Художественной литературы
МОСКВА · ЛЕНИНГРАД
1963

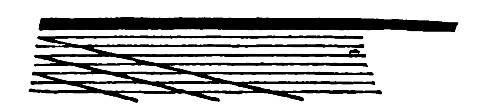
Примечания
И. М. Семенко



О. Д. ФОРШ

1953 год

ПЕРВЕНЦЫ СВОБОДЫ



«...Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена...»

В. И. Ленин

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Иван Дмитриевич Якушкин сидел в кабинете своего деревенского дома в имении Жуково, расположенном недалеко от Вязьмы.

Якушкин был еще очень молод, он только что вышел в отставку, и штатское платье сидело на нем както неладно: высокий белый воротничок слишком подпирал его бритые щеки, и неискусно повязан был шейный фуляр. Лицо — красивое, казалось очень смуглым при больших серых глазах.

В открытые окна кабинета смотрели березы, тронутые осенней желтизной, меж белых стволов уходил вдаль чистый синий пруд.

На письменном столе лежал большой конверт от генерал-майора Фонвизина, только что привезенный с оказией из Москвы.

Якушкин протянул было руку к письму, но, глянув на стрелку стенных часов, распечатывать конверт раздумал и закрыл его пепельницей — чугунным плетеным лаптем. «Сейчас ребята придут на урок, письмо не пустяковое, лучше прочесть на досуге».

В открытых дверях появился старший из учеников домашней школы Якушкина. Мальчик, не робея, весело сказал:

— А к вам тут, Иван Дмитриевич, Ленькин тятька насчет сына пришел. Желает взыскать с вас за Леньку отступного. Уж мы его срамили. Куда! Ежели, говорит, барину охота позабавиться — пущай и благодарность оказывает.

— Придумал! — усмехнулся Якушкин. — Ну, Сеня, рассаживай ребят, как у нас положено; выдай всем грифельные доски, тетради. Я сейчас...

Иван Дмитриевич прошел на кухню. Здесь худой малорослый мужик упал ему в ноги и завопил:

— Не оставь, батюшка, дровец бы за Леньку!..

— Да не смей ты падать в ноги, — вспыхнул Якушкин, — не слыхал разве, что я вам запретил эти гадости? И шапку не сметь ломать передо мной, когда сам я в шляпе. Слыхал?

— Наслы-ы-шаны, — с нежданным равнодушием протянул мужик и тут же настойчиво повторил: — Возок бы за Леньку, ваша милость! Вам — господская забава, мне убыток.

— Леня одет, обут, накормлен, — сказал, сдерживая досаду, Иван Дмитриевич, — тебе прямой расчет, чтобы он в школе был, а кончит — в Москву отошлю, ремеслам обучится.

— Ну, это бабка надвое сказала, — усмехнулся мужик, но, спохватившись, поспешно добавил: — А что твоя милость его поит-кормит, премного тебе...

Мужик опять было собрался падать в ноги, но Якушкин его подхватил и приказал подошедшему при-

казчику разузнать, каковы в семье у мужика достатки и если нужда — не в очередь выдать дрова.

Уловив только последние, приятные для себя слова, мужик таки стукнул лбом для прочности дела, а Якушкин, нервно поводя плечом, поспешил в зал к ученикам.

«Вот и заглаживай чужие грехи, — с досадой думал он. — Столько народ хватил зла от помещика, что уж добру и не верит!»

На уроке Якушкин отдохнул. Мальчиков было двенадцать, все веселые, смышленые, с полслова понимали и грамоту и счет. Но только он увлекся рассказами из русской истории, как раздался громкий голос соседа-помещика:

— Где тут барин? Подавайте мне барина!

И, предваряя всякий доклад о своей персоне, в зал вошел высокий шумливый Лимохин, известный в округе картежник и собачник. Он крикнул, едва завидя Якушкина:

— А я к вам договориться насчет мельницы! Поскольку река — граница наших поместий, сам бог повелел мельницу строить совместно.

Якушкин отпустил мальчиков по домам:

— Завтра накинем лишний часок!..

Договорившись о мельнице, помещик лукаво подмигнул:

— А я-то, батюшка, глядя на вашу юность, и не думал, что такой великий вы практик! Ребята не зря, чаю, грамоте обучаются. Еще музыку прикинуть да пение, и цена каждому сопляку тройная.

— На этот счет я не разделяю обычные вашему кругу понятия, — сказал, хмурясь, Якушкин, — людьми

я не торгую. Когда я был за границей, дядя мой, управляя Жуковом, запродал было двух здешних музыкантов молодому графу Каменскому...

— Сыну фельдмаршала? Ну, с этого можно было и сорвать, — понимающе вставил Лимохин.

— При встрече граф лично заявил, что он мне должен четыре тысячи, и предложил сделать купчую.

— Ну, а вы? — с интересом спросил Лимохин.

— А я этим музыкантам тут же дал отпускную. Мой дядя, а может, и граф Каменский сочли меня сумасшедшим.

— Таковым и соседи почитать станут, батенька, коли в этом духе продолжать станете, — убежденно сказал Лимохин. — Уж больно от всех нас просвещением своим отличитесь! Ведь вот поговаривают, сударь, — понизил он голос, — у нас в столицах целые тайные общества развились из таких, как вы, представителей молодого военного поколения! А здесь, не обессудьте, вот каковы ваши соседи: один, поправей от Жукова, содержит стаю гончих и борзых куда лучше, чем своих людей, побираются они от голода, как здесь говорят — «в кусочки ходят». Другой ваш сосед, слева, намедни приехал ко мне четвериком — с лакеем, с форейтором. Два дня мы с ним беспросыпно дулись в картишки, и спустил он мне свою четверку с коляской, с лакеем, с форейтором. Счастье его — вообразите — на горничной-девке отыгрался... Ну, до следующей встречи! Да, батенька, таковы мы есть, ваши соседи и большая часть наших помещиков. Так что, извините меня, старика, вы и вам подобные пребываете среди нас пока что как белые вороны!

Лимохин захохотал и стал прощаться. Якушкин вышел проводить его до крыльца, присел на скамейку и долго оставался в глубокой задумчивости.

Даже самые передовые люди из числа знакомых Якушкина полагали, что крестьянин должен блаженствовать, если он получит хотя бы одну только личную вольную. Упускали из виду, что, не зная никакого ремесла, умеющий только пахать землю, которой у него больше не окажется, освобожденный без земли крестьянин просто будет обречен на голодную смерть.

И потому велико было не только смущение — настоящее горе Якушкина, когда в ответ на свои лучшие намерения он получил нежданный афронт от своих мужиков.

А было это так.

Вокруг этого самого крыльца Якушкин собрал однажды всю деревню. Сильно волнуясь и вместе с тем невольно чувствуя себя героем, потому что, добровольно освобождая крестьян, отказывался от немалой части своих доходов, он произнес короткую речь.

Преодолевая неловкость от устремленных на него глаз, то любопытных, то полных недоверия и явной насмешки, Якушкин сказал:

— Вот что, друзья мои, я предлагаю вам следующее: все вы получаете вольную, и я безвозмездно дарю вам ваши избы с огородами, ваш скот и хозяйственное имущество...

От волнения Якушкин должен был перевести дух. Он смутно ждал, что едва произнесет свои самоотверженные слова, раздадутся благодарственные возгласы, рыдания, возможно падут на колени, благословляя его...

Всеобщее безмолвие было ему ответом. Старики потупились, по долголетней привычке не веря барину;

молодые смотрели выжидательно. Даже бабы не растрогались.

«Может быть, они не понимают, что я им сказал, — подумал Якушкин, — или так сильно поражены моими словами, что лишились чувства и языка?»

Наконец заговорил старик, с трудом, словно жернова ворочал:

— Усадебной земельки и курям, сказать, мало! А где же яровое, где озимое... опять-таки — сенокос?

Голоса подхватили:

— Без земли неспособно!

— И так хлебушка вволю не видели, а тут и вовсе не будет!

— Во сне изловчись увидать! — насмешливо выкрикнул голос.

В толпе засмеялись:

— Ну партизан! Уж он отмочит!

Якушкин, взглянув на знакомого ему партизана Осипа Карпенко, замялся и, досадуя на себя, смущенно сказал:

— Землю сдам вольным людям в аренду. Ну, кто пожелает?

— Достатков таких нет у нас, чтоб в аренду... — сказал плечистый мужик. — А землицу засеять нам обязательно. Вот и крутись.

— Сам посуди, ваша милость, можно ль человеку без хлебушка, — задребезжал дед, белый как лунь.

— Земля моя, — упрямо и холодно сказал Якушкин. — Еще раз повторю: кто хочет арендовать, пускай арендует.

— И-и, батюшка барин... — дед махнул рукой и не стал продолжать.

* * *

— Пропасть между нами, пропасть, — твердил с горечью Якушкин, шагая по своему кабинету. — Ни мы мужиков, ни они нас вовек не поймут. И возможно ль надеяться на их доверие, пока у нас право — безнаказанно выменять любого из них на борзую. Одна надежда на тайное общество: только оно разрешит проклятые вопросы.

Он разорвал конверт и стал читать письмо Фонвизина. Сразу же бурно обрадовался, — генерал звал его немедля приехать в Москву по делам Общества.

Вызванный принудительными обстоятельствами отъезд из Жукова был сейчас Якушкину как временный отдых от неудачи с мужиками. Но едва он стал читать дальнейшее, как изменился в лице. Дойдя до конца, еще раз пересмотрел письмо и поспешно сжег его в камине.

Фонвизин писал, что к «семеновской истории» привлечен друг и тезка его — князь Иван Дмитриевич Щербатов.

Штабс-капитан Щербатов находился в отпуске, когда стряслась «семеновская история», в которой рота, где он был командиром, отличилась особой дерзостью. Хотя князь к самой истории касательства не имел, он обвинялся по поводу своего перехваченного кем-то письма, в котором выражал сожаление о том, что офицеры не остались при солдатах, последовавших добровольно в крепость за своими, несправедливо взятыми, товарищами. Фонвизин приводил точные слова Щербатова: «Мало нам чести отставать от солдат в их благородной решимости».

Отдав приказ камердинеру, чтобы наутро лошади были готовы к выезду в Москву, а чемоданы собраны, Якушкин, как обычно, совершил дальнюю прогулку пешком, но взволнованных мыслей своих не усмирил. Единственное, чем сейчас, до отъезда, ему было возможно заняться, — это пересмотреть свои записи о «семеновской истории», к которой близкий ему человек — Щербатов неожиданно оказался причастен.

Якушкин выдвинул ящичек секретера, вынул толстую тетрадь с «возмутительными» стихами Пушкина и листки, где добросовестно записано было все, что Якушкину удалось узнать устно, от очевидцев, и взять из писем свидетелей относительно этой так называемой «семеновской истории». Он погрузился в чтение...

...По настоянию великого князя Николая, находившего, что командир Семеновского полка Яков Алексеевич Потемкин свой полк распустил, назначен был «подтянуть» солдат полковник Шварц, который до этого командовал армейским полком. Широко по войскам шла молва об его истинно зверской жестокости. В местечке, где он стоял с полком, указывали некий холм, под которым погребены были засеченные им солдаты. Так и звался большой этот холм — Шварцева могила. При бывшем командире Якове Алексеевиче Потемкине безрадостная солдатская жизнь несколько смягчилась. Потемкин вывел из употребления палки, запретил издевательства, грубую брань. Он добивался, чтобы солдат, загнанный непомерными взысканиями, снова почувствовал себя человеком. Командир отечески входил во все мелочи быта, столь важные для солдата.

И тем обиднее было солдатам, когда заменивший Потемкина Шварц восстановил все ненавистное пруссачество, весь казенный бесчеловечный строй.

Не только молодым, неопытным солдатам, но старым, заслужившим военные ордена, Шварц собственноручно драл бакены и усы, плевал в лицо. Для сверхположенного обучения «тянуть носок» забирал усталых солдат к себе на дом, и сам для проверки шеренги растягивался влежку на полу.

Великий князь Николай Павлович не только покрывал — он одобрял эти Шварцовы измышления собственным примером. То и дело он требовал во дворец команду человек по сорок старых ефрейторов. Во дворце при самом ярком бальном освещении его высочество изволил самолично преподавать ружейные приемы. В заключение измученные ефрейторы маршировали до одури. Затаив дыхание, боялись поскользнуться на дворцовом паркете, натертом до зеркального блеска.

Нередко, в угоду супругу, молодая тщедушная жена Николая, Александра Федоровна, становилась на правый фланг и рядом с огромным гренадером вытягивала свою нарядную ножку.

Оскорбленные воскрешенной гатчинской фрунтоманией, старые полковые командиры и другие порядочные офицеры поспешили перевестись в армию. Заступившие на их места молодые, новой формации, недостойно лезли из кожи, чтобы угодить и выслужиться. На инспекторских смотрах заявления солдат, которые могли бы обуздать самоуправство жестоких командиров, вывелись из обычая: они теперь уже рассматривались как действие мятежное, и жалобщика подводили под те же палки.

Наконец жестокость Шварца стала невтерпеж солдатам, и, чтобы его сняли с должности, они задумали совершить дело, неслыханное по понятиям военной субординации. 16 октября 1820 года солдаты самовольно, в неположенный час, вышли в коридор и заявили фельдфебелю Брагину, что они покорнейше, но немедленно требуют прибытия ротного командира Кашкарова для передачи ему своей просьбы.

Дерзости не было, но солдаты проявили такую непреклонную настойчивость, которая побудила фельдфебеля вызвать ротного командира, а тот, в свою очередь, вызвал батальонного. Солдаты требовали снять Шварца и назначить какого угодно другого командира.

— Больше не имеем силы сносить издевательства полковника Шварца!

Батальонный командир поехал к Шварцу, чтобы он личным появлением успокоил людей и рассмотрел их жалобы.

Шварц, знавший за собой столько грехов перед солдатами, испугался и полетел с донесением о бунте в Семеновском полку прямо к великому князю Михаилу, бригадному командиру.

Юный Михаил, превосходивший самого Николая своей ретивостью к фрунту и субординации, продержал роту несколько часов на допросе: кто зачинщик? кто «вызыватели» в коридор, да еще в неположенное время?

Солдаты «вызывателей» не выдали.

Вечером генерал-адъютант Васильчиков заманил безоружную первую роту в штаб корпуса, объявил ее арестованной и отправил в Петропавловскую крепость.

Узнав об этом событии, семеновцы ринулись во двор с криками:

— Первая рота в крепости, а мы спать, что ли, пойдем? Всем один конец, погибать — так уж вместе!

Взволнованный арестом своей роты, полк не пожелал возвращаться в казармы. Бушевал гнев против Шварца, из-за которого, понимали они, теперь погибнут мучительной смертью под шпицрутенами сотни невинных людей.

Какой-то взвод кинулся в квартиру Шварца. И конец бы этому полковнику, если бы не надумал он сбежать от заслуженной смерти в... навоз: на дворе его дома чистили конюшни, и он с головой зарылся в огромную кучу. Там искать его не догадались.

Солдаты нашли где-то парадный мундир Шварца, вознесли на палку и, предав всяческому поруганию, разодрали в клочья.

Однако подъехавшего генерала Милорадовича, а с ним и бывшего командира Потемкина солдаты встретили приветливо и даже кричали Потемкину:

— При вас бы в полку ничего подобного не получилось!

Тем более поражено было начальство, когда с небывалой для замуштрованной солдатни твердостью, спокойствием, сознанием своего достоинства семеновцы объявили:

— Но в казармы мы не вернемся, доколе не обещают нам снять полковника Шварца и не вернут арестованную первую роту обратно в полк. Нам без первой роты нельзя — пристроиться не к чему!

Васильчиков, корпусной командир, привыкший смотреть на полк как на заводную машину, оказался

и здесь неспособным увидеть в солдате человека. Изругав полк «изменниками» и «бунтовщиками», он скомандовал в бешенстве:

— В крепость!

И старый Семеновский полк, соблюдая до мелочей дисциплину, построился в колонны и ушел целиком в Петропавловскую крепость.

Немедленно послан был курьер к Александру, заседавшему на конгрессе в Троппау, с донесением о небывалом доселе событии в русской армии — бунте целого полка. Как повелит с ним расправиться?

От царя ждали мудрого решения этого вопроса...

«Вот она — его мудрость!» — усмехнулся Якушкин, развертывая листок с «возмутительным» пушкинским стихотворением, приложенным к рукописному тексту «истории Семеновского полка»:

Воспитанный под барабаном,
Наш царь лихим был капитаном:
Под Австерлицем он бежал,
В двенадцатом году дрожал,
Зато был фрунтовой профессор.
Но фрунт герою надоел —
Теперь коллежский он асессор
По части иностранных дел!

Этому «коллежскому асессору» сейчас на конгрессе Меттерних властно твердил, что «троны будут все опрокинуты, если немедля против их врагов не примут решительных мер».

Но, помимо всяких воздействий, для Александра дела «фрунта», по его природной к ним склонности, всегда пребывали ближе к сердцу, чем все прочие дела. Решив, что в его Семеновском полку бунт был

вызван, конечно, «тайными русскими карбонариями», которых он так боялся, Александр не замедлил послать фельдъегеря с жестоким приговором:

«Первую роту судить военным судом в крепости! Прочие батальоны раскассировать по армейским полкам и гарнизонам».

Над этими словами в рукописи Якушкина стояла чья-то выразительная надпись:

«Спасибо царю за нежданную помощь! Семеновцы в армейские полки, чай, не с пустыми руками придут... — с порохом!»

Якушкину оставалось дочитать еще один последний переписанный лист.

«Знамена и музыканты остаются в кадре полка, и новый Семеновский полк формируется из гренадерских рот прочих армейских полков».

Зачинщиков же царь обязательно приказал обнаружить, что и поручено было мастеру допросного дела, некоему полковнику Жуковскому. Этот сразу взял в оборот Брагина, «ибо фельдфебель в своей роте должен быть вездесущ и не допущать до бунта».

Полк сидел в крепости, а зачинщики как растворились в его солдатской гуще, так и не обнаруживались. Но едва Жуковский прибег к испытанному методу «стращать шпицрутенами насмерть», как он уже смог по начальству подать рапорт: «После сделанных обещаний Брагину он заметно ободрился и стал говорить откровенно. А посему надлежит Брагину назначить преимущественное содержание в пище. Быть может, еще и более откроет!»

Брагин открыл все, что от него хотели, и даже более: загубил любимого полком молодого офицера Каш-

карова, показав, что сразу вручил ему список зачинщиков для передачи его по начальству. На вопрос, почему не передан список и где он, Кашкаров отвечал, что, не придав записке значения, ее утерял.

Кашкаров тоже предан военному суду.

В конце сообщалось еще одно небезынтересное обстоятельство.

«От военных людей доподлинно известно, что нашел в себе смелость остаться «при особом мнении» один умный и порядочный человек — генерал-аудитор Булычев. Он дал следующее свое заключение:

«Сообразя поступки полковника Шварца с законом, не могу отвергать, что солдаты были им отягчаемы сверх всякой меры. Помимо того, полковник Шварц позволял себе бить фухтелями без суда даже таких заслуженных солдат, которые имели знак военного отличия. Полагаю, что своим отношением к солдатам сам полковник Шварц и произвел их возмущение. А посему наказывать нижних чинов телесно считаю несправедливым. Полковника же Шварца, лишив чинов и орденов, списать в рядовые».

«Едва ли мнение этого прекрасного человека будет уважено!» — восклицал на полях своего донесения безыменный корреспондент.

— Черта с два уважили! — невольно ответил ему вслух Якушкин. Он бережно собрал все листки и запер их снова в свой секретер. — Раздули вину одних только нижних чинов, которых и засекут беспрепятственно, а Шварцу через краткий срок, гляди, награды пойдут!

Гнетущая тяжесть легла на плечи Якушкина. Чтобы отвлечься, он встал, пошел в конюшню, в каретный сарай... Все там было в исправности. Старый кучер чи-

стил и смазывал колеса, запасал в дорогу овес лошадям.

— По крепкой погодке поедем, Иван Дмитриевич, — сказал кучер ласково, радуясь, что едет в Москву, где у него был на оброке женатый сын.

Якушкин, забыв об этом семейном обстоятельстве своего кучера, его ласковость отнес к себе лично и с удовольствием подумал:

«Не могут не любить меня мужики! Что они от меня, кроме добра, видели?»

Он обошел фруктовый сад, хотел было проверить сеновал. Подумалось, что надо б его набить поплотнее сеном, чай, умялось. Но, выйдя из калитки, дальше он не пошел и стал тихонько за деревьями: по дороге к сеновалу пьяного Ленькиного отца вели под руки два приятеля, тоже подвыпившие. Все трое громко разговаривали:

— Эх, плакали мои последние денежки, — причитал отец, — а с чего пропил их? Ей-ей, с горя. Ремеслам, хвалится барин, я Леньку твоего научу. Нешто ремесла зачурают его от беды? Стукнет барину час в картишки играть, — он его и с ремеслами спустит.

— Разве куш выше возьмет, — поддакнул другой мужик. — Баре все одним миром мазаны.

Мужики направились к пролеску, который вел к их деревне, а Якушкин, глядя им вслед, горестно думал: «Не верят, не верят...»

Он не пошел к сеновалу, где могли быть новые встречи. Захотелось повидать только одного человека, от которого всегда была ему радость и даже словно подкрепление, — пчельника Поликарпыча, отставного солдата, потерявшего под Бородином ногу. Якушкин

дал ему вольную и подарил домик с огородом. Поликарпыч полюбил пчеловодство и навек бобылем зажил в Жукове.

С Поликарпычем разговор у Якушкина выходил неизменно душевный: оба отшагали в походах Отечественной войны, им было что вспомнить. Старый солдат к тому же любил поговорить. Впрочем, не так уж был он стар, а пошел зваться дедом за лысую голову, что в крестьянстве не часто встречается.

— От ран ослабли у меня корешки, вот волосья-то и полезли, ровно пакля из пазов, — объяснял дед.

Изба у него была опрятная, внутри по стенам обвешана березовыми вениками, душистыми травами.

— Вокруг пчелок ходить — чистая духовитость нужна, пчелка на потного сразу осерчает и ужалит.

Дед сам аккуратно обтесал деревяшку для ноги и выкрасил в голубой цвет, как он уверял, — пчелами уважаемый.

— А, батюшка, Иван Дмитриевич, добро пожаловать, давно не захаживали! — обрадовался Поликарпыч. Был он в домотканых синих штанах, с «Георгием» на чистой белой рубахе.

— Не угодно ль откушать с огурчиком свежего медку?

Вечер был теплый, сели под открытым окошком у деда в избе. Дед накрыл стол вышитым рушником, принес янтарные ароматные соты и крупных огурцов.

— Вот в Москву еду, Поликарпыч, — сказал Якушкин, — и может, надолго...

— Вам видней, — вежливо сказал дед, подавая ему толстый, разрезанный пополам огурец, густо смазан-

ный медом. — Самое наше смоленское угощение — медок, как масло!

— Хорош мед, очень хорош! — похвалил Якушкин. Ему сразу стало уютно и просто. — А что, Поликарпыч, двенадцатый год не забыл?

— И сам не забыл, да и нога моя помнит! Так и грызет к погоде. Ночка бессонная, длинная, о чем мне и думать, как не о двенадцатом! А чуть помыслю — сейчас перед глазами старая Рязанская дорога; с правой, с левой — поля необозримые, а на полях наро-о-ду! Кишмя кишит, что муравьев в растревоженной куче. И мужик-лапотник и бабы с ребятами, солдатикам числа нет. Вся матушка Русь в поход двинулась гнать француза с родной земли!.. Да вы не гребуйте, Иван Дмитриевич, коли мертвая пчелка вам попадет, — прервал себя дед. — Вы ее к сторонке, вот так!.. Где пчелка утопла — мед-то еще слаже.

Якушкин засмеялся, с удовольствием слушая Поликарпыча.

— И подумать только, батюшка мой, — продолжал дед, — против тьмы-тьмущей француза наших-то было спервоначалу — кот наплакал! А уж и гнали мы их!.. Что в реках потоплено, что в снегах полегло!..

— До Франции их добежало всего-то тысяч тридцать, — усмехнулся Якушкин и рассказал Поликарпычу, как попавшийся навстречу Наполеону, удиравшему в русских санях из Сморгони, министр Маре с изумлением спросил императора: «Где же ваша армия?» И Наполеон был вынужден весьма кратко ответить: «Армии больше нет».

Дед залился смехом, широко разевая беззубый рот:

— Правду-матку отмочил! Армии, мол, французской нет!..

— А Бородино, дед? — сказал живо Якушкин. — Понимаешь, что именно здесь была цель Наполеона разгромить русскую армию?

— А коли б разгромил, наша Россия у него капитуляцию должна б запросить! Как это не понять, все чисто мы раскусили... Только вышло-то наоборот: сам француз в свою же ловушку и попался. Нам он дух до дерзости поднял. Ну, а с дерзостью к нам и победа. Так говорю?

— Именно, дед. Все, что учитывал в незабвенном совете в Филях наш великий Кутузов, со слезами жгучего горя обрекая Москву, — все сбылось! Охватили французы Москву пожаром, думали запугать, да не вышло. После Бородина вконец расклеилась французская армия. А Наполеон-то хорош, вообрази только, Поликарпыч: среди горящих домов знай себе ждет депутацию от покоренного города!

— Дождался!..

Дед вскочил с недоеденным огурцом в руке, да так прытко, словно он только что узнал о наполеоновском посрамлении:

— Пришлось в русских санях, говоришь, наутек? Да министру короткий ответ: нет армии!

— Ну, а партизанщину, Поликарпыч, помнишь?

— Как не помнить! Наши, чай, мужички сразу встали, партизанские отряды по всем дистанциям потянулись. Дивиться надо, как без всякого военного артикулу они вставали запросто, всей деревней, и вдруг, на сшибку с французом. А побеждали! Вскорости этих мужицких отрядов вó как много сколотилось. Сколько

деревень на пути у француза, столько и отрядов. И каждый, по-военному тебе скажу, каждый был засада врагу.

— А своим — большая поддержка, — согласился Якушкин. Его молодое смуглое лицо светилось улыбкой.

— Ничего не жалели и бабы наши! — кричал дед. — Ни запасного, ни заветного из приданных сундуков — все как есть войскам вынесли! Поили-кормили своих защитников.

— А вооружение партизанское? — лукаво подсказал Якушкин, освежая память деда.

— Одно слово — обмундирование! — хохотал дед. — Иной прямехонько из лесу, как медведь испужает: лошаденка у его мохната, сам ровно смерть с косой, а за ним кто с топором, кто с гвоздем-пикой, кто с рогатиной. Бабы — те, как у печки были, с ухватами! И ничего, что с ухватами, — обмерзших французишек они полоняли — деваться некуда!.. А еще был случай, — доверительно сказал дед, понизив голос, как для сообщения чего-то особо важного, — пофорсили наши партизаны! Набрели на французский обоз и обрядились, конечно, ихними кирасирами. Чуть к своим, русским, в плен не попали. Ну, было смеха!..

— То-то правду сказал наш Кутузов, — отозвался Якушкин. — Наполеону делать ничего другого не оставалось, как отступить, ибо война двенадцатого года поистине была народной войной.

Он вышел из-за стола и обнял на прощанье Поликарпыча.

Выведя барина из своего пчельника, дед глянул на дорогу и вдруг радостно сказал:

— Никак Осип-партизан!

Якушкин остановился, поджидая подходившего человека примечательной внешности: среднего роста, он казался высоким от чрезмерной худобы; носил бакенбарды, а подбородок был тщательно пробрит. Пустой правый глаз прикрывала черная повязка, — «французская памятка» окрестили ее мужики. Этот Осип Карпенко во время Отечественной войны был начальником одного из партизанских отрядов Смоленской губернии. Якушкин, как только вступил во владение своим имением, дал ему вольную.

Осип поклонился, сохраняя солдатскую выправку, и сказал:

— Здравия желаем! А я к вашей милости хотел было зайти попрощаться, да коль повстречались, не стану более утруждать.

Якушкин с неприязненным чувством прислушивался к звуку голоса партизана, вспомнив, как он тогда перед крыльцом глумливо выкрикнул: «А ты во сне изловчись...»

— Куда же ты едешь? — спросил Якушкин.

— В Новоград-Волынский, к племяннику Василию. Он намедни тоже вольную получил. Столярную мастерскую открыть хочет. Меня, как старого мастера, работать к себе зовет.

— За какие же заслуги дал барин твоему племяннику вольную?

— А безо всяких заслуг, — усмехнулся Осип, и его светлый умный глаз, показалось Якушкину, насмешливо заискрился.

— Такой чудной барин выискался! Как получил в наследство деревеньку, приехал и говорит мужикам:

все вы вольные, сколько вас есть, и землю мою промеж себя разделяйте! Не имей, говорит, рабов, ежели сам рабом быть не желаешь!

— Как имя и фамилия его? — спросил быстро Якушкин и вынул записную книжку.

— Иван Иванович Горбачевский, подпоручик Восьмой артиллерийской бригады, стоит в Новограде-Волынском, — с нескрываемым удовольствием отрапортовал партизан.

Якушкин что-то написал на другом чистом листке и сказал, подавая Осипу:

— Передай вот это приказчику. Когда совсем соберешься ехать, он даст тебе в дорогу все, что потребуется.

— Спасибо вам, Иван Дмитриевич, — сказал партизан и опять вытянулся по-солдатски.

Якушкин быстро пошел домой. Он мысленно повторил несколько раз: «Иван Иванович Горбачевский... Из масонов, что ли? Надо будет о нем узнать».

Совсем уже смеркалось. В березовой роще стояла прохлада. Особенно приятно, словно они согревали, мелькали огоньки на опушке леса, — это крестьяне жгли выкорчеванные пни, готовили землю на вырубленном участке для озимой запашки.

У Якушкина больше не было ни чувства одиночества, ни настороженности к мужикам.

«Ведь получилось у меня сейчас непритворное братское общение с Поликарпычем. Ведь нашелся и взаимно понятный язык! А почему? Да не потому ли, что в двенадцатом году мы делали с ним одно, бесспорно общее дело — защищали свою родину! Общее дело и создало обоюдное понимание.

Значит, необходимо, чтобы и наша революционная работа стала таким же общим, народным делом, каким была защита родины в двенадцатом году. Да разве не для блага народного хлопочет наше тайное общество! Но, может быть, не так мы хлопочем, не так, как это нужно народу?..»

Якушкин задал себе этот горький вопрос и, не найдя на него ответа, вспомнил только знаменательные слова великого человека — Радищева, недаром прозванного современниками «зритель без очков».

Слова эти Якушкин отметил особенно, когда читал редкий список «Путешествия», ненадолго попавший в его руки. Своим пламенным языком автор говорил о том, что народ получит свободу только тогда, когда завоюет ее сам.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В 1816 году, вскоре после окончания войны, в Петербурге образовалось первое тайное революционное общество. Оно себя наименовало Союз спасения, а несколько позднее — «Истинные и верные сыны Отечества».

Спрашивается, вследствие какого великого недовольства жизнью, встретившей их на родине, эти молодые представители богатых и знатнейших семейств России избрали опасный путь революционных заговорщиков и рисковали своим благополучием, личной свободой, возможно и жизнью?

Этот вопрос с недоумением задавали себе те их современники, единственной целью которых было как

раз достижение таких жизненных благ, как богатство и блестящая карьера.

Однако героическое самоотвержение лучшей части военной молодежи оказалось просто исторической необходимостью. После недавней великой победы, одержанной всем народом, после гордого сознания, что русские войска только что были вершителями судеб и великодушными освободителями других государств, участники этих войн возвращались домой с уверенностью, что на родине сейчас будет все иное и намного лучше прежнего. Всем ненавистная прусская муштровка, введенная еще Павлом, во всяком случае уже вернуться не может.

За время проделанных кампаний военные отлично разобрались в том, что главной причиной поражения русской армии под Аустерлицем было отклонение от «суворовского духа», который заменен был плацпарадной муштровкой. И велика была радость всех передовых военных, когда еще в начале войны разослано было по войскам наставление господам офицерам, возвращавшее армию к ее исконным суворовским правилам хотя бы этими словами: «При всей необходимой строгости за настоящее преступление, офицер может и должен заслужить почтенное звание друга солдата».

С большими надеждами на освобождение от крепостного рабства возвращались домой рядовые бойцы с незалеченными ранами, с георгиевскими крестами.

Велико же было всеобщее разочарование и горесть, когда дома оказалось для всех не только то же самое, но и много хуже бывшего.

Миновала гроза военной опасности; по крылатому слову цесаревича Константина — «война испортила

строй». Царь пустился по-своему, по-гатчински этот строй выправлять. Он прибавил такие новые строгости к без того тяжкой фрунтовой службе, что солдатам и вздохнуть было нельзя.

Офицерам, только что в победной войне осознавшим свое человеческое достоинство, обязательным стал один-единый интерес — шагистика. А солдатам предоставлялись, как и раньше, бессрочная военная каторга и в превосходящей прежнюю степень — шпицрутены.

Скоро стало всем очевидно, что коварный Александр не даст крестьянам свободы, солдатам — послабления по службе. Царь передал власть в руки жестокого и тупого Аракчеева, сделав распоряжение, чтобы его приказы имели силу наравне с царскими.

Неустанное стремление освободить собственное отечество от порабощения и бедствий, причину которых все видели в самодержавии, создало такое напряжение, которое требовало выхода. И вот молодые офицеры-единомышленники, жившие вместе в казармах, и ближние их друзья положили основать тайное революционное общество.

Александр Николаевич Муравьев, полковник генерального штаба, объединил в одном кружке своего брата Михаила и своих родственников Муравьевых-Апостолов, Сергея и Матвея Ивановичей. Оба были семеновскими офицерами, как и товарищ их Иван Дмитриевич Якушкин, примкнувший к этому первому тайному обществу назвавшему себя «Истинные и верные сыны Отечества».

Никита Михайлович — тоже родственник основоположника кружка и носящий ту же фамилию Муравьев — ввел в тайное общество своего двоюродного брата

Михаила Сергеевича Лунина и Павла Ивановича Пестеля, который и написал устав Общества.

Лунин был намного старше других членов тайного общества и обладал такой зрелостью политической мысли, что или пугал ею товарищей, или вызывал насмешки. Когда еще никто не помышлял о необходимости прежде всего устранить от власти самого самодержца, Лунин предложил Пестелю и Никите Муравьеву готовый, детально разработанный им проект: арестовать царя по дороге в Царское Село.

Устав Общества, составленный Пестелем, он одобрил решительно.

Смысл устава был таков, что пора взяться за собственное освобождение *самим*, пора вместо самодержавия дать отечеству правление совсем иное, основанное на твердом законе, защищающее свободу и права всех граждан.

Однако время шло, и члены тайного общества все еще к революционным действиям не приступали. Как бы исполняя предсказание «зрителя без очков», волны народного гнева и бунта то и дело поднимались снизу «от самой тяжести порабощения». В девятнадцатом году произошел чугуевский бунт, вызванный зверствами Аракчеева в военных поселениях, а в двадцатом году случилась и «семеновская история». Члены же тайного общества все еще не могли прийти к соглашению и начать свои революционные действия.

Устав, написанный Пестелем, в семнадцатом году под его усиленным нажимом принят был всеми членами Общества. Но едва Пестель по делам службы уехал в Митаву — его устав подвергли изменению.

Умеренные члены Общества с примкнувшими к ним новыми, тоже военными из дворян, учредили в Москве Союз благоденствия, в который вошли почти все члены Союза спасения.

В новой программе требование конституции заменено было «надеждой на доброжелательство правительства» и «медленным действием на мнения». Задачи политические отнесены были на второй план, вместо них выдвинули «филантропию, нравственность, просвещение».

Мнения разделились на умеренные и радикальные. Во главе сторонников решительных действий стал Павел Иванович Пестель, в ноябре восемнадцатого года переведенный в город Тульчин. Прибывший через полгода туда же капитан Бурцев оказался его главным противником и упрямым представителем одного лишь «медленного действия, ведущего к исправлению нравов».

Пестель издевался, что для этого «исправления» потребны века, да и то, как говорится, «бабушка надвое сказала». Он ставил немедленной целью — революционный переворот, считая, что нравы изменить способно только хорошее правление, основанное на справедливых законах. И в то время, как сторонники медленного действия боялись не только крови, но и всякой резкой борьбы, —Пестель доказывал, что весь смысл деятельности тайного общества — это направить удар на самодержавие, чтобы свалить его как можно скорее.

Когда умеренные члены Общества напомнили ему, какими кровавыми ужасами завершились во французской революции деяния Конвента, пошедшего таким путем, Пестель, не моргнув, заявил:

— Работа Конвента как раз и была самым мудрым этапом французской революции!

Еще Пестель публично, на собрании членов Общества, произнес во всеуслышание, что правильное развитие революционной мысли в России должно привести непременно к цареубийству и по крайней мере — к десятилетней диктатуре новой власти для того, чтобы удержать все завоевания революции.

Последняя мысль просто устрашила большинство. С пугливыми жалобами на «обворожающее» влияние Пестеля, который высмеивал их мнения, то и дело приезжали в Хамовники к Александру Муравьеву и генералу Фонвизину — рассудительным основоположникам Общества — люди с севера и юга. Они подозревали Пестеля в бонапартизме, в намерении единолично захватить власть после переворота.

Смущало также служебное положение этого подполковника, проживавшего в Тульчине при главной квартире Второй армии в ожидании получения полка. Пестель пользовался у начальника штаба Киселева таким влиянием, что все знали — в его руках находится фактическое управление армии.

И вот умеренные члены Союза благоденствия, желая избежать властного красноречия Пестеля, решили на московском съезде, который назначен был на январь двадцать первого года, сговориться о своих делах первоначально без присутствия Пестеля.

Боясь даже «оказии» доверить письмо с датой назначения съезда, генерал Фонвизин вызвал Якушкина в Москву. Отсюда Якушкин направлен был в Тульчин с инструкцией пригласить Бурцева и Комарова и главное — привезти в Москву давно желанного молодого

генерала Михаила Федоровича Орлова, человека очень видного, вполне самостоятельного в своей особой революционно-просветительной деятельности.

Стоял ноябрь, когда Якушкин подъезжал к Тульчину. Чудесная южная осень еще была полна летнего тепла. Вдоль дороги раскинулись рощи коренастых дубов вперемежку с лапчатыми, уже покрасневшими кленами. Но вот рощи кончились, и дорога пошла мимо черноземных полей с убранными хлебами. По межам важно двигались черные птицы и клевали зерна, оставшиеся после жнивья.

Коляска вдруг остановилась.

— Что случилось? — выглянул Якушкин.

— Да человека чуть не задавили, разлегся, пьяница, на самой дороге и сойти не хочет!.. Вот я тебя вытяну!

Кучер замахнулся было кнутом, но Якушкин его остановил и сам подошел к человеку, лежавшему на дороге.

Лохмотья прикрывали его худощавое тело. Он не двигался. Расширенные мукой глаза глянули на Якушкина.

— Ты хворый? Двинуться не можешь? — участливо спросил Якушкин.

— Ваша милость, — слабым голосом, но ясно и не по-деревенски сказал человек, — или подвезите меня до Тульчина, или пускай меня ваши кони растопчут... Сил моих больше нет.

Человек лишился чувств. Якушкин вместе с кучером положил его к себе в коляску. Кучер был недоволен барином и ворчливо советовал снести бродягу в

сторонку, — неровен час, он в пути помрет, в город привезти мертвое тело — не обобраться хлопот!

Но, попав в удобный экипаж, после нескольких глотков коньяку и хорошей закуски бедняга совсем пришел в себя и на вопросы, кто он и что делал в степи далеко от жилья, ответил уже значительно окрепшим голосом:

— Я, ваша милость, врать вам не хочу. Коли вы мне такую доброту оказали — подобрали к себе в коляску, — я уповаю, и дальше меня не погубите! Из чугуевских я, военных поселений, беглый...

— Бунт у вас был в девятнадцатом году! — сочувственно сказал Якушкин. — Много ль пострадало?

— Около трехсот человек казнили, семьдесят кнутом засечено. От трех до двенадцати тысяч шпицрутенов присуждали, — кто ж это выдержит? Куски кровавые — не человека из строя выносили...

Кучер вдруг придержал лошадей и, обернувшись, сказал:

— Племянника там у меня загубили. А спервоначалу он было писал — жизнь у них вроде зажиточная: крыши железные, и петухи на них ветер показывают. Улицы метены, дома крашены, занавески, что у попадьи, накрахмалены. Едят, ровно в пруду рыбы ученые, по колокольчику, — и обязательно все зараз! И на полы даден срок, и на баню, и на бороду! А не в свой час побрился — порка! Порют с утра до ночи. Вот племянника-то и запороли...

Кучер хватил по лошадям. Тень улыбки прошла по изможденному лицу беглого:

— Ведь истинную правду ваш кучер рассказал, что на военных поселениях с виду словно зажиточно

живут мужики. Поверите, даже на печных заслонках граф Аракчеев приказал чугунных амуров отлить...

— Дань сентиментализму эпохи, — усмехнулся Якушкин. — Мальчишки им, чай, крылышки обломали?

— Одних запороли — другие уже не обломают! Да что амурчики! Живых людей, как зверей, по указу спаривают, вот как такое терпеть? Сейчас еще лютую расправу девятнадцатого года помнят, стали тише воды, ниже травы. Хоть живьем их пилить — снесут. А я вот не смог...

От волнения беглый не мог договорить. Якушкин, заинтересованный разговором, ласково сказал:

— Но в чем же ваше дело?.. Не бойтесь, перед вами — друг, сочувствующий вам.

Он пожал беглому руку, тот благодарно взглянул на Якушкина измученными глазами и тихо вымолвил:

— Вот на таких, как вы, — вся наша надежда! Я сам много читал и с семинаристами вел знакомство, они кое-что мне пояснили...

— Все расскажите, — сказал мягко Якушкин. — Надо знать, как и чем вам помочь.

— В военных поселениях был от графа приказ на «красной горке» спаривать людей таким манером: отбирает приказчик всех девок по шестнадцатому году, а парней — по восемнадцатому, и как заблагорассудится, по разным, будто хозяйственным статьям делает заключение: такого-то с такой-то оженить. Конечно, без всякого спросу насчет личных склонностей. Я, как певчий, особо стоял. У меня была невеста и уже имелось разрешение жениться, как вдруг приглянулась эта невеста приказчику. Он и выхлопотал, чтобы ее старику ледащему назначили, а уж со стариком у него до-

говор особый... Сколько ни звал я невесту с собой бежать — слушать не хочет: мол, сил моих не хватит, а тебя под палки подведу! Беги один, обязательно беги, а то убийцей тут станешь!.. Ночью она удавилась, а я убежал. Остался бы — обязательно Аракчеева убил! Мужиков пожалел: за такое дело не меня одного, сотни бы их загубили...

— Куда ж ты теперь?

— А тут сверну в сторонку, не доезжая Тульчина. Граница близка, а перемахнуть через Дунай — некрасовцы-раскольники примут. Мало ль нашего брата туда перебегало.

— Да ведь сил у тебя не хватит!

— Спасибо вашей милости, теперь хватит. А то шел я три дня не евши. Оголодал, совсем ослабел...

Якушкин дал человеку денег, одежду чистую, сапоги. И когда тот указал, где ему надо свернуть в сторону, остановил кучера.

— Ну, иди с богом!

На завороте дороги, не доезжая Тульчина, из коляски Якушкина вышел человек с туго набитой котомкой за плечами и скоро скрылся из глаз. Вслед ему кучер только головой покачал, пробормотав:

— Сапоги-то, вишь, лучшие отдал!

Якушкин долго не мог успокоиться. С негодованием думал он о военных поселениях, возбуждавших ненависть всей страны и ужас солдат. Созданные там по измышлению Аракчеева тяжкие порядки и быт, размеренный до последних мелочей, для русского человека оказались таким адом, что бунты не прекращались. Аракчеев вызывал кавалерию, артиллерию; мужиков топтали, стреляли, проводили сквозь строй. В отчетах,

подаваемых Аракчеевым царю, о которых через приближенных становилось известно и всем, аракчеевским четким почерком против многих имен стояла роковая отметка: «После наказания, рангом определенного, — умре!»

Это те, которые проведены были под шпицрутенами сквозь строй в тысячу человек до десяти и более раз.

Царь Александр не стеснялся говорить с бессмысленной жестокостью: «До Чудова уложу дорогу трупами бунтующих, но военные поселения, как мною задуманы, так и будут».

— К Тульчину-городу подъезжаем, — обернулся кучер и подстегнул лошадей.

Степь ненадолго сменилась холмистой местностью, и городок обозначился вдруг. Редкие двухэтажные дома с балконами особенно резко выделялись среди бедных мазанок еврейско-польского населения. Двухэтажные дома окружены были тополями и акациями, в них расположились русские военные части.

Иван Григорьевич Бурцев — старый знакомый, капитан Московского полка — очень радушно встретил Якушкина в своем нарядном особнячке. Объявил, что никуда от себя не отпустит, и накормил гостя отличным обедом. После обеда прошли в угловую комнату — курительную. По занесенному от молдаван обычаю денщик, став, как для посвящения в рыцари, на одно колено, подвел блюдца под длиннейшие чубуки, разжег трубки и вышел было на цыпочках, но Бурцев его окликнул:

— Никого не пускай, слышишь! А кто настаивать станет, рапортуй одно — капитан в отъезде.

Бурцеву казалось немногим больше лет, чем Якушкину, он был высокого роста и гвардейского подтянутого вида. Родом из дворян Рязанской губернии, в двенадцатом году он служил уже прапорщиком в армии и отличался особой храбростью в кампаниях. Его назначили адъютантом к начальнику штаба Киселеву в Тульчин.

Он знал, что Якушкин не разделяет крайних мыслей Пестеля, но он хотел, чтобы к этому прибавилась и нелюбовь личная, потому что сам он жестоко завидовал необыкновенной одаренности и влиянию Пестеля.

Бурцев приступил к своему намерению издалека, с внешней непосредственностью и хорошо обдуманной тактикой.

Он слыхал, как и все, что Якушкин так неудачно хотел освободить своих крестьян, что от предложенной свободы мужики просто-напросто отказались.

— Здесь у нас много толковали об этом вашем благородном намерении, — сказал вкрадчиво Бурцев после долгих и сочувственных расспросов о хозяйничанье Якушкина в Смоленской губернии. — Поверьте, мы душевно за вас страдали, прослышав о дикой тупости мужиков, не оценивших ваши высокие чувства.

Якушкин, не выносивший лести, нахмурился и резковато сказал:

— Сам я первый виноват, это я мужицких интересов не понял. Невдомек мне было, что свобода без земли такое же ярмо, как и крепостное. Я сейчас про это дело совсем иначе понимаю. Так сплеча рубить было бессмысленно. Сейчас вот занялся обучением ребятишек, школу завел...

— Восхищаюсь вами, — подшаркнул Бурцев, — и возмущен, как мог Пестель осмеивать ваши благие стремления.

— Что же смешного он в них нашел? — вспыхнул самолюбивый Якушкин. — Неопытность молодцу не укор.

— Да разве для Пестеля закон писан? «Отдельные усилия в деле освобождения крестьян просто смехотворны», сказал он, выдвигая ваш поступок как пример, по его насмешливому определению, «дворянского баловства».

Якушкин вдруг засмеялся, и лицо его стало совсем молодым.

— А ведь мне нравится это определение моих земельных утопий, — сказал он. — «Дворянское баловство»! Да разве все мы не грешны этим, при самых лучших намерениях? Изучить народ надо раньше, чем распоряжаться его судьбой.

— Пестель все Радищева тычет в пример, — прервал разгорячившийся Бурцев. Он держался как человек, наконец получивший возможность поведать о давно накопленных обидах. — Последнее время Пестель постоянно заканчивает свою речь перефразой знаменитого «Путешествия»: «До скончания века примера не будет, чтобы царь что-либо упустил добровольно от своей власти», и, следовательно, эту власть отнять у него надо *силой!* Все упорней настаивает Пестель на выполнении безумных заветов Радищева, не принимая в расчет, сколь многие члены Союза благоденствия держатся о Радищеве мнения самой Екатерины и с ней заодно его определяют — «бунтовщик хуже Пугачева»...

Бурцев забегал по комнате. Он был ладного сложения, недурен собой, все было в нем прилично, приятно, но в памяти как-то не задерживалась ни одна его черта: ни лицо, ни манеры, ни звук голоса.

Наблюдая за ним, Якушкин иронически определил про себя: «адъютант».

Вдруг Бурцев сказал:

— А вы знаете ли, Иван Дмитриевич... Простите, что за разговорами я не сразу это вспомнил, ведь у вашего приятеля князя Федора Шаховского был обыск. Искали письма от Щербатова, брата его жены.

Якушкин побледнел. Натали Щербатова была его давнишняя любовь, он к ней сватался и тяжело перенес ее отказ. Но когда она вышла замуж за Шаховского, он странно успокоился, как человек, который свое сокровище поместил в самое надежное место. Шаховской был его приятель и необыкновенно хороший человек.

— Ведь это тот самый Шаховской, которого Сергей Муравьев прозвал тигром, и кличка привилась,— с бойкостью вспомнил Бурцев. — Фонвизин и ваши другие друзья встревожены. Ведь известно, что за тайным обществом начали очень следить. Уж не дознались ли как-нибудь о том памятном собрании, где вы вызвались убить царя, а Шаховской так яростно вас поддержал, что заработал свою кличку? Кажется, это произошло на квартире... Где же именно?

— На квартире Александра Муравьева, — сказал Якушкин. — Говорили о новых ужасах жизни в военных поселениях и читали письмо Трубецкого из Петербурга. Все крайне взволновались. В письме сообщалось, что царь, ненавидя русских, собирается столицу

перенести в Варшаву и прирезать Польше несколько исконно русских земель. Не проверяя сообщения, все Трубецкому поверили, так оно было правдоподобно: всем известно презрение русского царя к русскому народу.

— Да, его любезные изречения передавались по всей гвардии и ложились на сердце непрощаемой обидой, — отозвался Бурцев. — Вспомнить хоть последнее: «каждый русский или плут, или дурак!»

— Все это мы запомнили, — продолжал Якушкин, — да и многое похуже, и вот выступил побледневший Александр Муравьев и сказал: «Необходимо прекратить царствование Александра! Бросим жребий, кому нанести удар». И сейчас помню, как у меня словно земля ушла из-под ног, когда я встал, и, однако же, твердым голосом вымолвил: опоздали с жребием! Я уже решил сам убить царя и все обдумал. Когда он пройдет в Кремле из собора во дворец, я подстерегу его с двумя пистолетами: из одного — царя, из другого — себя. Промаха не дам и никого не подведу. С мертвого — взятки гладки!.. И, конечно, я бы все это проделал. Тут вот Шаховской, яростный, вне себя, громко сказал: «Знайте, я от него не отстану! Только надо без отсрочки! Немедленно!»

— Тут-то его тигром и прозвали, — снисходительно улыбаясь, вставил Бурцев. — Но все собрание, я слыхал, всполошилось и умоляло вас обоих с цареубийством повременить!

— Как же, очень взволновались, уверять стали нас обоих, что мы больны, что бредим... Я, помню, вспыхнул и предложил Фонвизину тут же шахматную партию, в доказательство трезвости моей головы, и тор-

жественно его обыграл. — Якушкин засмеялся: — Ребячество, конечно, но мне до сих пор приятно вспомнить, что обыграл!

— Цареубийство делу свободы принесет только вред, — сказал нравоучительно Бурцев. — Недаром в семнадцатом году сам Пестель отклонил продуманный замысел Лунина — захватить Александра на его пути в Царское. Тайное общество ничего не сможет противопоставить старой, но твердой власти. Лучшее, что можем, — эту власть перевоспитать. Без нее же — все ужасы второй пугачевщины неминуемы...

— Но сейчас, во всяком случае, не семнадцатый год! Тогда цареубийство было еще преждевременно. А ныне нам пора приниматься за настоящее дело, — несколько раздраженно прервал Якушкин. — Ведь царь на справедливые требования семеновцев ответил шпицрутенами! Хорош он приедет домой с конгресса, где прирожденный его деспотизм еще подкрепился советами Меттерниха! Разгуляется пуще прежнего аракчеевщина, а мы что?..

— Вот мы и собираем съезд в Москве, — поспешно ответил Бурцев. — Там до чего-нибудь договоримся.

Он подошел близко к Якушкину и сказал несколько торжественно, как представитель большинства, облеченный властью:

— И все-таки мы никого не хотим насиловать! Мы не хотим проливать кровь. Мы хотим только влиять. Негодное заменять исподволь лучшим. Наши друзья — Илья Долгорукий, Михайло Муравьев — положили руководствоваться лишь теми правилами, которые соединяют людей в добродетели, не более того. И необходимо широко вербовать новых членов, дабы возможно

большее количество граждан охвачено было просветительными намерениями.

Якушкин рассмеялся:

— С этой немецкой сентиментальщиной в наших российских условиях далеко не уйдешь. Для этого и правление менять нечего.

— Но ведь мы почитаем наше дворянское сословие единственной опорой государства, — важно сказал Бурцев, — мы желаем правления просветительного. С одной стороны, мы — хранители добытой свободы, с другой — защитники этой свободы от черни. А вот недавно в Петербурге Пестель с такой силой и убедительностью изложил свое мнение о преимуществах строя республиканского перед монархическим, что присутствующие единогласно постановили для будущего русского государства — республику. Едва Пестель уехал, большинство спохватилось, что вовсе такого правления принять не желают, тем паче за него бороться. Я нахожу, прежде всего, надо нашему обществу отделиться от Пестеля!

Якушкину вдруг совсем неприятен стал Бурцев. Все более проявлял он себя мелким и ограниченно понимающим дело, о котором говорил. И хотя Якушкин не был Пестелем «обворожен», но, как человек умный и справедливый, сразу невольно противопоставил его значительность раздраженному Бурцеву.

— Однако напрасно вместо желания соединения вы раздуваете в себе вражду к Пестелю, — сказал он недовольно. — Нельзя с одного вола две шкуры драть. Пестель, как всякий из нас, не совершенство, но уважения достойно уже одно то, что у него даже нет личной жизни, ничего, кроме дела свободы! Этому делу

посвятил он свой обширный ум, силу воли. Вот это и дает ему право на первое место в тайном обществе. И, не теряя собственных убеждений, каждому из нас надо попытаться принять одну из основных мыслей Пестеля: только объединение всех создаст действительную силу.

— Была б его задача только объединить разномысленных, кто бы спорил, — возразил Бурцев со злым упрямством, исказившим его любезные черты. — Подозреваю не я один, задача Пестеля в том, чтобы этих, им собранных, членов подчинить только своему произволу...

— Не о предполагаемых чувствах Пестеля надо беспокоиться, — веско прервал Якушкин, — а об ясно выраженных его предложениях. Вот они: «Целью переворота должна быть *республика*. Единственным средством борьбы — *вооруженное восстание»*. Наш январский съезд обязан столь же отчетливо выработать и свою точку зрения. Полагаю, что для раздражения личного, которое только затемняет мысль, здесь места быть не должно.

— Совершенно с вами согласен, — обиженным тоном сказал Бурцев, — и чтобы не было ненужного раздражения, просим вас, Иван Дмитриевич, как московского уполномоченного, все-таки не обращаться к Пестелю с просьбой приехать на московский съезд. К тому же у него в Москве никого родных, и делами он там не связан. Государь же о нем отзывался, я узнал намедни, как об опаснейшем карбонарии...

— У меня имеется только письмо к генералу Орлову с личным приглашением, — сказал Якушкин сухо, хотя просьба Бурцева была ему на руку: о том же

относительно Пестеля просили его и члены центра. — Не знаете, в Кишиневе Орлов?

— Он должен был выехать в Каменку. С нашей стороны мы выберем для Москвы таких людей, которые представят волю большинства, а не собственный произвол, — подчеркнуто сказал Бурцев, уже решив, что поедет сам.

— Делайте так, как знаете, — сказал утомленно Якушкин, — ведь вы — отдельная отрасль Союза и право имеете делать собственный выбор. Мне поручено — передать вам только об январском съезде в Москве... Да, вот еще один вопрос, — внезапно вспомнил Якушкин свое прощание с Осипом Карпенко, — не можете ли сказать, что за человек некто Горбачевский? Не член Тульчинской управы? Он живет в Новограде-Волынском, служит в артиллерии.

— Насколько верны слухи, там что-то свое завелось. Предполагаю — сугубо провинциальное, — несколько пренебрежительным тоном ответил Бурцев.

Он предложил Якушкину пройтись по городу, но Якушкин сказался усталым с дороги и ушел в приготовленную ему комнату. Хотелось побыть одному...

Вот Бурцев только что упомянул в разговоре с ним имя Лунина... Якушкин с удовольствием вызвал в своем воображении образ этого смелого, умного и необычного человека.

Лунин начал службу юнкером в кавалергардском полку, а за военные подвиги под Аустерлицем был произведен в офицеры. Участник всех войн с Наполеоном, Лунин вдруг задумал одним ударом покончить с человеком, который стремился поработить весь мир. Он однажды обратился к главнокомандующему с просьбой

назначить его парламентером к Наполеону, предполагая при встрече заколоть его кинжалом. План не удался, полк двинули с места... «А ведь несомненно убил бы Наполеона, если б послали», — улыбнулся Якушкин.

Он было вздремнул, но сразу проснулся от ужаснейшего кошмара: должно быть, встреча с беглым, рассказ его об аракчеевской порке, когда вместо тела остаются кровавые куски, которые можно уж только вынести на брезенте, глубоко запали ему в душу. Якушкину неожиданно представилась эта экзекуция: у человека руки, судорожно скорченные, привязаны к прикладу ружья, которое тащат вперед солдаты вдоль страшной шеренги в тысячу человек с длинными свистящими прутьями. Сзади осужденного тоже идет солдат и колет его штыком, чтобы он двигался без задержки.

Якушкин выпил воды, зажег свечу, пересел в кресло. Он тяжело дышал, сердце билось, нервы требовали отдыха. Но воображение, не повинуясь, работало...

Якушкин вдруг вспомнил себя семнадцатилетним подпоручиком рядом с придворной золотой каретой. Сквозь спущенное стекло на пышном сиденье хорошо видна растолстевшая императрица-мать, Мария Федоровна. Она уже зажала в пухлой руке, обтянутой перчаткой, кружевной платочек, чтобы вытереть слезы умиления при встрече с победоносным сыном-императором. Но где ж это было?..

Сверкающие золотом парадные ризы духовенства, торжество молебна и оглушительного многолетия, а рядом — полицейские с озверелыми лицами, нещадно избивающие простой народ, в восторге стремящийся

поближе повидать своих солдатиков. Над всем народом — парадные ворота у Петергофского въезда, где на самом верху установлены шесть алебастровых коней в честь шести полков Первой дивизии. Это — войска вернулись из похода домой, это — торжественная их встреча.

Толстая императрица-мать ждет, чтобы Александр, как подобает по придворному ритуалу, салютуя, преклонил перед ней свою шпагу.

И он, Александр, юный предводитель гвардии, красавец на золотом жеребце, уже взмахнул этой обнаженной шпагой... И нужно же случиться, что в эту торжественную минуту какой-то растерянный мужичонка вздумал перемахнуть пространство перед лошадью императора. По своим делам он спешил на другую сторону. Внезапно Александр пришел в ярость и, забыв ритуал торжественной встречи, пришпорил золотистого жеребца и с перекошенным лицом кинулся вдогонку бегущему. Мужичонку схватила полиция.

Еще любили царя, еще хотели забыть, что он сын ненавистного Павла, а он так грубо, при первой встрече, напомнил...

Подпоручик Толстой, стоявший тогда рядом с Якушкиным, шепнул: «Похоже на сказку, где злая кошка приняла обличье принцессы, однако не может удержаться, завидев мышей: принцесса кидается им вслед...»

Каким мрачным символом предстала перед Якушкиным эта первая парадная встреча! Ведь уже никакой либеральной личиной не прикрыть Александру его самовластной природы, полной коварства.

«Впрочем, — думал Якушкин, — сейчас до самой

личности царя мало дела. Перед членами тайного общества открылась задача: найти путь, чтобы не только убрать самодержца, но вырвать с корнем и само самодержавие».

Глава третья

Громадное поместье старухи Раевской занимало тысячи десятин в Чигиринском уезде Киевской губернии. Племянница светлейшего князя Потемкина, она от несметных богатств его получила столько имений в разных губерниях, что их количество побудило Льва Давыдова, ее второго мужа, поднести ей к именинам забавный сюрприз. Из одних заглавных букв названий этих имений он составил хвастливую надпись на транспаранте, освещенном изнутри:

«ЛЕВЪ ЛЮБИТЪ ЕКАТЕРИНУ!»

Гости завистливо подсчитали: сколько светится букв, столько, значит, у хозяев есть имений, не учитывая хутора и прочие угодья.

Огромный барский дом с залами в два света, как во дворцах, с антресолями, службами и верандами был окружен чудесным парком и цветниками из собственных оранжерей.

От первого мужа у Екатерины Николаевны был сын — Николай Николаевич Раевский, знаменитый герой Отечественной войны. От второго мужа — двое сыновей Давыдовых. Старший — Александр Львович, полковник в отставке, когда-то красивый, дородством и осанкой всех больше напоминал деда Потемкина, но

дальше внешнего сходства дело не пошло. Осев в богатом поместье матери, он обрюзг, обленился, «офальстафился». От героя Шекспирова отличался, по мнению Пушкина, только тем, что женился на очаровательной графине де Грамон, почему и был им воспет как «рогоносец величавый».

Эта легкомысленная красавица Аглая не стеснялась брать себе разнообразных утешителей, развлекавших ее в невеселом супружестве.

Кроме часто наезжавших детей и внуков, постоянным членом семьи была прехорошенькая дочь дворецкого, Шурочка. Взяли ее на воспитание со всеми правами родной дочери, однако старуха Раевская, дабы девушка не забывалась и помнила барское благодеяние, поставила одно условие: когда отец, дворецкий, подавал ей, как и прочим, кушанье за обедом, она должна была, прежде чем положить себе на тарелку, встать и поцеловать отцу руку.

Жили в Каменке широко, богато и привольно. Держали свой оркестр, хор певчих. В торжественные дни палили из пушек и сжигали такой фейерверк, что надолго оставался он в памяти у соседних деревень.

И вот в это дворянское поместье, как птенцы в гнездо, слетались члены тайного общества в день св. Екатерины.

Второй сын Раевской от Давыдова — Василий Львович — был ярый приверженец Союза благоденствия. Он ждал, что сегодня приедут два других члена Общества — генерал Орлов и его адъютант Охотников. Сам же он недавно привез погостить в Каменку двадцатилетнего поэта, Александра Сергеевича Пушкина, уже прославленного своим «Русланом» и еще того более —

«возмутительными», против правительства, вольными стихами, разошедшимися по всей стране в тайных списках.

Екатерина Николаевна, в белой наколке валансьеновых кружев, атласе и драгоценностях потемкинского рода, восседала в вольтеровских креслах у себя в голубой гостиной. Она была счастлива, что в этот раз ко дню ее ангела съехались ее дети и внуки.

Старший сын — Николай Раевский — приехал со своим первенцем Александром, но бабушка предпочла бы младшего своего внука — любезного и открытого душой Николашу. Александр был ей просто непонятен и с детства не мил каким-то ядовитым характером.

— Кажись, у него и горба нет снаружи, а на душе словно нарост, — говорила она про внука, — ни от него смеха, ни радости. Ну, даст бог, выправится!

Однако в том смысле, как бабка мечтала, Александр так и не выправился. В противоположность красавицам сестрам и могучему витязю Николаше, он просто был неавантажен: маленькая змеиная головка на высоком костлявом теле, лицо же — темнокожее, с ранними морщинами. Тонкие губы всегда с насмешкой, глаза изжелта-карие, как у кобчика, сквозь стекла очков словно жалили недобрым огнем. Генерал, как всегда, пожаловался матери на своего первенца:

— Никакого у Александра проявления чувств! Словно чувства ему и вовсе неведомы, — одна таблица умножения, что в уме, то и в сердце. Ни в любовь, ни во что он не верит, — это в его-то годы, в двадцать пять!

— А вот черкесенка с Кавказа вывез, — оторвалась от пасьянса бабушка. — Может, его полюбил? Все, вижу, целует...

— И свою собаку Аттилку так же он целовал, а не моргнув где-то бросил. И сам не припомнит где. Любит, как игрушку, тех, кто вполне ему покоряется. А попробуй с ним различного мнения — не спор вызовешь, а злую, грубую брань. И чем он так обворожил нашего милого Пушкина? Раскрыв рот, его шипение слушает.

— Пушкин? — бабушка положила карты и недовольно подобрала губы. — Это что Базиль с собой привез? Он, сказывают, по матери негритянской крови?

— Он с гениальной головой и с прекраснейшим сердцем, — сказал горячо генерал. — Он, маменька, самый первый из наших гостей.

— Пусть погостит, я всякому рада, — бабушка кивнула кружевным хохолком и, отстранив сына маленькой пасьянсной картой, дала понять, что «Диана в гроте» у нее не выходит, а чтобы вышла — она на нее загадала, — нужно все напряжение ее внимания.

— Не до разговоров, мой друг...

Но модный пасьянс кончить не удалось. В прихожей с большими зеркалами, освещенной, как для бала, зажженными во всех многочисленных бра свечами, раздались шумные и радостные возгласы. Бабушка только что собралась послать воспитанницу, чтобы узнать причину веселья, как ураганом влетела в голубую гостиную ее любимая внучка Адель, молоденькая дочь чаровницы Аглаи и Александра Львовича.

— Бабинька! — вскричала Адель и так быстро опустилась у ног старухи, что ее кисейное платьице, легко вздохнув, стало над ее головой облаком. — Бабинька! Если бы вы знали, кто приехал! Такой чудесный, красивый генерал Орлов, и адъютант его, и еще некий в штатском по фамилии Якушкин.

Улыбаясь на хорошенькую внучку, похожую на нее в дни такой же юности, бабушка стала что-то припоминать:

— Ни в родстве, ни в свойстве у нас этих Кушкиных нет...

— Я-куш-кин! — хохотала Адель.

Александр Сергеевич Пушкин, вбежавший вслед за девушкой, остановился на пороге гостиной, восхищенно любуясь ее черной головкой с голубыми бантами, окруженной, словно облачком, взволнованной кисеей воланов.

— Что же вы? Помогите! — крикнула Адель, кивая на бабушку, с усилием выбиравшуюся из кресел.

Пушкин так ловко и приятно вытащил Екатерину Николаевну из вороха вышитых подушечек, что она прелюбезно глянула на него, все отчетливо про Пушкиных вспомнила и сказала благодушно, как бы давая ему разрешение существовать на свете:

— Знаю, знаю, сынок прекрасной креолки, племянник стихотворца Василия Львовича. Ну что же, все это отменно хорошо!

Пушкин и Адель сдали бабушку на руки подскочившим приживалкам и, как расшалившиеся дети, бросились в сад.

Сад был строгий, осенний. Пруд не замерз, вода словно еще устанавливалась, тяжелела к зиме. Та веселая рябь, что, казалось, летом жила своей собственной жизнью, играя на солнце и маня скорее сесть в лодку и плыть по ее веселому следу, сейчас чуть отливала тусклым свинцом.

— А ну, кто скорее? — прошептала Адель и побежала вверх по дорожке на высокий искусственный

грот. Пушкин взлетел вслед за нею и сел на большой мшистый камень. Адель взобралась еще выше, сорвала ветку и, касаясь ею волос Пушкина, вдруг заговорила тем особенным, женски вкрадчивым голосом, каким говорила ее мать, Аглая Антоновна, когда начинала свою атаку на новую жертву, — голосом, заслышав который дамы с осужденьем пожимали плечами, а мужчины посмеивались.

Адель сказала, играя веткой:

— При-зна-вай-тесь, кто красивее — я или мама?

Пушкин быстро, с укором взглянул на нее, взял из ее рук ветку, сломал и бросил.

— Грубиян! — рассердилась Адель и сбежала с горки вниз. Видя, что никто ее не преследует, она крикнула уже совсем нехорошим голосом: — Сколько ни будете просить прощенья, я вас ни за что не прощу!

— А я вовсе и не буду просить прощения, — равнодушно ответил Пушкин и остался сидеть на своем камне. Пришли на память циничные наставления одного приятеля:

— Брось, братец, влюбляться! Для этих самок ты становишься понятен, лишь когда дробишь в себе поэта. В чистом виде ты им не по плечу.

Конечно, Адель не Мария Раевская, — как мог он хоть на миг помыслить их рядом! Адель просто дочь своей легкомысленной матери. А для Марии поэту и не надо дробить себя. Да, для нее одной...

И забытое было ощущение совершенной наполненности одним милым образом Марии Раевской охватило его. И еще не в сознании, а как-то вдали, только чувством угадывались вызванные ею стихи небывалой кристальной нежности.

Долго сидел он на камне. Стихи не приближались. Стихов еще нельзя было осознать, словить, закрепить. Что-то не было готово для полного их рождения. Но поэт уже знал, что это неизъяснимое волнение придет еще и еще, пока он не овладеет им, не закрепит словами.

Пушкин сошел вниз и углубился по аллее в самую чащу парка. Ему хотелось долго ходить одному в тишине и думать, думать...

Да, быть бы ему не здесь, а в Соловках, если б не заступились за него перед царем Карамзин и Жуковский, когда дошла до дворца его ода «Вольность». Любопытно, какое у царя было лицо, когда он читал:

О стыд! О ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары...

Попомнит он ему еще раз этих «янычар»! Сам Александр хоть и не был прямым убийцей, но ходили упорные слухи, что он тайно участвовал в заговоре против отца своего, императора Павла.

Пушкин ехал в большом раздражении в эту ссылку на юг. На его счастье, он попал в добрые руки Ивана Никитича Инзова, редкого начальника, соединявшего в себе прекрасные качества — ум и доброту. Инзов отнесся к ссыльному поэту по-отечески и службой не обременял: хоть целый день соси трубку, пиши стихи. Вот и с Раевским беспрепятственно отпустил лечиться.

А лечиться было необходимо. И сейчас, войдя в темную, по-осеннему сырую аллею, Пушкин передернул плечами при мысли о потрясающем ознобе, который так мучил его вперемежку с палящим жаром и гнетущими кошмарами. «Вот и наплавал в дурной час

по Днестру, схватил трясовицу», — ворчал неразлучный с ним верный дядька Никита.

Но как порой солнце разорвет вдруг черные тучи и оживит омертвевшее было поле, таким неожиданным, отрадным явлением, прогнавшим все злые кошмары, был возникший внезапно в его убогой екатеринославской комнатушке густобровый и румяный Николаша Раевский, младший сын генерала. С собой, как родного, увезли Раевские на юг. Возможно, еще долго был он болен, потому что путешествие казалось не действительным событием, а только радостной грезой, сменившей его недавний кошмар. Да неужто в самом деле наяву ехал он с Николашей в карете по необъятным российским просторам, а впереди, в коляске, часто и ласково навещавший его, ехал отец Николаши — генерал, герой Отечественной войны, с дочками, одна из которых звалась несравненным именем Мария. Ехать бы так без конца...

Однако в Новочеркасске он поневоле пришел в себя, столкнувшись с действительностью, и с какой жестокой!

Остановились у наказного атамана Денисова, и пришлось услышать и узнать, как сурово подавляет правительство крестьянские восстания. На Дону и в пятидесяти имениях окрестных помещиков шли настоящие схватки с вооруженными крестьянами. Старый кучер Раевских неожиданно, с памятным одобрением, так пояснил:

— Избивают начальников мужички, в полной свободе хотят стоять! Дай им бог...

А дальше — какой разительный пример этой жажды свободы! Из екатеринославской тюрьмы бежали

двое необычайным способом. Они были закованы вместе одной цепью. Переплыли реку и спаслись. Так вот с какой мощью надо захотеть ее, эту свободу!

Чудесен был старик Раевский, которому в пути с искренним чувством, как герою Отечественной войны, устраивали поселяне и горожане торжественные встречи, а он тихонько шептал поэту, поддразнивая:

— А ну-ка, прочтите им свою «Вольность»!

Старик, желая остаться при своем родовом имени, гордо отверг предложенный ему царем титул графа, и все крепло к этому человеку, чужому по крови, настоящее сыновнее чувство у Пушкина, до сих пор ему мало знакомое, хотя был у него с детства родной отец.

Легко, с повторной яркостью, превосходившей самую первую встречу лицом к лицу с людьми и природой, переживал он, как ему это было свойственно, уже раз пережитое. Он ехал с Раевскими все дальше на юг... Вот в Ставрополе за городом обширная площадь, где происходит в праздник джигитовка. Тогда площадь была пустынна. Пушкин стоял в неизмеримом пространстве один и внезапно увидел на горизонте белоснежный Эльбрус. Охватило такое волнение, словно он подсмотрел тайну природы. Безмерная высота, девственная белизна, как был он потрясен ими! И странно: это впечатление помогло ему отстаивать свое право видеть мир всепроникающей великой красоты, противопоставлять внутренно эту красоту натиску ума точного, острого и безжалостного, каким обладал старший сын Раевского Александр Николаевич. С ним велись очень значительные разговоры на берегу Подкумка, где просиживали долгие вечера...

Пушкин вспомнил Гурзуф, где оказалась уже в сборе вся большая семья Раевских. Приехала жена генерала — родная внучка Ломоносова — с дочерьми. Пушкину приятно произнести вслух имена этих дочерей — Екатерина, Елена, София, Мария.

Мария... И в сердце кольнуло еще раз укором — как мог он помыслить хоть на миг один подменить образ, которому, знал он, уже измены быть не может.

Но вот по отношению к ее брату, к другу своему Александру Николаевичу, есть какая-то перемена и растет смутное им недовольство. Сразу поразила хлесткая ирония этого умного человека, как особая его независимость. Но мало-помалу рядом с отцом, столь разнообразно одаренным, богатым не только умом, но и пленительным чувством, — характер сына много потерял и стал казаться очень далеким от подлинной силы богатой души.

— Пушкин, ты ль это? — окликнул его голос человека, о котором он только что думал. — Иди скорей сюда, — пока окончательно не стемнело, покажу тебе семейные раритеты!

Александр Раевский взял Пушкина под руку и, смеясь, сказал:

— Один? А я окликнул тебя, да и струсил, а вдруг с тобой Аглая или Адель?

— Ан нет ни матери и ни дочки, — угрюмо ответил Пушкин.

— То-то не больно весел! Ну, идем, брат, в храм славы. Я тут летом всегда ночую, — ни одного комара. Сейчас ночевать холодновато, но реликвии еще не убраны на зиму. Завтра при дневном свете досмотришь, чего сейчас не разберешь.

Храм славы был круглый павильон, окруженный колоннами, — фантазия в классическом стиле, — которыми так любили помещики украшать свои владения. Поднялись по ступенькам и вошли в картинную галерейку.

— Направо трофеи материнского, ломоносовского рода, — указал Раевский, подводя Пушкина к портрету и бюсту прославленного предка. — Тут же и сети, которыми гениальный юнец якобы ловил рыбу холмогорскую. Конечно, не те самые сети, но во всяком случае из тех мест.

А здесь, слева, — уже триумфы Раевских, и в первую голову вот тебе воспетый Жуковским папенькин подвиг! Как древний римлянин, генерал ведет погибать за отечество сыновей — сиречь меня и Николашку. Полюбуйся патриотическим лубком, он в чести у нашей бабушки. Видишь, под стеклом, в золотой раме. А как хватят морозы — это сокровище внесут в дом, в парадную залу, и водрузят рядом с подлинным Теньерсом. Даром, что маляр прошелся зеленой краской заодно с шинелью и по ушам пареньков.

— Знаменитый бой при деревне Салтановке, — сказал серьезно Пушкин, подходя к лубку. — Это когда Николай Николаевич с десятитысячным отрядом задержал сорокатысячный корпус Мортье?

— Ну да, и получил золотое оружие. Но ты рассмотри поближе...

Не похожий совсем на Раевского, молодой генерал тащил за руки двух подростков к французским войскам. Подписано было: «Вперед, ребята! Я и дети мои, коих приношу в жертву, открываем вам путь!»

— Помнишь, у Жуковского? — и Александр Николаевич продекламировал:

Раевский, слава наших дней,
Хвала! Перед рядами
Он первый грудь против мечей
С отважными сынами...

— Пусть бабка на здоровье гордится сыном и внуками, — засмеялся он. — Батюшка вкупе с отпрысками возведен в сан римлянина.

— Во всяком случае, отец твой, как всегда в трудную минуту, был впереди всех, — сказал строго Пушкин.

— В этом кто же сомневается? Но столь наивно и витиевато отец ни в каких случаях жизни себя не проявлял.

— Меня ж эта картина не смешит, а трогает, — раздражаясь на Раевского, сказал Пушкин. — Пусть в подробностях она — вымысел: по существу она истинна. Здесь наличность чувства национального, здесь прославление русского героя-воина, каким и является Николай Николаевич.

Раевский усмехнулся, пожал плечами и вынул часы:

— Тебе бродить и мечтать осталось полчаса. Бабушка обижается, если кто опоздает к обеду. Сегодня же он именинный. Отгуляешься — приходи на террасу, у меня там будет один разговор с генералом Орловым.

* * *

На обширной террасе, густо затканной диким виноградом, сейчас по-осеннему нарядным, с листвой, где ярко-багровой, где золотой, где еще зеленой, — в глу-

боком кресле сидел недавно произведенный в генералы Михаил Федорович Орлов.

Задумчиво глядя вдаль на скалистые берега реки, на голубеющие за ними озимые поля, на еще более далекий лес, он с сожалением думал о том, почему не милый Николаша является старшим из братьев Раевских, а этот сухой Александр. С ним вот и слов не находится, какими сказать о таком сердечном деле, как любовь к сестре его Екатерине Николаевне, и о своем намерении сделать ей предложение. Отлично небось знает и сам Александр Раевский, о чем должен быть разговор, а вот не начнет же...

Вышел перед террасой аист, не улетевший с родной стаей оттого, что не зажило перебитое крыло. Он вышел и остался стоять на одной ноге как-то безнадежно и кривобоко; наставил свой красный длиннейший клюв в самое небо и печально залелекал.

— Как удачно прозвали аистов в здешних местах — лелека, — сказал Орлов, — вероятно по этому звуку...

У Орлова было прекрасное лицо, смелое и доброжелательное, с крутыми бровями, словно выведенными кистью. Могучим сложением, гордостью осанки похож был он на отца и родных дядей, знаменитых екатерининских временщиков, за что Пушкин и прикрепил к нему кличку — «Вельможа бабушкина века». Застенчивая улыбка, столь необычная на этом гордом лице, одна выдавала его душевное волнение.

— Н-да, аист лелека, — процедил сквозь трубку Раевский. — Действительно, название удачно подражает звуку, которым этот музыкант нашел нужным усладить наш слух.

Быстрым движением он взмахнул трубкой, прогнал испуганную птицу и всем длинным телом повернулся к Орлову, устремив на него недобро вспыхнувшие глаза. Сказал многозначительно:

— А ведь я тебя, Михаил Федорович, еще не поздравил с получением Шестнадцатой пехотной дивизии. Никак пять лет тебе был в ней отказ, несмотря на все твои боевые и прочие заслуги?

— Да, — широко улыбнулся Орлов, — царь не простил мне ни той записки, которую я подал ему об отмене крепостного права, ни той, которую я от него скрыл, равно как и фамилии генералов, требовавших вместе со мной не отчуждать в интересах Польши российских земель...

— Не находишь ли ты странным, — подчеркнуто не слушая его, перебил Раевский, — что капитан Якушкин, совершенно нам незнакомый человек, вдруг приехал к бабушке на именины? Да и не по пути ему вовсе было. Сдается мне, крайне либерального направления сей капитан. Быть может, дядюшка мой, Василий Львович, под покровом великомученицы Екатерины, затеял в Каменке политический съезд? Как полагаешь?

— Это я сманил Якушкина заехать в Каменку, — поспешно сказал Орлов, как бы отстраняя последний вопрос. — Мы встретились в дороге, и, не желая так скоро расставаться с этим приятным человеком, я стал настойчиво звать его вместе с собой, памятуя всегдашнее гостеприимство твоих родных.

— О, конечно, здесь все рады новому гостю, особливо герцогиня Аглая. Она начнет упражнять над ним свои чары, но полагать надо — тщетно. Этот Якушкин,

понаслышке, известный рыцарь только одной дамы, правда, рыцарь печального образа, за выходом ее замуж. Мне говорили, он как крот ушел с головой в прелести деревенской жизни и благодеяния мужикам.

— Мне огорчительно, ежели Якушкин тебе неприятен... — начал было Орлов.

— Напротив того, отменно приятен, — небрежно прервал Раевский. — Он умен и полон спокойного мужества. А про политический съезд я сказал к тому, что некие в Петербурге мне в упор намекали: к бабушкину ангелу, двадцать четвертому ноября, как бы по предварительному соглашению, появятся в Каменке незваные гости. Хозяин же, дядюшка мой, Василий Львович, уводит этих гостей на антресоли, и целыми ночами, нимало не пьянствуя, они о чем-то совещаются, интригуя прислугу и служащих. И вот, мой дорогой генерал, сколько ты ни уверяй меня, твой прекрасный Якушкин здесь сегодня гость не случайный. И не за «компанию» ты его прихватил, хотя вы и собираетесь повести «кампанию» против китов деспотизма. Прости плохой каламбур! — Раевский засмеялся долгим скрипучим смехом, сквозь смех сказал: — Но я-то, слуга покорный! Меня калачом не заманишь ни в какую «тайную» компанию. Не выношу эти ваши доморощенные революции!

— Из-за них, однако, получаются порой перевороты и государственные, — сдержанно ответил Орлов. — Не далеко ходить: революция в Испании, созыв кортесов, события в Италии, Неаполь...

Раевский прервал:

— Все это — дело минутное. Я убежден, опять вернутся на свои престолы оба эти Фердинанда — и пер-

вый и седьмой. Но что нам за дело до дел испанских? Ох, опять дурной каламбур, у меня это просто болезнь! Но, однако, скажу и серьезно: у себя дома, в России, не я один — многие, несмотря на все бесчинство аракчеевщины, никаких перемен не желают. Ибо в благодетельное действие оных не верят. Человек так мелок, так жаден, так ничтожно устроен, что в какие улучшенные формы его ни помещай, так называемая сумма зла останется все та же. Из-за чего, спрашивается, и огород городить? Даже если допустим совершившимся утопическое уравнение имущества, я уверен, люди немедленно создадут новые стимулы к зависти и вражде. Станут изобретать черт их знает какие средства, чтобы уравнивать еще дальше. Например, в талантах, уме, красоте, долголетии. Я уверен, у злодеев выдумки хватит, изобретут отнятие друг у друга всех естественных, доселе неотъемлемых, природных преимуществ.

— Найдется управа на твоих злодеев! Зажмут их в клещи, — сказал тихо Орлов, с изумлением глядя в злое лицо Раевского. Его широкой, здоровой натуре, полной доброжелательства, был отвратителен, как злой паук, этот костлявый раздраженный человек. — Так не любить людей, так не хотеть им блага? Это или болезнь, или преступление, — гневно договорил Орлов.

— А коли и себя самого я не люблю? — ответил с вызовом Раевский. — Какого же дьявола любить мне каких-то неизвестных людей? Да еще будущих! Главное, никто доказать мне толком не может, почему именно люди сегодняшнего дня должны жертвовать всем на потребу людей дня грядущего? Если когда-либо и наступит «век золотой», ведь мне-то лично его как ушей своих не видать?

Возмущенный Орлов встал:

— Если ты полагаешь, что твои слова это некая демоническая философия, то ошибочно так полагаешь. По мысли — это незрелость, по чувству — звериная злость. Однако, зная твой характер, убежден, что говорил ты не зря. Любопытно, каковы следствия вседневные, жизненные из подобного твоего умонастроения?

Александр Раевский тоже встал и с полупоклоном сказал:

— А следствие для вседневной жизни такое: если к одной из моих красавиц сестер вздумает посвататься человек, состоящий членом тайного общества, кто бы он ни был, я всем своим влиянием в нашей семье потребую, чтобы он получил, как у нас на Украине здесь водится, — га́рбуз!

Он засмеялся и любезно пояснил:

— Га́рбуз — это замысловатый символ отказа, по-русски — обыкновенная тыква. Жениху ее посылают безмолвно на дом. А теперь пора нам идти обедать, вот и Пушкин ищет меня. — Он указал на Пушкина, подымавшегося по лестнице на террасу. — Молодец, не опоздал! — крикнул ему Раевский. И совсем ласково и доверительно, понизив голос, сказал Орлову: — Либо га́рбуз, либо дружеское предложение перестать быть членом тайного общества. Так-то, друг...

Оставшись один, Орлов в волнении зашагал по террасе взад и вперед. «С головой уйти в дела общества и проститься с счастьем личным, получить этот... «га́рбуз»?.. Что ждет впереди?»

Полный неразрешенных сомнений, Орлов спустился с террасы и пошел вслед за Пушкиным и Раевским.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В кабинете Василия Львовича, на широчайшем удобном диване, лежит адъютант Орлова капитан Константин Алексеевич Охотников.

Он привычным тихим манером скрылся от гостей по крутой лестничке во второй этаж, в любимый им кабинет, устланный пушистым ковром. Здесь был старинный камин с чугунной решеткой, много хороших картин. В большие окна виднелись лесистые дали; вдоль стен шли застекленные шкафы. Книги здесь имелись по вкусу всех приятелей Василия Львовича — от древних философов до новейших альманахов. Хорош был подбор по философии и политической экономии, приноровленный к требованиям наезжавших «особых» гостей. Они заживались в гостеприимной Каменке подолгу, и каждому было приятно найти под рукой нужного ему или любимого автора.

Капитан Охотников, некогда лубенский гусар, участник наполеоновских войн, с восемнадцатого года считался одним из видных членов тайного общества, всех поражая своей образованностью и «зверской начитанностью», как говорили товарищи.

— Ты, Костенька, здесь? Так я и предполагал, — ласково сказал вошедший Якушкин и, подсев к Охотникову на диван, заглянул в книгу приятеля: — К Титу Ливию, значит, ты без претензий? — улыбнулся он. — А ведь немалую свинью оный Тит тебе подложил, как говаривали мы в школьные годы, — затравили тебя им приятели!

Охотников слабо улыбнулся:

— А ну их...

На его бледном лице легко вспыхивал румянец, и лихорадкой горящие глаза вызывали мысль о ранней обреченности. Охотников болел злой чахоткой, о которой знали все и он сам. От своих неизбежных душевных и телесных страданий он имел мужество уходить в мечты, ими побеждал свою лихую судьбу. Обладая безмерным воображением, увлекаясь Плутархом, он переживал бедствия и триумфы античных героев, как свои собственные.

Близких приятелей эта способность Охотникова уходить с головой в книгу вызывала на веселую забаву, чему примером и было происшествие с почтенным историком Титом Ливием.

Как-то Пушкин, любивший Охотникова, приметил, что он ушел к своим «древним». Лукаво подскочил к нему вместе с приятелем и потребовал, чтобы он разрешил их спор. Охотников, веруя в магию классической речи, в ответ процитировал им обращение Тита Ливия к римским сенаторам. Вдохновенно подняв глаза, он начал французским переводом известного обращения: «patres conscripti» — «отцы сенаторы»...

Бурный хохот спорщиков так и не дал ему продолжать. И с легкой руки Пушкина стал Охотников извечно ходить под кличкой — «пер-конскри»...

Однако Пушкин любил вести и долгие серьезные разговоры с этим человеком, который в совершенстве знал и модного Шеллинга и русского натур-философа Велланского. Привлекал Охотников и душевно: доброты был он не сентиментальной, а крепкой, действенной. Много денег получая от отца, на себя тратил только жалованье, все же прочее раздавал кишиневской бедноте. Знали приятели, что когда у него не

случилось однажды под рукой денег, а помочь надо было срочно товарищу по французским походам, Охотников не задумался продать бриллиантовый перстень, подарок прусского короля, и поднес в презент товарищу дом с виноградником.

— Коли что делать, так уже, знаете, надо вести до конца, — сконфуженно улыбался Охотников, как бы оправдываясь.

Вошел хозяин кабинета, Василий Львович, человек лет под тридцать, совсем не похожий на своего растолстевшего брата. У него было живое лицо с хитринкой, с висячими украинскими усами.

— Соберитесь с мыслями, господа, — сказал Василий Львович озабоченно, — надо нам Орлова из беды вызволить. Поговорил я с ним только что в парке, он очень мрачен: обеспокоил его этот злобствующий демон, племянник мой Александр. Удружила судьба Катеньке, что именно он ее старший брат! Ведь ваш Михаил Федорович свататься к ней собрался. Александр Раевский, заклятый враг тайных обществ, подозревает его членом оного. И недаром подозревает, ведь Орлов принят намедни в Тульчинскую управу Юшневским и Пестелем. Раевский, упредив его сватовство, восстановит, конечно, и мать и отца против Орлова. Надлежит нам немедля разыграть такую комедию, будто общества нет и в помине.

— Твое предложение нам на руку, — оживился Якушкин. — Устроим просто-напросто генеральную репетицию того, что предстоит нам рассмотреть на предполагаемом московском съезде.

— Разберем все за и все против и сразу двух зайцев убьем, — засмеялся Охотников. — Позаймемся де-

лом, для которого сюда съехались, а кому о том ведать не надо — докажем, что в современных российских условиях оно неосуществимо.

— Заодно с сыном полезно, при всем к нему уважении, и старого генерала околпачить, — улыбнулся Якушкин, — уж больно насчет меня любопытствует — для какого я тайного дела приехал. Отличный человек Николай Николаевич, но груз прошлого за собой тащит немалый. Посмеяться над правительством, над самим царем-батюшкой, — это пожалуйста, однако даже замахнуться на произвол самодержавия — уж это ни-ни, не дозволит.

— И еще одного человека необходимо уверить, что тайного общества нет, это — Пушкина, — сказал Охотников. — Он так чрезмерно горяч! К тому же сейчас он считается в изгнании, за ним, конечно, полицейский глазок.

— А нам сейчас надо стать особливо осторожными. — И Якушкин рассказал, как пугливо царь называл его и других смоленских помещиков заговорщиками за то, что они пожертвовали большие суммы на голодающих Рославльского уезда.

— Царь сказал своему другу Петру Волконскому, а от него просочилось и к нам: «Это все действует тайное общество. Ты, брат, не знаешь, как они сильны. Они кого хочешь могут уничтожить». Поистине его б устами мед пить!

Все трое рассмеялись.

— А для этого царского устрашения, знаете, кто всех больше поработал? — спросил Охотников и ответил сам: — Александр Сергеевич Пушкин, да, самый младший из нас и даже не член общества.

— Правильно, Костя, ему всего двадцать один год, но, боже мой, до чего великолепно сказал он в своих стихах «Деревня» о крепостном праве! Учиться надо нам у него, чтобы столь кратким словом, полным такой могучей силы, бичевать величайшее из зол:

Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.

— Все тут сказано, все, — тихо, с глубоким восхищением подтвердил Василий Львович. — И в какой обстановке сказано! Среди каких отечественных событий! Аракчеевские смирительные шпицрутены и коварное лицемерие русского царя, предающего на конгрессах те свободы, которые сам раньше провозглашал. Ведь Священный союз — не что иное, как новое утверждение архимонархического произвола!

Охотников вскочил вдруг с дивана, взмахнул рукой и, сверкая глазами, зардевшись густым румянцем, вдохновенно проговорил стихи, которые уже все знали наизусть:

Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с вольностью святой
Законов мощных сочетанье.

— Еще Жано Пущин говорил мне, — вымолвил Давыдов после некоторого молчания, вызванного волнующими стихами, — Пушкин давно учуял, что друг его состоит членом тайного общества, и все требовал, чтобы он ему открылся и позвал его туда же. И Николай Иванович Тургенев равно сказывал, как после прочтения в «Зеленой лампе» политической утопии Улыбышева

«Сон» Пушкин приставал к нему с горячей просьбой раскрыть, кем внушены автору столь революционные идеи. Где сыскать источник политического его вдохновения? А давеча и Тургенев и милый Жано, который так особенно любит Пушкина, оба просили меня, чтобы мы здесь не вздумали принимать его в члены тайного общества. Пушкину и самому головы не сносить, и всех-то нас он подведет, не желая. Но, помимо этих соображений, мы прежде всего должны сберечь его чудесный гений, — отечески закончил Василий Львович, на что Охотников с чувством воскликнул:

— Тем более, что этот гений уже стал бесценным для дела свободы!

Решено было, что сейчас Василий Львович разыщет Орлова, введет его в дружеский заговор и поздней пригласит всех прочих мужчин пить ликеры и кофе к себе наверх.

Василий Львович ушел из кабинета, а Якушкин, оставшись наедине с Охотниковым, стал с интересом расспрашивать о прошумевшей своим вольномыслием деятельности Орлова в Киеве.

— Надо тебе сказать прежде всего: Орлов убежден, что, как он говорит, надвигается «всеобщее крушение», и мы должны торопиться подготовить хотя бы молодежь к принятию нового строя, если самим нам не дожить до зари новых дней, — воспроизвел почти дословно Охотников речь восхищавшего его Орлова. И, начав о нем говорить, он уже не мог остановиться: — Я счастлив, что он наконец получил дивизию, тут будет где ему развернуться. Правда, и на скромном месте в Киеве он умудрился вести умнейшую проповедь вольнодумства.

— Ты, конечно, подразумеваешь школы взаимного обучения? — сказал с интересом слушавший Якушкин. — Как же, нам известно, что, приняв на руки всего сорок юнцов, Орлов к нынешнему году умножил их до тысячи восьмисот. И удостоился похвалы даже в «Инвалиде», столь суконным языком выраженной, что я невольно запомнил ее наизусть,— улыбнулся он и процитировал официозную похвалу школе Орлова: «Видеть оную и не восхищаться ею были бы две совершенно несовместимые идеи».

Охотников рассмеялся:

— По глупости не разобрали, что и хвалят! Нож острый обскурантам, пороховой склад эти орловские школы! Со всех концов шлют ему сейчас молодежь, которая, окончив обучение, возвращается обратно и, в свою очередь, учреждает у себя такие же рассадники протестующего духа. На горе правительству все эти очаги просвещения зажигаются от единого костра нашего вольномыслия.

— А речь Орлова в Библейском киевском обществе? Знаешь, Костя, ведь она разошлась во множестве списков по всей стране. И всюду, где мыслят, именуют Орлова «светилом в среде молодежи».

— И по заслугам именуют! — горячо подтвердил Охотников. — Он большой человек, зрелого ума и до глубины предан благу отечества. Вспомни только, Иван Дмитриевич, конец его речи про тех, кто толпятся у трона и неправдами правят страной: «Они присвоили себе все дары небесные и земные, все превосходства, а народу — одни труды и терпение. Из этого ложного и пагубного убеждения родились все тиранические системы правления». Каково? То-то князь Вяземский

при всей своей прохладности пришел в восторг от Орлова и кричит по всей Москве: «Ну, оратор! Пустили козла в огород...»

— Накричит он ему беду, — озабоченно сказал Якушкин. — Боюсь, плохую услугу окажет Орлову растущая его популярность. Разве царь простит, что такой былой его любимец чихнул на его милости! И сейчас он просто боится Орлова, ведь едва выпросили ему Киселев и Витгенштейн эту Шестнадцатую дивизию в Кишиневе.

— И тут загнали подальше от центра, к далекой окраине, — заметил Охотников. — Впрочем, он и здесь такого им натворит...

— Спасибо, Костя, что ты мне помогаешь уговорить Орлова приехать к нам на январский съезд, — пожал крепко Якушкин горячую руку Охотникова. — Большое нам приобретение этот человек.

На лестнице послышался шум шагов, приятный звон шпор, гул голосов.

Василий Львович привел наверх своих гостей. Указывая генералу Раевскому и Пушкину на смежные кресла, улыбаясь сказал:

— Самому старшему гостю и самому младшему не угодно ль рядком?

— В таком разе хотите ко мне в сынки? — усмехнулся генерал. — Только с правом отцовской лозы, — лукаво добавил он.

— Из ваших-то рук? А пожалуй что и хочу, — ответил весело Пушкин, — если б не было поздновато...

Когда все гости расселись, казачки разнесли зажженные трубки, расставили на столах многообразные

бутылки и рюмки всех размеров и исчезли, как им было положено.

Василий Львович поднялся и сановито, как бы ощущая на плечах былые полковничьи эполеты, обратился к присутствующим:

— Господа, события текущего года так необычайны, что нам хотелось бы обсудить их здесь вместе. Несомненно, что важнейшее из происшедшего в столице, в любимейшем полку государя, известная «семеновская история» повлечет за собой и важные следствия, тем более, что о «семеновской истории» император узнал на конгрессе, к несчастью, не от русского курьера, а из враждебных уст Меттерниха. По возвращении царя домой следует ждать крутой перемены политики в духе реакции, под указкой австрийского премьера.

— Но почему же царь узнал о семеновцах от Меттерниха? — перебил Пушкин, который насторожился с начала речи Василия Львовича. Он даже не притрагивался к бутылкам, слушал, словно боялся проронить слово.

Ему ответил с легкой насмешкой Александр Раевский:

— Потому от Меттерниха, что твой друг, филозо́ф Петр Чаадаев, будучи послан Васильчиковым с роковым донесением, отправился в богатейшей, но не ходкой коляске, и столь роскошно отдыхал в пути за чисткой ногтей, кофеем и бритьем собственной личности, что к сроку опоздал. Хитрый Меттерних тут перед Европой и выслужился на пущий гнев царя. Полагать надо, на спинах семеновских солдат вымещена будет сия просрочка господина Чаадаева.

Пушкин вспыхнул:

— Кто бы царю ни доложил, солдатские спины все равно в ответе.

Генерал Николай Николаевич поспешил разрядить настроение:

— Да вы тут никак революцию затеваете? Пожалуй, мне здесь быть не к лицу.

— От революции далеки, — отозвался Якушкин, — еще на самой первой ступеньке ее обсуждения, и политическая мудрость вашего превосходительства наилучшая нам союзница. Полагаю, именно она способна увести нас от заговора и от всякого «Зандова» кинжала.

— Коли я порука, что до кинжалов дело не дойдет, пожалуй соглашусь даже быть у вас председателем, — улыбнулся генерал.

— Разрешите, батюшка, вручить вам на этот случай и соответствующий сему званию атрибут, — Александр Раевский подал отцу старинный серебряный колокольчик, стоявший на полке.

— А я без шуток прошу слова, — возбужденно сказал Охотников и вышел на середину комнаты, подальше от сидящих за столом, словно ему нужно было место для разбега или прыжка.

— Прежде чем начнем подводить итоги текущего года, как мы тут собрались сделать, я хочу вызвать в памяти собрания обстоятельство, которое ни одному русскому не след забывать: Польша, как известно, получила конституцию. А что получила Россия в награду за героизм двенадцатого года? За неслыханные жертвы? За доблесть всего русского народа? От своего царя Россия получила одно — военные поселения...

Охотников выговорил это одним махом, боясь, чтобы его не прервали. Однако, отдышавшись, продолжал спокойнее, с большой сдержанной болью:

— Царь освободил крестьян прибалтийских губерний, он же сказал лифляндскому дворянству весьма ответственные слова: «Только на началах свободы может быть основано благополучие народов». И в подтверждение своих слов изволил дать крестьянам волю без клочка земли... Я полагаю, борьбу за свободу настоящую пора нам взять в руки, — с горячностью заключил Охотников.

Александр Раевский с коварным любопытством посмотрел на своего отца. Генерал понял его взгляд, позвонил в колокольчик, чтобы унять поднявшийся одобрительный гул голосов, и с вельможной любезностью произнес:

— Поскольку мне предложено быть председателем, я из уст молодых, которые бойчее нас, старых, разбираются в подробностях грянувших одна за другой революций от Испании до Неаполя, хотел бы услышать об оных самые последние подробности. Что же касается дорогой нашей родины — дела нам слишком известные...

— От первого подводного рифа батюшка отвел свой корабль, — шепнул Александр Раевский соседу.

— Однако события в Греции весьма нас касаются, — сказал Якушкин.

— Вот бы вы, Иван Дмитриевич, и сообщили про Грецию, — предложил громко Александр Николаевич.

— Про Грецию! — крикнули с дивана, где Василий Львович говорил что-то успокоительное Охотникову, порывавшемуся опять взять слово.

— Про Грецию, да всю правду! — крикнул Пушкин.

— Правду я скажу, — не спеша вымолвил Якушкин. — Как всем известно, царь с пятнадцатого года проявляет такой интерес к Греции, что все державы были весьма этим делом взволнованы. Фанариотские князья осыпаны милостями, старый Ипсиланти бежал в Россию...

— Здесь он и умер, — не утерпел генерал, — а сыновья его Александр и Дмитрий ныне — царские адъютанты. Любимый министр граф Каподистрия — тоже грек. Однако извините меня, продолжайте. Что далее?

— А далее, — сказал Якушкин неумолимым тоном, словно читал приговор, — далее царь разрешает некоему греку, основателю этерии, живущему у нас в Одессе, распоряжаться подручными в Греции. От сулиотов принимает прошения, где они именуют его — отец родной, а он их милостиво одобряет. Спрашивается, — Якушкин обвел собрание большими серыми глазами, — имеют основание греческие вожди верить, что в случае восстания русский царь, их родной отец, поможет им? Однако известно, что с Аахенского конгресса, подпав под влияние Меттерниха...

— Что сваливать на советчиков! — воскликнул Охотников. — Просто наш царь наконец вполне раскрылся и, предавшись собственным вкусам, обнаружил свою природу, полную коварства.

— Он перестал подстрекать греков к освобождению, а кокетливо предлагает им ныне одно: потерпите! — докончил Александр Раевский.

Генерал сердито глянул на сына, сразу раздражаясь обычной для того повадкой подливать масло в огонь.

— Ораторов не прерывать! Излагайте, Якушкин.

— Жестокое последствие неблагородной игры с греками особенно ярко выступило в эти последние дни, когда этеристы предложили военное командование Александру Ипсиланти. Уверенный в помощи русских, он заметался из Киева в Одессу в ожидании крупной «отцовской» поддержки, а время идет... Если бы не ложные царские обещания, ему бы надо было двинуться в Пелопоннес, там присоединились бы к нему племена...

— И присоединятся! Да и у нас за дело освобождения греков немало добровольцев! — крикнул Пушкин.

Генерал позвонил в колокольчик и миролюбиво сказал:

— Ближайшее будущее само рассудит нас с греками. Кто нам доложит дела Испании?

— Не дела — чудеса творятся в Испании, — начал своим плавным, спокойным голосом Орлов, а Пушкин, припоминая его арзамасскую кличку, прошептал тихо:

— Потек наш Рейн...

— Еще недавно только горсточка образованных людей мечтала вернуть Испании ее конституцию двенадцатого года, но народ, темный и забитый иезуитами, без оговорок принял возвращение Фердинанда, и он въехал полновластным королем в Мадрид, объявив кортесы недействительными...

Охотников вырвался из-под опеки Василия Львовича и выкрикнул:

— И в Испании образовалось правительство умалишенных! Поверенный в делах короля — жулик, бывший уличный рассыльный Антонио Угортэ. Второй —

пьяница водовоз, а третий член достойной камарильи — русский посол, зловреднейший Татищев. Как следствие недовольства народа — военный заговор. Обратите внимание, господа, это везде так...

Генерал, встав, зазвонил в колокольчик, заглушая дальнейшие слова Охотникова. Но все улавливали их смысл и аплодировали.

Николай Николаевич положил на полку колокольчик и с шутливым трагизмом сказал:

— Умываю руки! Передаю бразды власти и дальнейшие слова молодому генералу, — указал он на Орлова.

Орлов, не вторя нарочито шуточному тону, взятому старым Раевским, продолжал со спокойной серьезностью:

— К верно изображенной Охотниковым картине черной реакции с торжеством инквизиции, шайкой негодяев вокруг короля, мне остается рассказать немного, но, как я уже сказал, истинно чудесного, происшедшего в этой стране. Первого января текущего года молодой офицер Рафаэль де Риэго и с ним полковник Квирога, опираясь на свою небольшую военную партию, провозгласили конституцию. В прекрасный день весеннего равноденствия Фердинанд Седьмой присягнул ей на верность. Каждый испанец последовал примеру короля, больше того — священники с кафедры восхваляли испанскую конституцию. Будьте уверены, перед угрозой штыков они поспешили найти божественные доводы и в пользу новой власти, проклинаемой еще вчера.

Александр Раевский не преминул желчно возразить:

— Ты запамятовал сказать, Михаил Федорович, что идиллия в среде бунтовщиков, то бишь революционеров, была кратковременна: между вождями тут же пошли споры и несогласия. Вечная история награбленных и неподеленных костей!

— Однако не договариваешь до конца и ты, Александр Николаевич, — не изменяя своей выдержке, продолжал Орлов. — Если министры и сместили дон Риэго, то в его защиту поднялся некто больший министров — поднялся сам народ. Риэго встречают на улицах с восторгом. В честь его поется революционный гимн «Трагала». В Мадриде, наконец, народ ворвался во дворец и принудил Фердинанда дать новую клятву верности...

Пушкин стремительно подошел к Орлову и, не скрывая волнения, сказал:

— Прежде народы восставали один против другого, теперь короли воюют с народом. Не трудно расчесть, чья сторона возьмет верх! То-то русский царь именно сейчас, на конгрессе в Троппау, предложил державам принять немедленные меры против всех случившихся революций.

Василий Львович, видимо желая сгладить слова Пушкина, поспешил объявить:

— У меня есть свежие документы из Петербурга о «семеновской истории», не угодно ли выслушать?

Он вынул из бумажника тонко сложенный листок:

— Это знаменательные выписки из послания генерал-адъютанта Бенкендорфа к Петру Волконскому, они дадут вам ясное представление об умонастроении на-

шей гвардии... Вот для начала — о преображенцах: «Ежели бы им действительно пришлось драться с товарищами, они отказались бы».

— Пассивное начало революции налицо, — живо отозвался Пушкин. — За нами действие.

— Не прерывай, милый друг, — остановил Василий Львович, — выводы сделаем потом. Сейчас послушаем подлинный голос народа и суждение его военачальников. «Не нужно себя обманывать, — пишет Васильчиков, — войска исполняют свои обязанности, но не было у них негодования, заставляющего их идти драться с товарищами. Петербургские военные и гражданские власти этого очень боялись, если бы кто-либо из офицеров стал во время происшествия во главе солдат и предложил взяться за оружие, — все бы пошло к черту!»

— Ну что ж, значит и надо браться за оружие, коль сам командующий войсками советует, — улыбнулся Александр Раевский. — Однако инте-рес-нейший документ, — процедил он.

Давыдов продолжал читать:

— «...кроме того, очевидцы видели, слышали и записали для потомков следующее: «лейб-гренадеры, державшие караул в крепости, куда вели семеновцев, не стесняясь кричали: сегодня очередь Шварца, а назавтра — Стюрлера!» Московцы, встречая семеновцев на пути в крепость, целовали их и говорили вслух: если царь по приезде не простит вас, вся гвардия встанет и будет с вами. Генерал Бистром уговаривал Павловский полк, когда государь будет спрашивать о Шварце, сказать, что он был командир добрый. Ответили кратко и выразительно: сего показать не

можем, Шварц был всем известный тиран. А преображенцы... — голос Василия Львовича зазвучал торжественно, с нескрываемым удовлетворением: — Преображенцы — первый полк, по которому равняется армия, в точности записано, — вот что говорят: «Нас сейчас караулят казаки, а то начальству неведомо, что колеблются полки: Павловский, Гренадерский, Лейб-егерский, да и кирасиры не отступят». Последнее, что мне известно по этим документам, — закончил Василий Львович, — это распоряжение царя Васильчикову приоткрыть имена «солдат-болтунов». И как путь для этого приоткрытия — любопытный царский совет: «узнавать через девок и гостеприимных женщин».

— «Гостеприимные женщины»? Сколь жеманно это определение гулящих особ прекрасного пола! Впрочем, дамскому угоднику, каков наш царь, так и полагается, — усмехнулся Александр Раевский.

— А что полагается нам? — сверкнул глазами Пушкин.

— Основать тайное общество против правительства, которое само себя, как видно, признает бессильным, — тонко маскируя нарочитость своего вызова, сказал Александр Раевский. — Все, о чем здесь сейчас говорилось, ведет к этому, требует этого!

— Ну что ж, такое общество уже есть, — сказал торжественно Якушкин и, встав со своего места, подошел к Александру Раевскому: — Если подобное тайное общество, повторяю я, уже есть — вы подадите нам свою руку?

Лицо Якушкина заострилось в чертах, отчего он стал как насторожившаяся птица.

Александр Раевский с чуть змеящейся улыбкой на извилистых губах, поблескивая стеклами очков, протяжно вымолвил:

— По-да-ю...

Генерал, упорно не желая принимать какие бы то ни было речи всерьез, подошел к старшему сыну и, улыбаясь, сказал:

— От председательства я отказался, теперь что ж? Из-за твоих шуток, Александр, мне только б ноги отсюда убрать?

Николай Николаевич остановился и с беспокойством поглядел на Пушкина.

Пушкин был вне себя. Сжигаемый внутренним пламенем, он заметно побледнел. Невольно подняв руку, он, казалось, сейчас произнесет некую клятву. И вдруг вздрогнул, сжался весь, как под ударом, и тихо опустился на ближний стул...

Хохотал громко Якушкин, ему вторили Охотников и Василий Львович, проснулся и громко вздохнул Александр Львович — «рогоносец величавый», после сытного обеда задремавший в вольтеровских креслах.

Якушкин перестал смеяться и твердо сказал:

— Господа, никакого тайного общества в России нет и по разумному рассуждению и впредь быть не может. Надлежит нам раньше избавиться от нашей непроходимой лености, от разнобоя в мнениях, от незрелости политической. Пример солдатского единодушия толкнул меня на эту шутку, которую разыграть до конца помешала ваша лукавая мистификация, — слегка поклонился он Александру Раевскому.

— Так все это была только шутка! — воскликнул Пушкин. В его глазах стояли слезы, волнение его было

глубоко. Минута, которую он только что пережил, оказалась одной из тех знаменательных минут, которыми человек отмечает важнейшие этапы своей жизни.

С горечью Пушкин добавил:

— Я никогда не был так несчастлив, как сейчас. Я уже видел жизнь мою облагороженной и высокую цель перед собой. И все это была только поистине злая шутка!

— Как он сейчас прекрасен, — прошептал Охотникову Якушкин, глядя на вдохновенное лицо поэта. Подойдя близко к Пушкину, он чуть склонился перед ним и с большим чувством и уважением вымолвил:

— Есть тайное общество или нет — не ваша это печаль. Свое великое дело вы делаете! Ничья речь о вольности не может звучать глубже, сильнее того, что о ней уже сказано вашим стихом. Вся Россия наизусть знает ваши стихи и чтет их, как заповедь.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В квартире Пестеля, благодаря заботе преданного ему денщика Савченко, поражала глаз особая чистота и аккуратность. Был виден вкус в выборе и расстановке мебели красного дерева, гравюр в темных рамах, цветов, превосходного фортепиано, по-восточному расшитых, но не пестрых занавесей на дверях и на окнах. Дамы к Пестелю не ходили; единственным отдыхом в его жизни, заполненной службой и делами тайного общества, была музыка. Он любил в иной сумеречный час импровизировать. Пестель был хороший музыкант, но считал это качество исключительной при-

надлежностью своей интимной жизни, так что из товарищей мало кто и знал об его музыкальном таланте. Исключение сделал он для Василия Петровича Ивашева, ротмистра Кавалергардского полка, сейчас адъютанта Витгенштейна, — почему Ивашев и проживал в Тульчине.

Он получил хорошее образование, отлично рисовал, много читал, в совершенстве зная иностранные языки, и обучался музыке у знаменитого Фильда, считавшего его одним из лучших своих учеников. Все это в соединении с мягким характером объясняло ту привязанность, которая возникла у сурового Пестеля к молодому Ивашеву, предпочитавшему жизнь в искусстве пирушкам.

По вечерам они играли в четыре руки, и за чаем Василий Петрович охотно заводил рассказы про любимое Ундорово — имение матери в Симбирской губернии, где он сам еще так недавно жил в своей крепкой, необычайно дружной семье.

Но Пестель про свою семью говорить не любил. Он знал о всеобщем предубеждении к своему отцу, Ивану Борисовичу, сибирскому генерал-губернатору. Хотя большая часть нареканий на Пестеля-отца была несправедлива и, например, взяточником он не был вовсе, сын его, Павел Иванович, от этих толков страдал немало.

И тем более приятен был ему этот легкий и музыкальный Ивашев, живший временно в его квартире. Он словно снимал тяжесть с его личной жизни, и с непривычной охотой Пестель посвящал Ивашева, тоже члена Союза благоденствия, в свои думы...

Вот и сейчас, держа в руках много нашумевшие, но доподлинно никому еще не известные прокламации, подброшенные во двор Преображенских казарм, Пестель сказал Ивашеву:

— Вот, Вася, прочти. Для меня переписали.

Ивашев прочел и как-то по-детски вскинул на Пестеля синие глаза:

— Ведь это уже после «семеновской истории»? Велико же среди солдат брожение умов! Однако рядом с очень умными мыслями передают и преглупейшие: солдаты уверены, будто старуха императрица из сочувствия к семеновцам послала им в крепость четыре тысячи рублей. Пошлет, черта с два! А как прискорбно, что вся надежда их все-таки на династию. Приедет царь-батюшка — рассудит. Шпицрутенами разве...

Пестель ходил по комнате легкой и бесшумной походкой, неожиданной для его плотной фигуры. На ходу сказал Ивашеву:

— Да, Вася, стоит над этим задуматься, чтобы вырвать с корнем глупое убеждение, что царь — отец-защитник, а все бедствия только от исполнителей его власти.

— Истинны твои слова, Павел Иванович! — воскликнул Ивашев. — Ведь никто из солдат не верит, что ненавистные поселения измышлены Благословенным. Даже сам пес его, Аракчеев, был против, и только страх, что царь найдет для этого дела другого палача, который мимоходом и его закопает, убедил Аракчеева согласиться взять дело в свои железные когти!

— И эти когти впились в тело народное, столько из него выпустили крови, что сейчас Аракчеев и военные поселения стали однозначны.

Пестель подошел к окну, устремил острый взгляд черных сумрачных глаз куда-то вдаль, но едва ли затем, чтобы там что-либо рассмотреть. Его крепко сжатые, толстоватые, но совсем не выражавшие добродушия, губы, его сдвинутые брови обличали состояние человека, глубоко ушедшего в собственные мысли.

Ивашев взял с фортепиано ноты, но, не ставя их на пюпитр, глядел на Пестеля, думая о том, что это значительное лицо делают похожим на маску слишком яркие цвета: черные досиня волосы, густые, поперек расчесанные бачки. Лицо не смуглое, как хотелось бы ему, живописцу, а слишком белой девичьей кожи.

— О чем твои скорбные думы, Павел Иванович? — спросил Ивашев.

Пестель снова заходил по комнате:

— О том мои скорбные думы, Вася, что не обойтись нам без так называемой «cohorte perdue» — «дружины обреченных», иначе говоря — людей, которые пойдут добровольно на цареубийство, чем тут же себя самих и обрекут на гибель... Впрочем, — прибавил Пестель задумчиво, — все мы равно обречены, только, быть может, на более длительную — на ледяную сибирскую гибель. Конечно, в случае провала. Но ведь может случиться и успех, не так ли, Вася?

Молодое лицо Ивашева чуть дрогнуло: он знал о себе, что не способен войти в состав «дружины обреченных», и, желая скрыть невольный ужас перед словами Пестеля, поспешил вернуть разговор к прокламации:

— Павел Иванович, а что, если восстание пойдет от самих войск? Ведь здесь не только определенный призыв, но даже программа военного переворота, —

указал он на листок. — Здесь даже предлагается командный состав сделать выборным из рядовых!

— Вот это вздор, — тихо и гневно сказал Пестель, — вздор. Войска своей одной силой могут сделать только бессмысленный бунт, а не революцию. Как массы удержат захваченную власть? Ими должна управлять единая, организованная воля.

Пестель подошел к фортепиано, где Ивашев так и застыл с нотами в руках, сел на высокий круглый табурет и заговорил снова:

— Допустим на минуту, что преображенцы подымут всю гвардию. Что же дальше? Где их планы, руководство, идеи и цели, если это те же самые люди, которые, мечтая о выборном начале, свято веруют в царское покровительство и любовь? Нет, Вася, тут надо по меньшей мере лет десять железной диктатуры для них, ради них, а выборное начало уже потом.

Пестель встал и с горечью заключил:

— Одни самолюбивые сосунки, одни неумные завистники могут подозревать, что я жажду власти лично для себя, когда настаиваю на необходимости диктатуры.

Ивашев взял Пестеля за руку и сказал с пленительной искренностью:

— Павел Иванович, верю в твое бескорыстие. Знаю его.

— Спасибо, Вася. — Пестель на миг задержал руку Ивашева, но тут же, не любящий излияния чувств, подтолкнул шутливо Ивашева к дверям и сказал обычным, свойственным ему тоном приказа: — А сейчас поди-ка разузнай, когда назначат приехавшие члены собрание, чтобы дать нам отчет об их московской

поездке. Ведь Комаров с Бурцевым уже сутки как вернулись. Да приведи всех наших с собой.

Ивашев ушел. Стало смеркаться. Павел Иванович принялся зажигать свечи, не дожидаясь денщика. Он любил, чтобы комната была ярко освещена. На письменном столе возвышались два тяжелых подсвечника петровского времени. Основанием была им широкая усеченная пирамида. Из середины ее подымался медный, витой, вроде масонской колонны Соломонова храма, стержень. На раздвоении этого стержня попарно загорались свечи. Над письменным столом красиво ветвились бронзовые бра, их Пестель также зажег и принялся еще раз, с глубоким вниманием, перечитывать обе прокламации.

Вторая несколько позднее первой найдена была тоже у преображенцев. Оба листка так полны были чисто солдатских вожделений относительно реформы в командном составе, что Пестель решил: автор обязательно из солдатской среды. Ведь немало есть в войсках хорошо грамотных дворовых людей. Кто закажет своенравному барину обучить крепостного наукам, а под сердитую руку — забрить ему лоб? Такие солдаты особенно чувствительны к палкам и прочим обидам, они будут первой опорой, когда наступит нужный час... А может быть, автор этих первых листовок, весьма тревожных равно для властей, как и для тайных обществ, — из семинаристов? Этакая особая враждебность к дворянству в каждой строке! Во всяком случае листки писались без участия знакомых Пестелю, для такого текста слишком пассивных, членов тайного общества.

Пестель зажег свечи у фортепиано, взял ноты, оставленные Ивашевым, — ноктюрн его учителя Фильда, и сел разбирать свою партию.

Пестелю было двадцать семь лет. Он родился в июне 1793 года. До двенадцати лет учился дома под исключительным влиянием матери, замечательной своими талантами женщины, которая его, старшего сына, любила особенно. Дальнейшее обучение получил он в Дрездене, вместе с братом Владимиром.

В Дрездене Пестель основательно прошел курс средней школы, поражая учителей своей одаренностью. Пажеский корпус он закончил тоже с первым отличием, с записью золотыми буквами на мраморной доске.

Началась блестящая военная карьера: под Бородином, после тяжелого ранения в ногу, Пестель получил золотое оружие за храбрость. Сделавшись адъютантом графа Витгенштейна, сопровождал его в Митаву. Граф с особым удовольствием, словно сам являлся источником лестных качеств своего подчиненного, говорил: «Пестель на все годится: дай ему командовать армией или сделай министром — везде он будет на своем месте».

В 1818 году Пестель отдан был в распоряжение начальника штаба Второй армии Киселева. И, наконец, сейчас он — вот-вот командир полка.

В ожидании известий о результатах московского съезда Союза благоденствия Пестель слегка волновался: он был членом этого общества, равно как одним из основателей его, когда Союз еще носил другое имя — Союза спасения. Больше того, это он, Пестель, никто иной, написал устав Союза. Устав революционный, который, по настоянию ряда членов тайного об-

щества, воспользовавшись невозможностью Пестеля приехать из Митавы, подменили уставом недейственным, но весьма благонамеренным.

«Любопытно, что же смастерили на сей раз эти московские политики, не допустившие моего приезда?» — иронически думал Пестель, кладя руки на клавиши.

Свободные, полные глубокого покоя аккорды постепенно внесли равновесие в его душу, и он стал фантазировать сам. Даже отсутствие Ивашева радовало, потому что музыкальная импровизация была уже только его личной, совсем тайной жизнью.

Лицо Пестеля побледнело. Широколобая большая голова слегка откинулась назад. Черные волосы, обычно всегда прямые и твердые, какие бывают на больших картонных куклах, легли мягкой волной. Неукротимая собранность воли, превышающая волю рядового человека, словно отпустила его. Он был сейчас просто молодой подполковник, отдыхавший всем существом в музыке, которую любил страстно.

В дверь постучали условным стуком. Пестель тотчас встал и крикнул:

— Войди!

Появился денщик Савченко, приземистый, с хитрым лицом, чем-то, видимо, озабоченный.

— Что случилось, Савченко?

— Прощенья прошу, Павел Иванович, срочное донесение, — сказал Савченко, — а то разве я вас не пожалел бы за фортепьянами?

Савченко был из тех людей, одаренных особенным тактом и чуткостью, которые и при большой приязни, оказанной им начальником, не впадают в фамильяр-

ность, и Пестель наедине с ним не боялся допустить совершенную с собой близость.

— Капитан Бурцев и подполковник Комаров у себя на квартире всю ихнюю компанию собрали, Павел Иванович, с утра толкуют да угощаются. Кухарка бурцевская второй раз в лавку за великатесами бегала...

— Если у тебя, Савченко, пристрастие к иностранным словам, говори их по крайней мере правильно, — усмехнулся Пестель, — не великатес, это — от французского слова «delicat», деликатес, понял?

— Мудрено ли понять, когда оно и вовсе как по-русскому, Павел Иванович, — сузил глаза Савченко: — «дели как тес», и все тут!

— Да не дури ты! — отмахнулся Пестель. — Из-за чего вломился-то, говори? Небось и нам надо в лавке чего ни на есть купить? Придет Бурцев этот...

— Ан нет, Павел Иванович, в том и дело, что вовсе он не придет. И не ждите, то-то я поспешил вам сказать. Денщик бурцевский только что передавал...

— А ты мне сплетен не разводи! — оборвал Пестель.

— Дело не в сплетнях, — не смутился Савченко, — а вот извольте-ка дослушать, Павел Иванович. Говорит капитан Бурцев подполковнику Комарову, а денщик, конечно, за дверью услышал. С Пестелем, это с вами, ваше высокоблагородие, нам и видеться не к чему, пока мы своих в одно не сколотим!.. Что же я за дурак буду, если вы в напрасном ожидании останетесь?

— Иди отворяй дверь, — сказал Пестель, глядя в окно, — к нам генерал Юшневский идет.

Савченко впустил Юшневского, помог раздеться и вытянулся, как самый образцовый солдат.

— Выдрессировал ты своего Савченку, — улыбнулся Юшневский, войдя в комнату. — Уверен, что он только сейчас невесть что тебе молол, а вот уже как святой, и не дышит.

— Не подведет меня Савченко, — сказал Пестель. — Но вообрази, он ко всем качествам обладает еще и репортерским талантом! Живая газета. Вот только что рассказывал новости, которые нам с тобой, Алексей Петрович, весьма полезно узнать. Представь себе: только что вернувшись из Москвы, Бурцев и Комаров уже затеяли против меня интригу. Да пройдем лучше в заседательскую, скоро и наши придут с Ивашевым.

Заседательская была большая комната с просторным диваном, на котором спал Ивашев, и овальным большим столом, над которым покачивалась только что зажженная Савченкой люстра. В этой комнате Пестель принимал по делам службы, здесь же происходили собрания членов тайного общества. На окна бесшумно опустились плотные синие занавески.

— Тебя, Павел Иванович, они интригой уже и на московский съезд не пустили, — сказал Юшневский, усаживаясь в одно из кресел, стоявших вокруг овального стола.

— Не огорчен, — усмехнулся Пестель, — все вышло к лучшему: никого там своим присутствием языка не лишил, и все на полной свободе окончательно обнаружилось.

— Я тоже даром времени не терял,— сказал Юшневский, генерал-интендант Второй армии, высокий, крепко сбитый человек, с умным лицом и глазами навыкате. — Комарова я вчера перехватил и весьма умеючи выспросил. Я, знаешь, умею этаким болтуном-дураком прикинуться...

— Слишком умеешь, — согласился Пестель. — Слышно, Якушкин с тобой ближе и знакомиться не захотел. Он офицерам публично аттестовал тебя пошляком, хотя Фонвизин рекомендовал тебя умником.

— Маска самая удобная в нашем провиантском деле, всякий жулик меня за своего сразу примет, ан я его тут как раз на булавочку и наколю, — засмеялся Юшневский. — Однако к делу: московский съезд собрался, чтобы Союз только реформировать, а вышло, что он полномочия свои превысил и его вовсе закрыл. Сразу всех растревожил этот монархический Федор Глинка: привез из Петербурга новые страхи перед полицейским надзором. Меттерних до смерти запугал угрозой революции нашего царя, а уж царь-батюшка — петербургскую власть... А тут, как нарочно, Орлов предлагает свои крутые меры. «Для успеха дела, — говорит он, — первая необходимость иметь средства. Я предлагаю — в лесных дебрях устроить печатный станок для листков-воззваний и фабрику фальшивых ассигнаций». И тут же Орлов собранию ультиматум: «Либо мне свободу действий, либо выхожу из Союза благоденствия!» Помянул, что ему есть на что опереться: «Моя Шестнадцатая дивизия вся со мной!» Комаров говорит — просто всех в ужас привел. И ведь действительно ушел. Такого крупного зверя они упустили, самого главного, на него там была вся ставка.

— Против меня его двинуть мечтали, — вымолвил Пестель.

— Судя по словам Комарова, — продолжал Юшневский, — коренные члены общества тянули с заседанием, чтобы выйти как-нибудь из тупика, ведь разрыв-то с Орловым произошел на самом первом заседании. Шутка ли сказать, потребовал согласия на немедленную попытку вооруженного восстания!

— И Орлов чудак, — сказал несколько насмешливо Пестель, — да разве в таких делах, если и впрямь их затеять, ультиматум уместен?

Юшневский задумался.

— Худо то, — сказал он, вздохнув, — что многие высказали подозрения насчет чрезмерных и резких требований Орлова. Говорили, что это была лишь военная хитрость с его стороны. Он только и ждал, чтобы на его ультиматум никто не согласился, и с громом ушел из Союза, оставив лишь воспоминание о своем революционном пыле. — Юшневский грустно усмехнулся. — И тем самым устранил на своем пути препятствие к женитьбе на Екатерине Раевской. Как известно, братец ее поставил такое условие...

Пестелю это резкое суждение об Орлове было неприятно, и он прекратил о нем разговор.

— А были еще какие-нибудь предложения? — спросил он.

— Фонвизин предложил свой план «разумной медлительности», который и оказался всем на руку. Орлов уехал. Стали удалять «ненадежных», которыми признаны были все твои последователи и совольники, Павел Иванович, и общество объявлено несуществующим.

— Все-таки забавно, что наша тульчинская отрасль представлена была Бурцевым и Комаровым, — начал Пестель.

— Врагами ее и трусами, — перехватил Юшневский. — Комаров сам признался поручику Таушеву, а тот уже мне, что он, стремясь Тургенева «наклонить» — так он смешно выразился — к закрытию Союза, умышленно говорил, что тульчинские члены — яростные якобинцы, что в будущем угроза от них немалая, а равно безначалие и гибель.

— Не спросив всех членов Союза благоденствия, они не имели и права его закрывать, — сказал недовольно Пестель. — И Орлова зря упустили...

— Какого же ты лично мнения об Орлове, Павел Иванович? — осторожно спросил Юшневский.

— Он государственный человек, — сказал серьезно Пестель. — Ведь его политическому такту обязаны мы превыгодной капитуляцией Парижа, за что он и стал любимцем государя. Но при дворе не удержался...

Пестель с минуту помолчал и добавил, выразительно подчеркивая слова:

— Боюсь, что, при всем блеске способностей и характера, Михаил Федорович Орлов пригоден только для просветителя, но отнюдь не революционера. Идет напролом, по собственному произволу, невзирая на пользу общую.

В дверь постучал Савченко своим условным деликатным манером.

— Войди, Савченко, — крикнул Пестель, — докладывай!

Савченко вошел, стал во фронт и выговорил одним духом:

— Штаб-ротмистр князь Барятинский, полковник Абрамов, поручик квартирмейстерской части Крюков второй, поручик Басаргин и нашего дома собственный ротмистр Василий Петрович Ивашев! Прикажите допустить, ваше высокоблагородие?..

— Проси скорей. Да чаю нам с ромом!

— И трубки с наилучшим табаком не забудь! — крикнул Юшневский. — У твоего Савченки, Павел Ива́нович, запасен добрый турецкий табак, я уж знаю, он его только тебе одному дает, а нам норовит похуже.

Офицеры вошли, смеясь по поводу задержки и церемонии, устроенной денщиком, однако одобряли его и всячески расхваливали.

— Пусть все денщики привыкают не сразу впускать, — сказал Юшневский, — такое делается время, мало ль кого нанести может!..

Все расселись за овальным столом, задымили.

— Бурцев предложил мне передать всем, что он устал и нездоров с дороги, а завтра просит собраться у него вы́слушать решение московского съезда, — сказал Ивашев.

— Решения эти уже нам известны, — отозвался сухо Пестель. — Впрочем, кому угодно, пусть идет выслушивать их завтра из уст самого Бурцева. А сейчас приступим к заседанию собственного нашего тульчинского ядра.

Пестель среди этих друзей, которые, чувствовал он, не только ему подчинялись, но, уважая, крепко любили, был совсем иной, чем обычно. Не слышалось в его речи ни надменного превосходства, ни раздражающей самолюбие повелительности — качеств, на которые жаловались мало знавшие его люди.

— Итак, господа, мы сейчас остались совсем одинокими представителями зародившегося в России тайного общества, решившего все свои силы отдать на преобразование нашего отечества из государства бесправного в государство, которое всем своим гражданам даст права равные...

Пестель начал несколько торжественно, но при всем его видимом спокойствии ясно было, что он волновался.

— Еще раз пересмотрим те задачи, к осуществлению которых мы должны в первую очередь стремиться.

Павел Иванович помолчал минуту и взглядом обвел собравшихся. Остановился на некрасивом лице близкого друга Барятинского, философа и поэта, посвятившего ему одно из стихотворений своей книжки «Тульчинские досуги», глянул на сидевшего рядом взволнованного Ивашева и сказал, обращаясь как бы к ним обоим, самым богатым землями и людьми:

— Но прежде всего, со всей строгой честностью, какой требует наша великая борьба, надлежит пересмотреть, действительно ли мы в состоянии отказаться от наших преимуществ? Ведь в самую первую очередь уничтожить придется сословия, отобрать у помещиков-дворян и крепостных и землю, потому что, — продолжал Пестель, откинув голову, — из рабства крестьян и больших преимуществ аристократии произошли все бедствия нашей жизни. От этих причин возник упадок промышленности, упадок благосостояния общего. Отсюда же несправедливость и подкупность судов и чиновников, невыносимая тягость военной службы. У каждого столетия своя общественная задача, современники обязаны ее выполнить, если не хотят прожить

впустую. Задача нашего века, — голос Пестеля зазвучал громче, настойчивее, — борьба с аристократиями всякого рода, как на богатстве, так и на правах наследственных построенными.

Слова эти были просты, мысли Пестеля до прозрачности ясны. В его речи не было ни украшений красноречия, ни взрывов внезапного чувства, ни даже лишней паузы, чтобы подчеркнуть иное слово. С непреложной убедительностью развертывалась его речь и ширилась. Своей могучей логикой Пестель, как скульптор, водящий резцом по мягкой глине, давал форму и точность еще неясным устремлениям своих слушателей. Он создавал новое, высокое, подымающее их рассеянные чувства.

И вот после неоспоримых доказательств, приведенных Пестелем для единственного неизбежного вывода, — все единогласно согласились на республику, как новую форму правления, которая одна устранит все неустройства и бедствия отечества.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Греческое восстание на Балканах разрасталось. Взволнованы были и греки, населявшие Россию. От генерала Киселева пришло к Пестелю распоряжение немедленно ехать в Бессарабию, чтобы исследовать вопрос на месте и сделать царю соответствующее донесение. Очень скоро после отъезда Пестеля в только что основанном Южном обществе несколько человек изменили тем революционным выводам, к которым все пришли на последнем собрании в квартире Пестеля.

Первым сильно затосковал Василий Петрович Ивашев. Его миролюбивой природе, характеру, изнеженному ласками дружной семьи, оказалось не под силу обречь себя на выполнение суровой программы, предложенной Пестелем. Он с испуганным видом говорил то Барятинскому, то Юшневскому, что новое общество просто гибельно и чем скорее его покинуть, тем лучше. Однако и на этот последний поступок у него мужества не хватало, и, махнув рукой на свои душевные противоречия, Ивашев взял отпуск и уехал за границу. Мог ли он предположить, что всего через несколько лет за это его единственное присутствие на совещании Южного общества он, по приговору Верховного уголовного суда, все равно как и товарищи, оставшиеся верными делу «введения республиканского правления», получит двадцать лет каторжных работ?

Было похоже, что действительно многих людей, неустойчивых и нерешительных, Пестель подавляет своей железной волей. Спохватившись и струсив, такие люди поспешно отрекались от решений, добровольно принятых ими. Больше того, они обвиняли Пестеля в насилии или в лучшем случае, как спокойный Басаргин, недоумевали, говоря: «Удивляюсь, как мог я склониться на такие выводы!»

До конца неколебимы остались самостоятельно примыкавшие к убеждениям Пестеля и ему глубоко преданные — Алексей Петрович Юшневский и князь Барятинский.

Впрочем, сейчас ко всем насущным интересам членов тайного общества прибавились мысли и волнения о судьбе греческого восстания. Да и все русские люди напряженно ждали: когда же Россия начнет защиту

греков и войну с Турцией? Войска русские уже были стянуты к границе, и Ермолов вызван к царю на Лайбахский конгресс. Носились слухи, что четыре корпуса предназначены для освобождения греков.

И прежде всего в это верили сами греки. Глава восстания — Александр Ипсиланти переправился с двумястами всадников через Прут. В Яссах он выпустил воззвание — призывы к борьбе с игом Турции. В тексте воззвания были недвусмысленные слова: «великая держава одобряет сей подвиг». Кто еще мог при таких обстоятельствах сомневаться в почетной освободительной миссии Ермолова?

Пушкин восклицал в нетерпении:

Что ж медлит ужас боевой?
Что ж битва первая еще не закипела?

А пламенный Рылеев умолял:

Ермолов, поспеши спасать сынов Эллады!

И так была неоспорима вера в Россию, которая поднимется на защиту маленького терзаемого турками народа, что к самому царю Александру обратил молодой, еще очень доверчивый Рылеев свой восторженный стих:

Спешит монарх на подвиг свой,
Как витязь правды и свободы...

Но Александр ни на какой подвиг не спешил. Меттерних хитро представил царю греческое восстание как попытку революционеров вызвать разрыв между Россией и Австрией. Ни Австрия, ни Англия не хотели вмешательства России в греческие дела, и тотчас русским царем греки были признаны мятежниками.

Каподистрия — русский министр иностранных дел, по приказу Александра написал Ипсиланти: «Никакой помощи, ни прямой, ни косвенной, вы не получите от императора, ибо недостойно подкапывать основание турецкой империи постыдными и преступными действиями тайного общества. Ни вы, ни ваши братья не находитесь больше на русской службе, и вы никогда не получите позволения возвратиться в Россию».

Александру, смертельно напуганному «семеновской историей», уже казалось — революция вот-вот охватит Россию и весь мир. Революционные вспышки в Европе, одна за другой, шли непрерывно, начиная с семнадцатого года.

Испуг начался с Пруссии, казалось бы с пустяка: немецкие студенты праздновали в Вартбурге трехсотлетие сожжения Лютером папской буллы. Собрали на площади все ненавистные им символы реакции — смехотворную Фридрихову косичку, офицерский крест, капральскую палку — и все это сожгли во славу посрамления Лютером папского престола. Участниками Аахенского конгресса эта вольная шалость была воспринята как поступок революционный, тем более что вскоре, словно нарочно — в день смерти императора Павла, 11 марта, студент Занд убил немецкого писателя Коцебу — агента русской полиции. И год за годом, а то и по две в одном году, пошли революции.

В Кадиксе восстал со своим отрядом против короля Фердинанда офицер Рафаэль Риэго и произвел революцию в Испании, а летом за Испанией последовал Неаполь. Через месяц, число в число, восстала и Португалия.

Таково было волнение в Европе, когда открылся конгресс в Троппау и пришли первые вести о движении в Греции.

Граф Каподистрия измышлял все ухищрения, чтобы хоть косвенно помочь своим землякам, и Меттерних имел основание сказать про Александра не слишком уважительно:

«Он потерял всех своих союзников, на Каподистрию смотрит как на карбонария, не доверяет ни своей армии, ни министрам, ни своему дворянству, ни своему народу. В таком положении никого за собой не ведут».

И Меттерних сам взял Александра на повод: конгресс из Троппау перенесен был в Лайбах, чтобы либо королю неаполитанскому облегчить приезд, либо самим союзным войскам двинуться ему на помощь.

Но когда Пестель приехал в Кишинев, тамошние греки еще полны были надеждой и верой в помощь русского царя. И хороший знакомый Пестеля — Александр Фомич Вельтман встретил его восклицанием:

— Все в Элладу!

Вельтман был молодой офицер Генерального штаба, приехавший в Кишинев для производства топографических съемок. Его скоро прозвали «наш кишиневский поэт» за обилие сочиненных им куплетов и припевов для молдаванских танцев. Появление Пушкина в Кишиневе несколько смутило Вельтмана, но тот его обласкал и, как это было свойственно великодушию Пушкина, признал одаренность Вельтмана.

Вельтман был человек оригинального склада. Ум талантливый и неугомонный толкал его на непрерывную деятельность и изобретательство: то он писал

стихи, то неплохо лепил статуэтки, то придумывал какие-то светильники без фитилей. У него было открытое лицо с мохнатыми бровями, и что-то юношеское навсегда задержалось в мечтательных глазах и в уголках губ, затаивших улыбку. Он к людям был приветлив без разбора чинов, но Пестель внушал ему особое чувство, почти преклонение, и по-детски, как можно скорей, он спешил передать Пестелю все, что его самого так сейчас восхищало в Кишиневе. Это были — генерал Орлов и греки.

— Павел Иванович, вообразите, здесь восторг всеобщий! В лавках, трактирах, базарах — толпы греков продают за бесценок свое имущество, покупают взамен ружья, пистолеты, сабли. Из всех уст вылетают имена Фемистокла и Леонида...

— Помнится, на школьной скамье оба эти героя приводили и нас в восторг, — улыбнулся Пестель, — но они представлялись нам историей весьма отдаленной и притом всеми забытой. Но вот, оказывается, все это сейчас возродилось... А что Пушкин? Скажите, Александр Фомич, увижу я его сегодня за обедом у Орлова?

— Обязательно увидите. Мы все вас очень ждали и сговорились собраться, когда вы приедете. И, конечно, Владимир Федосеевич Раевский тоже приедет. Ведь он заменяет теперь Охотникова, который совсем в Москве разболелся. Ну и умница этот Раевский! — с восхищением добавил Вельтман, — он преотличный помощник другому умнице — нашему молодому генералу Орлову.

— Что же они тут вдвоем делают? Какую революцию развели? — спросил Пестель.

— Дело секретное, — понизил голос Вельтман, — но уж, конечно, не для вас, Павел Иванович. Опираясь на свою Шестнадцатую дивизию, где его прозвали «отцом», Михаил Федорович, вернувшись из Москвы, с еще большим усердием принялся насаждать вольнолюбивые порядки. Он, верно, торопится закрепить это дело перед женитьбой, которая принудит его уехать месяца на два.

— Какие же особые порядки? — словно не зная, осведомился Пестель.

— А такие, что из забитых, отупевших от взысканий и палок солдат создаются совсем новые люди. С помощью таких людей все будет можно перевернуть и на справедливости укрепить лучшую жизнь, я уверен. А правая рука в деле — Владимир Федосеевич Раевский.

— Докладывайте поточней, в каком именно деле? — хитро улыбнулся Пестель.

— Прежде всего, едва приняв дивизию, Орлов потребовал от офицеров прекратить мордобой и тиранство. В противном случае приказы его грозили суровой расправой; да вот у меня эти приказы всегда с собой, я ими, знаете, просто очарован.

Вельтман вынул объемистый бумажник, полный не ассигнациями, а исписанными листками, скромно отложил пачечку собственных стихов в сторону, выбрал, что было надо, и прочел:

— «...буду почитать злодеем того офицера, который свою власть употребит на то, чтобы истязать солдат. Воля моя тверда. Ничто от сего предмета меня не отклонит. Терзать солдат я не намерен. Я предоставляю сию постыдную честь другим начальникам, кои

думают о своих выгодах более, нежели о благоденствии защитников отечества». И дальше, дальше слушайте...

С сияющими глазами Вельтман прочел еще отрывок:

— «...господа офицеры могут быть уверены, что тот из них, кто обличится в жестокости, лишится навсегда своей команды. Я же сам почитаю честного солдата себе другом и братом...» Павел Иванович, кто же, кроме Орлова, во всеуслышание говорит такие слова о солдате?

— Хорошие слова, — сказал Пестель, и не понять было — иронизирует он или действительно одобряет Орлова. Но взволнованный Вельтман к интонации его и не прислушивался, так полон был он собственным увлечением.

— Ну, а Владимир Раевский? Его в чем занятия? — допрашивал Пестель.

— Опираясь на Орлова, широкую работу развернул майор Раевский в юнкерской и ланкастерских школах, где раньше был Охотников. Вообразите, до чего просто и остроумно придумал он насаждать просвещение: обучает ребят грамоте исключительно по собственным прописям, где у него такие слова — свобода, равенство, конституция, Квирога, Вашингтон...

— А на эти слова, разумеется, следует пространное устное разъяснение? — допытывался Пестель.

— В том-то вся сила! А юнкерам, соображающим побыстрее, даются подчас и целые фразы. Вот к примеру, — Вельтман не без таинственности произнес: — «Император медлит дать обещанную конституцию народу русскому, и миллионы скрывают свое отчаяние

до первой искры». Тут уж, знаете, Павел Иванович, при разъяснении можно дать всю как есть подоплеку нынешнего царствования! Да после таких уроков люди готовы в огонь и в воду за Орловым и Раевским. О подробностях их общей работы сами их расспросите, Павел Иванович, и верно вам такое станет известно, чего и я не знаю. Только уж, пожалуйста, не опаздывайте к сбору, ждать будем...

Вельтман так же внезапно исчез, как явился, у него всегда была куча поручений и дел, а Пестель пешком пошел к Орлову длинным окольным путем, чтобы самому проверить состояние города, для него совсем неожиданное. Население здесь выросло во много раз благодаря выходцам из Молдавии и Валахии. Многие приезжие отличались особо пышными одеждами, великолепными холеными бородами, своеобразными экипажами, запряженными цугом во много лошадей; они высокомерно опережали местные плетеные тележки. В кофейнях — любимом месте пребывания кишиневцев — сейчас было пусто. Всех тянуло в толпу, в движение, под весеннее синее небо. Здесь, на просторной площади, разволнованным грекам казалось, что они ближе к родному небу своей Эллады. Сербы, румыны, албанцы тоже были вовлечены в освободительное движение. Великое сочувствие русских то и дело проявлялось в крепких рукопожатиях, расспросах, восторгах, которыми люди встречали прославленных борцов за свободу Греции. В честь их тут же на улице подымали откуда-то взявшиеся бокалы и восторженно кричали:

— За первый доблестный шаг!

Пестель шел и думал, что хоть Орлов и вышел из Союза благоденствия, своей деятельности он еще не прекратил.

Орлов вызывал в Пестеле чувство уважения, но вся просветительная работа в ланкастерских школах, сколь ни была она серьезна по намерениям, казалась ему чем-то вроде мальчишества. Пока у тайного общества нет ни силы, ни власти, чтобы отстаивать офицеров и солдат, которые поднялись над общим низким уровнем. Пример расправы с семеновцами не за горами.

И еще Пестель с невольной досадой думал, идя к Орлову: «Сколь ни благородны его намерения, а вот для настоящего, для *общего* дела от них пользы не много! Такие одиночные усилия даже условий военной службы не могут изменить в корне, только правительство насторожат. Нет, не туда направлены его силы. Не туда...»

И яснее, чем когда-либо, на примере этого человека Пестель до предельности ярко увидел, что не ошибался, когда говорил: взорвать надо все! Все до основания, и только на новом, чистом месте создавать такие условия жизни, где человек человеку никогда не сможет быть тираном, независимо от каких бы то ни было качеств личности. И у Пестеля еще глубже укрепилось намерение скорее выработать те новые положения, которыми должно будет руководствоваться Временное правление, едва возьмет власть в свои руки. Закончить свой заветный труд — вот сейчас первое серьезнейшее дело, необходимое для всех.

Наконец мысли Пестеля перешли на Владимира Федосеевича Раевского, который сейчас при Орлове

заменяет больного Охотникова. Этот замечательный человек с отличным боевым прошлым был очень одаренный поэт, героически преданный делу республиканской свободы. Но, человек пламенной энергии, он был и человеком неотложного действия и все свои огромные силы направил на поднятие умственного уровня солдат, на борьбу за изменение бесчеловечного быта. В тайное общество Владимир Раевский принят был еще в восемнадцатом году. Пестель вспомнил некрасивое, но выразительное лицо Владимира Федосеевича Раевского и сочувственно ему улыбнулся.

Лицо это было обычно слегка выдвинуто вперед, как у охотника, когда он присматривается, куда упала добыча. Нос с большими ноздрями, мягкий добрый рот и такое упорство в зорких глазах, что Пестелю отрадно было подумать: такого жизнь, пожалуй, не сломит.

У Орлова оказался лучший в Кишиневе дом, который он для приема своей будущей жены только что прекрасно отделал... Узнав по докладу вестового, что пришел полковник Пестель, Вельтман выбежал на лестницу. Вслед за ним в дверях появился осанистый Орлов. Он тоже очень рад был Пестелю и крепко его обнял.

— Пройдем ко мне, — сказал Орлов, — сейчас придут Пушкин с Раевским, тогда и за стол.

В кабинете Орлова на диванах и столах грудой лежали гравюры и картины. Среди них белели мраморные копии с Венеры, Гермеса и других классических статуй.

— Я вижу, строгость вашего делового кабинета нарушена, — улыбнулся Пестель.

— Все это я накупил по вкусу Екатерины Николаевны, — сказал застенчиво Орлов, — пусть сама здесь распределит как ей вздумается.

Он покраснел, не в силах скрыть своего счастья: из Киева в скором времени он вернется уже не один, а со своей обожаемой женой — Екатериной Раевской.

Пестель взглянул на Орлова и с мимолетной досадой подумал, что вот для себя, должно быть, никогда такого личного счастья в жизни не получит. Он поспешно спросил:

— Ну, как после Москвы?..

Орлов понимающе и лукаво улыбнулся:

— А так, что некоторые параграфы Зеленой книги — этого нового устава новорожденного Союза благоденствия, трактующие об отвлеченных добродетелях милосердия, в моих руках стали служить целям определенным и главное *близким,* — подчеркнул он. — Мы с Раевским все повернули в дивизии по-своему. Воля моя тверда, и ничто от предмета сего меня не отклонит.

— Поистине, Михаил Федорович, тебя ничто отклонить не в силах, кроме разве самодержавной власти. Зато царю закон не писан: отберет у тебя дивизию, которую дал тебе с такой неохотой и, уж конечно, не для того, чтобы ты в войсках революцию разводил! — сказал Пестель, внимательно глядя в красивые глаза Орлова. — Отберет, да еще и тебя запрячет куда вздумает. Кабы от меня одного зависело предотвратить такое...

Лицо Пестеля стало холодно и замкнуто. Орлов, бегло взглянув на него, понял, что о самом главном он

сейчас не скажет ничего, и, как бы оправдываясь в произволе своей деятельности, вымолвил:

— Но истязания солдат я ведь все-таки пресек...

— Только в одной своей дивизии, — досказал Пестель. — И опять-таки самодержавию весьма легко восстановить все, что ты пресек. Разве забыл ты — сам царь обещал уложить трупами дорогу до Чудова, если продолжится ослушание в военных поселениях? Не по вкусу ему твое милосердие к солдатам. Сообрази следствия...

Но Орлов соображать не хотел. Он полон был своей пламенной энергией, своим восхищением от успехов ее применения. Он взял Пестеля под руку и горячо сказал:

— Только подумай, Павел Иванович, какая у нас победа, ведь еще недавно солдаты сотнями убегали за Днестр, за границу, куда глаза глядят. И мудрено ли не убежать от каторжной жизни? Ведь всякий мерзавец имеет власть искалечить солдата! Но вот, едва я стал отдавать жестоких офицеров под суд, невзирая на чин, солдатские побеги прекратились.

— Сегодня одного мерзавца предашь суду, завтра на его место встанет другой, — сказал Пестель. — Это не решение общей задачи.

— Ты мне рук не связывай, — вспыхнул Орлов. — Ждать твоей общей задачи, не двигая пальцем, — и протухнуть недолго! Вода живет — пока в движении, в стоячем пруду она загнивает. Если хочешь знать, я не только свою, я и соседнюю Семнадцатую, зверского генерала Желтухина дивизию взорву, — такие мины у меня подведены!..

— Я полагаю — большому кораблю большое и плавание, — прервал его Пестель. — Но коли ты свой путь уже выбрал — в час добрый, взрывай, — улыбнулся он с неожиданной лаской.

— Вот это дело, — сжал его руку Орлов. — А сейчас пойдем, Павел Иванович, обедать, там уж, верно, ждут нас голодные.

С Раевским Пестель тоже обнялся, — давно его не видел, рад был встретиться, а с Пушкиным познакомился впервые. Оба насторожились и глазами как бы вобрали друг друга в себя. Поклонились молча и церемонно.

Пушкин, с улыбкой указывая на Раевского, сказал Пестелю:

— Вот какая мне удача, не переводятся для меня Раевские. И вот от этого, кишиневского, отнюдь не родни, а лишь однофамильца моих старых друзей, чему только я не поучаюсь! Послушайте, какую мысль он отчеканил, пока мы шли сюда и по обычаю спорили, — все повторяю, слова его не хочу позабыть: «не только сам человек созревает для свободы, но свобода делает его человеком и развивает его способности». Каково? Ведь это целая философская школа в нескольких словах.

Пушкин видимо гордился своим новым кишиневским другом и дорожил им.

Владимир Федосеевич своей очень естественной манерой держать себя словно говорил: «ну вот каков я есть человек!..» Какой-то вызов был только в его прическе: волосы лежали плоско, без полагавшихся хотя бы небольших зачесов, просто, на боковой ряд и, должно быть, раздражали глаз начальства, выделяя

всю его фигуру будто бы не военную, хотя военным он был и даже получил за Бородино золотое оружие.

Пестель невозмутимо и как-то озабоченно молчал и сразу Пушкину не понравился. Показалось высокомерным его отношение к присутствующим. Отметив две-три краткие и суховатые реплики Пестеля в ответ на горячую речь Орлова, Пушкин окончательно решил, что надменный гость презирает присутствующих, и, как нередко с ним случалось, вдруг вспыхнул и не без дерзости, вызывающе спросил Пестеля:

— А что, жестокий сибирский проконсул не родня вам?

Орлов погрозил Пушкину пальцем, а Пестель не ответил ни слова. Он только глянул в глаза Пушкину с таким острым и печальным удивлением, про которое словами можно было бы сказать так: зачем такое, недостойное вас?.. Однако тут же Пестель скинул со счета, зачеркнул, как случайную оговорку, неприятный ему вопрос Пушкина и начал спокойно говорить с Орловым о кишиневских его делах.

Пушкин сконфузился.

Орлов рассказывал о генерале Сабанееве, командире корпуса, куда входила его дивизия. Это был неглупый человек, но жестокий, убежденный враг всех либеральных начинаний в армии.

— Любопытно, Павел Иванович, — обратился Орлов к Пестелю, — что запоет этот Сабанеев, когда я представлю ему документальные сведения о великих злоупотреблениях его офицеров. Вот Владимир Федосеевич им ведет летопись.

— И преподробнейшую, — отозвался Раевский.

— Да, Михаил Федорович, — сказал Пестель, — далеко позади то наивное времечко, когда ты думал одними нравоучительными записками наставлять самодержавную власть! А между прочим об отмене крепостного права сейчас никто уж и не заикается...

— Ну, я бы сумел заикнуться! — вспыхнул Раевский и, как бы бодаясь, выставил далеко вперед свою выразительную голову. — Дали бы мне с царем очную ставку, я бы нашел слова! Кто дал власть человеку называть другого «мой» и «собственный»? По какому праву тело, имущество и даже душа одного могут принадлежать другому? Пусть ответит, откуда взят закон — торговать, менять, проигрывать, дарить, тиранить подобного себе. Один ответ — источник неистового невежества, самое скотское побуждение. «А если так, сказал бы я царю: вольная всем, всем, и с землей! Да заодно и тебе, царь, вольная, нечего тебе больше в России делать!»

Раевский с шумом отодвинул стул.

— Садись обратно, Владимир Федосеевич, — засмеялся Орлов, — никто тебе этой очной ставки с царем не даст.

— Сами возьмем, — вскрикнул Раевский, — нужен только срок!

Наутро Пушкин, по приглашению Пестеля, посетил его в гостинице. Поначалу он чувствовал себя несколько неловко, но Пестель, угадывая первое произведенное им неприятное впечатление и желая его изгладить, проявил к Пушкину столько бережного внимания, что тот скоро стал говорить горячо и свободно о многих, его волновавших, вопросах. Вернувшись к себе домой, он записал: «Утро провел с Пестелем:

умный человек во всем смысле этого слова. Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которые я знаю».

Однажды вечером, между своими поездками по Бессарабии, Пестель опять побывал у Орлова. Кроме Пушкина, в кабинете были все те же — Раевский и Вельтман. Скоро заговорили без стеснения, разнося в пух и прах злую аракчеевщину. Но когда дошли до взаимоотношений богатых и бедноты, Пестель взял слово один и говорил так четко и вразумительно, что никому и возражать не хотелось. По-новому, логически обоснованно излагал мысли, составлявшие глубочайшее существо его жизни. Ведь он неотступно, неустанно обдумывал самые точные выражения статей наказа, который должен был, по его мнению, предварять всякое начало решительного и вооруженного действия. Этот наказ предназначался для руководства республиканской власти Временного правления, а пока — только для членов нового тайного общества.

Оригинальным и свежим по мысли было для всех утверждение Пестеля о дальнейшем развитии русской культуры. Он смело выдвигал преимущество фабрики перед земледелием, которое до сих пор почиталось единственным исконным делом отечества. Пестель говорил:

— Фабрики откроют новый источник богатства. Земледелие, напротив того, тянет назад. Оно утверждает права собственности, а следовательно — неравенство.

Он приводил из истории народов убедительные и красноречивые примеры, которые наглядно доказывали,

что эпоха процветания фабрик была также временем процветания наук и искусства.

Речь Пестеля, сила убежденности вызывали необыкновенную бодрость, рождали веру в самые смелые надежды.

— Аристократия, — закончил Пестель, — вот стена между властью и народом, ведь ради собственных выгод они скрывают и всегда будут скрывать истинное положение в стране.

На любви к народу, на ненависти к деспотизму объединились все присутствующие в кабинете Орлова. Разными путями пошло их служение своей родине, но каждый за свой путь отвечал своей судьбой, свободой. Цель же у всех была одна — благо народа. Источник чувств был тоже один — высокая любовь к родине.

И за поздним веселым ужином все охотно и радостно присоединились к тосту Пушкина, когда он поднял бокал за Пестеля:

...Снесем иль нет главу свою,
Из полновесного стакана
Твое здоровье, Пестель, пью,
И рвусь и злюсь я на тирана...

ГЛАВА СЁДЬМАЯ

Когда Пестель вернулся из Бессарабии в Тульчин, надвинулись такие большие заботы, что даже не было времени ощутить вновь наступившее из-за отъезда Ивашева одиночество холостой квартиры.

Из западных губерний гвардия вернулась в Петербург, а с ней вместе — все видные члены распавше-

гося Союза благоденствия. Дошли слухи, что сплотились такие люди, как Трубецкой, Никита Муравьев, Оболенский и по примеру Юга замыслили создать и свое Северное общество.

Пестель решил, что для успешности общего дела необходимо возможно скорее с ними объединиться, чтобы идти к общей цели и началу действий не поодиночке, а вместе.

Но раньше чем ехать в Петербург, Пестелю надо было упрочить свое служебное положение и наконец добиться получения полка. Павел Дмитриевич Киселев, его начальник (несмотря на то, что дежурный генерал Главного штаба Закревский предупредил его держать с Пестелем ухо востро), просил лично, чтобы в Вятский полк назначен был Пестель. Царь это обещал, но так велико было его нерасположение к Пестелю, что при подписании указа артикул, касающийся его продвижения по службе, Александр распорядился вычеркнуть.

Закревский не преминул известить Киселева: «Все твои записки утверждены, а Пестеля приказал вымарать и повременить».

Киселев переслал это письмо Пестелю с собственным добавлением, где просил не огорчаться, что «несчастная ваша звезда вас преследует», и обещал хлопотать еще настойчивее о его назначении. Пестель ответил, как было свойственно его твердому характеру:

«...Письмо Закревского не причинило мне ни малейшей неприятности. Я совершенно равнодушен ко всему неприятному, что может со мной случиться, но взамен этого я бесконечно чувствителен к малейшему знаку внимания и дружбы; вот почему письмо,

которое вы мне изволили написать из Кишинева, доставило мне в тысячу раз больше удовольствия, чем сколько неприятностей причинила приложенная к нему бумага Закревского».

Наконец Пестель все-таки получил Вятский полк — один из самых распущенных и плохих, и ближайшей задачей явилась необходимость поднять его до самых лучших.

Поневоле Пестель пригвожден был на время к Тульчину, где стоял его полк. Долго сдерживаемая энергия нашла себе некоторый выход в кипучей деятельности, тем больше, что в этом он полагал пользу и для предполагаемого восстания. Образцовый полк ускорит и получение дивизии.

Пестель не жалел собственных денег для улучшения солдатского котла, не щадил и служебной карьеры офицеров, если они вели себя недостойно. Резкие меры строгости, чтобы подтянуть солдат, и беспощадные розги дезертирам стали обычным явлением. Все было пущено в ход, чтобы блеснуть Вятским полком на ближайшем высочайшем смотру. По этой причине Пестель подбирал себе новый состав офицеров отличной фрунтовой выправки и с навыками строжайшей дисциплины по отношению к солдатам. Особым качеством его большого ума была некоторая абстрактная математичность, приводившая порой к забвению живой ткани жизни, к предпочтению отдельных признаков целому. Это качество стало источником крупной ошибки, которая в дальнейшем оказалась роковой для дела тайного общества.

В списке офицеров, которых Пестель полагал полезными для улучшения выправки полка, почему и

просил Киселева непременно перевести их к нему в Тульчин из других полков, стояли и такие слова:

«...Из 34-го егерского прошу вас перевести ко мне штабс-капитана Майбороду».

Просил он этого штабс-капитана — огромного роста и прескверной репутации — единственно за его рвение к фрунтовой службе.

Майбороду очень скоро Киселев перевел в Тульчин, о чем написал Пестелю, не без лукавства закончив свое письмо многозначительной фразой:

«До свидания, Макиавелли!»

Называя Павла Ивановича именем хитрейшего из итальянских политиков, либеральный генерал намекал, что он отлично понимает, какие тайные и заветные мысли Пестель прикрывает созданием образцового полка. А может быть, и не одни только мысли...

Наконец, когда сам император инспектировал войска, полком Пестеля он остался настолько доволен, что, победив свою неприязнь, принужден был сказать:

— Это превосходно. Это совсем как гвардия!

К особой строгости в полку побуждали Пестеля и события, которые развернулись зимой в Кишиневе. Ему надлежало потушить у властей всякие подозрения в революционных замыслах Южного общества. А события в Кишиневе были следующие: едва генерал Орлов уехал в отпуск, как командир корпуса Сабанеев начал против него давно задуманный поход, в надежде изловить генерала и всех его пособников, то есть всю «кишиневскую заразу».

Смелые и решительные реформы, которые вносил в свою дивизию Орлов, поддерживаемый своими офицерами и обожаемый солдатами, давно возмущали

приверженцев жестокой дисциплины и кнута. Во главе их был генерал Сабанеев — начальник корпуса, куда входила орловская дивизия. Маленький, сухонький, злой, он не выносил Орлова и ждал только случая, чтобы его погубить.

«Система управления Орлова своей дивизией, — не раз доносил Сабанеев по начальству, — породила в солдатах буйство и неповиновение властям. Возмутительные и противуправительственные идеи единомышленник и подручник Орлова майор Раевский с великой дерзостью насаждает во всех, ему вверенных, школах».

И царь был не на шутку испуган поведением Орлова.

Сразу после московского съезда Союза благоденствия царь получил донесение от своего агента Грибовского, втершегося в доверие членов общества, об Орлове, что он «ручался за свою дивизию, требовал полномочия действовать», и о «предложении устроить типографию невидимых братьев, которые есть центр, а прочие будут им подчинены беспрекословно».

Относительно «кишиневской заразы» у Сабанеева был верный нюх. В Кишиневе образовалась крепкая и дружная ячейка: Михаил Орлов, полковник Непенин, командир 32-го егерского полка, майор этого же полка Раевский, Владимир Охотников... Все они были включены начальством в одну рубрику — «орловское дело».

Придиркой, чтобы поднять это дело, послужила история в Камчатском полку. Капитан Брюхатов, командир первой мушкетерской роты, стал незаконно наказывать палками, что Орловым было строго запрещено, каптенармуса этой роты. Несколько солдат кинулись

спасать товарища от экзекуции. Заявили также Орлову, что, вопреки его приказу, Брюхатов потребовал снова, чтобы отдавали ему ассигновку на провиант.

Орлов признал правильным претензии нижних чинов, а Брюхатова отдал под суд.

Сабанеев начал свое преследование Орлова с пересмотра этого происшествия в Камчатском полку. «Почему Орлов взял на себя право прощать преступных солдат, почему о деле не донес мне?» И Сабанеев до того круто принялся за расследование, что через краткий срок военный суд постановил основательно наказать взбунтовавшихся нижних чинов — перед всей ротой, кнутом. Через два дня несколько человек от этого кнута умерли. Все приказы Орлова, запрещающие побои, Сабанеев приказал сжечь и восстановить в дивизии прежнюю жестокость. Наконец, он арестовал ближайшего сподвижника Орлова — Владимира Федосеевича Раевского.

Сабанеев совсем было решил, что в его руках теперь верная нить к обнаружению всего тайного кишиневского общества, но благодаря изумительному мужеству Раевского и великой любви к обоим своим начальникам всех солдат — он ничего не добился. Солдаты выдержали жестокие допросы, не дав показаний, желаемых Сабанеевым, против Орлова и Раевского.

К довершению неудач Сабанеева, по счастливому случаю, Пушкин, который пребывал в своем кишиневском изгнании и занимал комнату у Инзова, услыхал однажды разговор между Инзовым и Сабанеевым о предполагавшемся аресте Раевского и тотчас предупредил своего друга об угрожавшей ему беде. Раевский, конечно, сжег все бумаги, обличающие его

принадлежность к тайному обществу. А позднее, когда по следствию затребовали «преступные» прописи майора Раевского, «коими он вызывал брожение умов в военных школах», то их не оказалось вовсе. Подпоручик Таушев, член Южного общества, которому поручено было изыскать все обличающие Орлова и Раевского улики, нашел возможность их уничтожить. Таким образом, расчеты Сабанеева угодить царю и, выбив из Раевского признание, «утушить орловщину, раскрыв ее до ногтей», чем он уже похвалялся, — ни с какой стороны не оправдались.

Раевский знал, что в Тульчине крепнет Южное общество, но совершенно отрицал существование в России каких бы то ни было тайных организаций.

Из крепости Тирасполя, куда его заключили, Раевский умудрился в скором времени прислать стихотворное послание «К друзьям в Кишинев», где были и такие, всех взволновавшие, строки:

Скажите от меня Орлову,
Что я судьбу свою сурову
С терпеньем мраморным сносил.

Кишиневская история, или, как ее окрестил Сабанеев, — «орловское дело», пробудив во многих членах Южного общества высокую революционную горячность, сделала их осторожнее. Они решили собираться только в местах, где невозможно было оказаться полицейскому дозору: в давыдовской Каменке на Екатеринин день и на киевских ежегодных контрактах — ярмарке, происходившей зимой. Здесь скоро к Южному обществу примкнули три видных человека — Сергей Григорьевич Волконский, стоявший со своей бри-

гадой в Умани, Василий Львович Давыдов и бывший семеновский офицер, а сейчас подполковник Черниговского пехотного полка, человек необыкновенный по своему революционному горению и богатым внутренним качествам — Сергей Иванович Муравьев-Апостол. Вскоре были привлечены и три командира полков: Саратовского — Повало-Швейковский, Ахтырского — Артамон Захарович Муравьев, Полтавского — Тизенгаузен.

Матвей Иванович Муравьев-Апостол, отставной подполковник, родной брат Сергея, как человек незанятой по службе, взял на себя должность посредника между Южным обществом и Северным.

В течение двадцать третьего года Южное общество окончательно образовалось и естественно разделилось на три управы — по местожительству своих главных членов. Пестель и Юшневский возглавляли Тульчинскую управу, Давыдов — Каменскую и Муравьев-Апостол — Васильковскую. К нему через год после образования Южного общества присоединился Михаил Павлович Бестужев-Рюмин, бывший семеновский офицер, сейчас подпоручик Полтавского полка.

По первому взгляду этот высокий горбоносый юноша производил почти легкомысленное впечатление своей неугомонной живостью. Однако скоро он обнаружился таким прирожденным и талантливым организатором, что сделался в Южном тайном обществе значительной силой.

Кроме основных членов Южного общества, раньше бывших в распущенном Москвою Союзе благоденствия, в Тульчине появилась и целая группа совсем молодых единомышленников. В начале двадцатых годов в Туль-

чине возник кружок, члены которого с дерзостью отрицания религиозного соединяли ненависть к порядку деспотическому и под сильным влиянием Пестеля признавали необходимость вооруженного восстания.

В центре стоял младший из братьев Крюковых — Николай. Он оказался одним из самых твердых и убежденных членов Южного общества. Еще в ранней юности он избрал себе целью познание человека и того, что для его счастья потребно. Идейное и политическое развитие Крюкова крепло от общения с Пестелем и Юшневским. Он часто наезжал в Тульчин из местечка Немиров, куда на несколько лет был послан на съемку.

На товарищей Крюков имел большое влияние. Уединенное место, где они жили, еще теснее сдружило кружок. Поначалу Крюков жаловался, что товарищи над ним потешаются, прозвав «тульчинским политиком», но когда они ознакомились с мыслями и планом Пестеля — сами прониклись великим почитанием.

Барятинский также имел для кружка большое значение. Стихи его, написанные по-французски, то и дело декламировались, переведенные прозой на язык русский. В кружке мысли Барятинского считали бесспорным отрицанием бытия божия. Особенно интересным почиталось место:

«Когда темная ночь разверзает свою обширную завесу, читаю я твое величие на челе звезд.

Но крик птицы, умерщвленной острым когтем, внезапно отталкивает от тебя мое упавшее сердце.

Вопреки всему твоему величию, жестокость инстинкта кошки, отрицая благость твою, отрицает твое существование.

Разобьем же алтарь, которого он не заслужил. Он благ, но не всемогущ, или всемогущ, но не благ».

Сам Пестель далеко стоял от кружка молодых, он был слишком занят, и для дела тайного общества сейчас ему важнее были полковые и ротные командиры, которые в случае начала действий могли бы поднять за собой своих солдат.

Ближайшую связь с молодыми немировцами держали адъютант по квартирмейстерской части Филиппович, сам Юшневский и главным образом князь Барятинский. Тульчинская управа очень оживилась, когда впоследствии в нее влились эти молодые из Немирова. Они под руководством Барятинского образовали живую связь между Линцами, где должен был пребывать Пестель, и другими управами.

Отношения Южного общества с Северным начинаются с двадцать второго года, когда Пестель, который сам не мог двинуться из Тульчина, послал в Петербург Волконского разузнать подробно о работах и планах северян. А Никита Муравьев отправил с Волконским же из Петербурга в Тульчин для прочтения Пестелю свою неоконченную «Конституцию».

Пестель, изучив посланные ему листы труда Никиты Муравьева, отправил свои возражения автору с Василием Давыдовым.

Многие пункты «Конституции» оспаривает Пестель. Взамен он предлагает рассмотреть приложенные к посланию основные положения своей «Русской правды» и заодно шлет Северному обществу обидные упреки в бездеятельности, ставя в пример боевую решительность и организованность южан:

«...Полумеры ничего не сто́ят. А вам лучше совсем разойтись, нежели бездействовать и все-таки опасностям подвергаться!»

Никита Муравьев остался недоволен отповедью Пестеля и еще более положениями его «Русской правды». На этот раз Муравьев посылает свою дополненную «Конституцию» уже в другие руки — Сергею Ивановичу Муравьеву-Апостолу.

Словом, оба общества ищут связи друг с другом, но каждое из них желает не только оставаться при своих идеях, но и сделать свою программу общей и для северян и для южан. Весной двадцать третьего года Пестель посылает третьим послом Барятинского, которому поручает для взбодрения, по его мнению, слишком вялых к действию северян сказать им, что Юг готов на выступление и ждет ответа — присоединится ли Север? Никита Муравьев решительно ответил, что ни к каким действиям они не готовы и считают своевременным пока только распространение возможно шире своих вольных идей:

«Не то что действовать — и новых членов весьма затруднительно ныне набирать!»

Из северян, кроме Никиты Муравьева, особенно упорствовал Трубецкой, сколько ни убеждали его Матвей Муравьев и Повало-Швейковский, говоря: «Вы тут все только умствуете, проводите время в разговорах и спорах; у нас же общество устроено вполне и много войска в руках. У вас ни порядка, ни войска. Присоединяйтесь! Приличней неустроенному примкнуть к приведенному в боевую готовность, нежели обратно».

«Представляйте доказательства», — потребовал Трубецкой.

На этом переговоры кончились. Убедительные доказательства о необходимости присоединения никто северянам сильнее Пестеля представить не мог, и, он, наладив все полковые дела, взял двухмесячный отпуск и решил ехать.

Еще до своего отъезда Пестелю пришлось пережить большое горе в собственной семье: отца его, Ивана Борисовича, с позором лишили места генерал-губернатора Сибири.

Иван Борисович Пестель родился и жил в Москве. При Павле он неожиданно выдвинулся и был назначен президентом главного почтового правления. Граф Растопчин, не желая с кем-либо делить доверие императора, придумал злую каверзу, чтобы свалить начавшего идти в гору Пестеля: он написал письмо от имени неизвестного к своему другу, где сообщал о заговоре против Павла. Письмо было отправлено по почте с расчетом, чтобы оно непременно попало в руки самого начальника почты. В конце — коварная приписка: «Не удивляйтесь, что посылаю просто по почте, наш почтдиректор Пестель с нами заодно».

Пока Пестель раздумывал, как ему поступить с этим письмом, Растопчин опередил его, рассказав Павлу о своей проказе. Признался, что измыслил эту шалость единственно из желания испытать степень верности и бдительности Пестеля. Павел вспылил и, не разбирая дела, снял Пестеля с должности.

Однако при Александре Ивану Борисовичу опять удалось взобраться высоко. Как человеку проверенной честности, Александр поручил ему всю Сибирь,

которая стонала от самого злодейского лихоимства. Пестель, сделавшись генерал-губернатором необъятного края, попал в труднейшие условия. Поначалу он очень рьяно вступил в борьбу с чудовищным взяточничеством и казнокрадством, нажил себе кучу врагов и, придя в ужас от бессилия что-либо сделать при условиях, в которые был поставлен правительством, уехал из Сибири в Петербург и продолжал править краем много лет из собственной квартиры на Фонтанке. Это обстоятельство вызвало новую остроту Растопчина: «Кто самый зоркий на свете? — Старый Пестель: он из Петербурга видит, что делается в Сибири!»

Но дело показало, что Иван Борисович за шесть тысяч верст видел плохо: если не он сам, то все ставленники его оказались лихоимцами, превышали свою власть, и когда Сперанскому поручена была срочная ревизия Сибири, Пестелю дана была унизительная отставка, даже без упоминания о его сорокалетней службе, безукоризненной в смысле честности, что было в те годы великой редкостью.

Павел Иванович вспомнил, как одна приезжавшая из Тобольска знакомая рассказывала про отца вещи, свидетельствовавшие о его бескорыстии: откупщик Перевощиков, у которого в сенате было очень громкое дело, подослал важную даму поднести старому Пестелю пятьсот тысяч за хлопоты в его пользу. Пестель в ярости приказал эту даму, вместе с ее взяткой, выбросить вон.

Перед Павлом Ивановичем лежало письмо отца, полное горечи и своеобразного стариковского красноречия, которым он уведомлял сына о своем бедствии и полном разорении:

«...А ныне мы перебираемся в именьице твоей матери в Смоленскую губернию, — кончал Иван Борисович свое письмо, — а в кармане я имею всего 75 рублей. И на всю жизнь удручающих долгов — двести тысяч».

«Вот оно, решение моей личной судьбы, — думал Пестель, в волнении шагая по своему кабинету. — Не для меня мечты о личном счастье, о жене, о собственной семье...»

Перед ним мелькнуло красивое лицо генерала Орлова, гордое любовью дорогой ему женщины. Ну что же, без личной жизни — больше свободы для борьбы. Для одного только дела общего...

Шагая взад и вперед по комнате, Пестель старался привести в порядок расстроенные чувства.

Он мужественно, не уклоняясь, смотрел в глаза своей невеселой судьбе, с присущей ему твердостью решая, что отныне отец, мать, младшие брат и сестра должны стать его постоянной заботой.

Внезапно он сел за стол и без колебаний, не перемарывая, написал отцу:

«...Вам нужны деньги, и я сделаю все возможное, чтобы их послать вам скорей. Потом очень важная статья — это долг. Я еще в службе и человек одинокий: сделайте мне великую милость, дражайшие родители, перепишите ваши заемные письма на мое имя, тогда вас не будут более тревожить, а жалованье мое доставит хоть что-нибудь вашим заимодавцам. Я думаю, что они охотно на это согласятся, и тот день, когда я подпишу все ваши заемные письма, будет, без сомнения, прекраснейший день моей жизни, я буду знать, что вы освобождены от всякого беспокойства по этому

предмету. Не откажите мне в этой милости. Ваш отказ огорчил бы меня больше, чем само известие о неожиданном результате дел сибирских. Мне еще нет 30 лет, я еще могу иметь успех, для вас же нужен покой после беспрестанных бурь, которые потрясают до сих пор вашу жизнь. Пусть все ваши долги без исключения будут переведены на меня, дорогой батюшка, и пусть как ваша особа, так и смоленское имение останутся совершенно свободны от этого бремени, — вот моя убедительная просьба, о которой не перестану молить...»

Пестель встал из-за стола, опять прошелся по комнате. На душе у него стало торжественно и тихо. Он словно писал предсмертное завещание, раздавал все свое имущество, оставался легким, не связанным с вещами. Не судьба ему продолжать род, иметь детей, внуков, стариться в покое и почтении.

И еще было ему так, словно перерезали канат, который привязывал его утлую ладью к какому-то вековечному устою, и он в этой ладье один, и вот уже уносит ее в бескрайное море.

Мысль остановилась на возлюбленной сестренке Софочке. Если бы он оказался женатым, какая бы жалкая участь ей предстояла в этом обществе, основанном на положении и деньгах?

И, поспешно подойдя к столу, приписал о сестре:

«...Что касается до вотчины в Смоленской губернии, то надо вам сделать немедленно духовное завещание и укрепить владение этим имением безраздельно за одной Софочкой. Мы, мужчины, должны и можем без него обойтись, но это невозможно для

бедняжки. Что станется с этой дорогой бедной девочкой?»

Еще походил по комнате, взвешивал — не забыл ли чего. Вспомнил, сел за стол и уже своим привычным тоном командира отчеканил:

«...Младшему брату Александру обязуюсь ежегодно давать 1500 рублей, — это будет довольно. Лошадей дает им казна. Братья Владимир и Борис устроятся сами».

Заканчивая письмо, приученный подчинять рассудку каждое свое чувство, приписал:

«...Я думаю более о том, что должно делать, нежели о том, что случилось, как ни горька мне, батюшка, ваша отставка. Ожидаю известий с нетерпением и тоской. Ваш сын Павел».

— Савченко! — позвал Пестель; порывшись в ящике бюро, он достал нужные ассигнации и приложил их к письму. Подавая денщику, сказал: — Прошу скорее отправить письмо и деньги батюшке.

— Так точно, ваше высокоблагородие! — сказал с почтительным сочувствием Савченко: он уже слышал от других денщиков о беде, постигшей отца Пестеля. Об его отставке и замещении Сперанским было напечатано в «Инвалиде», и везде между офицерами шли об этом злые и обидные толки.

— Савченко, — сказал несколько смущенно Пестель, — с нынешнего дня ты мои личные расходы непременно урежь, слышишь? Ну, там вино, сладости...

Денщик, не моргнув, тотчас ответил:

— Да у нас, Павел Иванович, вина и этих разных здешних дульчесов на полгода, почитай, хватит. Назапаслись!

Он пошел отправлять деньги в Смоленскую губернию, а на обратном пути зашел в лавку знакомого грека и накупил сладостей невесть сколько. Павел Иванович сладкое любил, а у денщика Савченко были свои сбережения.

Пестель еще задерживал отъезд. Он ждал со дня на день приезда из Кишинева подпоручика Таушева с вестями о Раевском. Подпоручик наконец приехал — очень молодой, светлый, с ясными невинными глазами. Благодаря этим невинным глазам генералу Сабанееву и невдомек было заподозрить, что делом рук подпоручика Таушева явилось исчезновение известных «возмутительных прописей» Раевского и прочих, изобличающих «кишиневскую заразу», документов. Таушев рассказал Пестелю: Иван Петрович Липранди вернулся из своей служебной поездки. Он, между прочим, заезжал в Тирасполь и умудрился на полчаса повидать Владимира Федосеевича Раевского, который просил передать предназначенные Пушкину свои стихи «Певец в темнице».

— Я был у Липранди, — сказал Таушев, — когда он передавал Пушкину эти стихи, а тот их при мне читал. Пушкин, видимо, взволновался; когда окончил читать, сел на диван рядом и сказал: «Как это хорошо, как сильно!» «Что же вам так особенно понравилось?» — спросил Липранди. Пушкин прочел несколько строк, которые я тут же запомнил, потому что и мне они очень пришлись по сердцу. Вот они:

Как истукан, немой народ
Под игом дремлет в тайном страхе:
Над ним бичей кровавый род
И мысль и взор — казнит на плахе.

Пушкин еще раз повторил последние строчки и прибавил: «Хорошо выражено про династию — «бичей кровавый род». Да, после таких стихов не скоро уже увидим мы нашего спартанца!»

— Первейшей нашей заботой, — сказал торжественно Пестель, — будет освобождение Владимира Федосеевича Раевского, этого прекрасного человека, поэта и революционера. Как только возьмем власть, мы откроем крепостные ворота его Тираспольской тюрьмы!

Еще рассказал Таушев, что, когда производилось над Раевским следствие, к нему приехал начальник штаба Второй армии, генерал Киселев. Он объявил, что государь приказал возвратить Раевскому шпагу, если он откроет, какое тайное общество существует в России под названием Союза благоденствия. Раевский отвечал: «Я ничего не знаю. Но если бы я и знал, то самое предложение вашего превосходительства настолько оскорбительно, что я не стал бы ничего открывать. Ведь вы мне предлагаете шпагу за предательство».

— Вот это человек! — с восхищением добавил Таушев.

— Да, Раевский в глубоком смысле слова человек, — сказал взволнованно Пестель, — и мне горестно, что так скоро сбылось мое предсказание Орлову о крушении их общей работы. Но вот от Киселева участия в подобной подлости я, признаться, не ожидал...

И Пестелю стоило больших усилий остаться внешне невозмутимым, когда вскоре перед отъездом в Петербург ему пришлось по делам увидеться с начальником штаба.

Киселев, глядя с тонкой усмешкой прямо в глаза Пестелю, внезапно сказал:

— Кончена блестящая карьера Орлова! Отстранен от командования Шестнадцатой дивизией. И вообразите, до чего вспылил: упрямится, требует над собой суда! А едва ли этот суд ему будет на пользу! Как это он, любопытствую, сможет оправдаться хотя бы в том, что заведовать учебной частью поставил, как нарочно, самого дерзкого вольнодумца, майора Раевского?

Пестель промолчал, и Киселев, пожелав ему доброго пути, прибавил свое неизменное: «Макиавелли!» таким тоном, что не понять было — восхищается он Пестелем, обвиняет или угрожает.

«Каждую минуту нас могут забрать, — подумал Пестель, — скорейшее действие необходимо. А для его успешности — соединение обоих обществ!»

С этой целью, овладевшей всеми его мыслями, Павел Иванович уехал в Петербург.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Приехав в Петербург, Пестель остановился в трактире Демута на Мойке. Так было привычно и свободней всего. Даже когда родители предоставляли в его распоряжение свою большую квартиру на Фонтанке, Павел Иванович предпочитал останавливаться здесь, у Полицейского моста, в обширном номере с окнами на реку.

Очень скоро приехал сюда Матвей Иванович Муравьев, знавший хорошо настроение и планы всех главных членов Северного общества.

Матвей Иванович принадлежал к обширной, богатой и одаренной талантами семье Муравьевых. Михаил

Николаевич Муравьев, брат основателя Союза благоденствия, после московского съезда совершенно отдалился от всякого революционного движения и заслужил впоследствии у современников кличку «вешатель»: он с мрачным остроумием делил членов муравьевской семьи на тех, «которые вешают», и на менее удачливых — «которых вешают». Матвей Иванович не принадлежал ни к тем, ни к другим. Он по своим личным склонностям был просто самый мирный любитель природы и садоводства. В тайное общество он попал по великой дружбе с братом Сергеем Ивановичем — замечательным человеком и революционером. Они оба получили прекрасное образование в Париже, а в семье росли под влиянием своей матери, выдающейся женщины своего века. Она внушила сыновьям глубокое отвращение к отечественному рабству и деспотической власти.

Значительность душевного мира и особая обаятельная доброта перешли от матери к Сергею, младшему брату. Матвей Иванович походил на отца некоторой сухостью характера, а надменное выражение придавало его маленькой фигурке вид поднявшего клюв попугая. Пестеля он не любил, но ему подчинялся и в то же время очень был настороже, чтобы брата Сергея не вовлекли без его ведома в опасный круговорот.

Заложив руку за спину, сохраняя и в статском сюртуке военную выправку, Матвей Иванович, словно адъютант, докладывал Пестелю:

— Северное общество не на шутку всполошилось под настойчивым вашим напором, Павел Иванович. Ведь вы троекратно послов сюда засылали. А когда здесь узналось, что наконец едете сами, то намедни

собрались на большое совещание и пришли к такому решению: необходимо иметь им не одного, а целых трех директоров.

— Кого ж выбрали? — спросил Пестель, с интересом слушая Матвея Ивановича.

— Да кого ж выбирать, кроме Никиты Муравьева да двух князей — Оболенского и Трубецкого? Сейчас у Никиты заболела жена, он от нее не отходит, а Трубецкой просил передать, что сегодня после обеда к вечеру зайдет к вам.

— Из самых последних новостей, слыхал я, — сказал Пестель, — принят в члены Рылеев?

— Как же, как же, — заторопился Матвей Иванович. — На том заседании, когда выбраны были три директора, и нашего знаменитого поэта включили в Северное общество! И скажу вам — он один стоит их всех! Словно живой водой на мертвое брызнули, так все у них и закипело.

— А чем на собраниях занимаются?

— Да все сравнивают, все обсуждают противоречия между вашей «Правдой» и Никиты Муравьева «Конституцией». Но за вас, Павел Иванович, разве один Оболенский стоит, все же прочие ничего вашего не приемлют, потому что...

— А как же Рылеев? — нетерпеливо прервал Пестель.

— Рылеев говорит, что это просто вопросы самолюбия — принимать или не принимать чью-либо программу. Есть о чем толковать, говорит, если всему, что измыслим сами, предстоит поступать на решение Народного собора!.. Горяч, чувством так и бурлит.

— А сам Народный собор, как он полагает, по щучьему велению соберется? — улыбнулся Пестель. — Ну, ладно, досмотрю каждого поодиночке.

И он мысленно решил: «divide et impera — раздели и властвуй... Тогда будет легче отколоть их друг от друга, чтобы собрать воедино для пользы общей».

Матвей Муравьев ушел, а Пестель после обеда прилег на кушетку и, как опытный стратег перед боем, старался припомнить все, что ему было известно о князе Сергее Трубецком, которого ждал он с нетерпением противника. Пришлось освежать в памяти далекое прошлое.

У Сергея Трубецкого был свой крепкий кружок товарищей еще по Семеновскому полку. Он вступил туда подпрапорщиком восемнадцати лет. Там встретился с двумя Муравьевыми-Апостолами и родней их — Александром Николаевичем, просто Муравьевым. С Оболенским, Якушкиным... С ними проделал кампании двенадцатого года. Состоял в Париже в масонской ложе Трех добродетелей, в Союзе благоденствия. Близкие товарищи, люди тех же моральных вкусов, тех же умственных интересов, были с ним связаны памятью давних битв, вместе перенесенных опасностей и трудов.

Устремив свое внимание на Трубецкого, Пестель невольно вызвал в памяти и его блестящий послужной список: Трубецкой побывал во многих боях, везде отличаясь, по отзывам товарищей, особенной спокойной неустрашимостью и умением командовать. В Бородинской битве, — все это помнили, — Трубецкой выдержал четырнадцатичасовой жестокий огонь французов, а под Кульмом, где командовал одним из батальонов Семеновского полка, расстреляв все патроны, одними штыками

выбил противника из лесу. Доблесть его была не из выдуманных, он ее доказал в боях и по праву считался стойким командиром, прекрасно знавшим свое дело. По возвращении в Россию Трубецкому, после героического напряжения всех его патриотических чувств, как и многим, невыносимо было наблюдать вокруг все тот же крепостной строй, все те же невежество и бесправие. Жил он в Семеновских казармах вместе с Сергеем Муравьевым-Апостолом. Часто общался с другими родственниками Муравьевыми, вел обычные для всей передовой молодежи разговоры о бедственном положении отечества, не замечая того, что все глубже отрывается от психологии, свойственной старому дворянскому кругу.

Пестель вдруг вспомнил, как, встретив в те годы юного тоскующего Трубецкого, сказал ему:

— Каждый, кто, подобно вам, показал себя столь необходимым на войне, должен и в мирное время еще с большим успехом послужить своей родине.

— Хорошие слова вы мне говорите, — оживился Трубецкой. — Ну, что же, постараемся и в мирное время!..

И когда Трубецкой пришел от имени Союза спасения с предложением написать введение к уставу общества, то, еще раз просияв улыбкой, сказал:

— Вот видите, ваш совет исполняется. Мы нашли наконец, чем и в мирное время послужить Отечеству!..

На этом кончились их хорошие отношения, едва завязавшись. Пестель введение написал, но тут же и утратил доверие Трубецкого, приобретя взамен многообразованного Никиту Муравьева, о котором друзья говорили, что он один стоит целой Академии,

В этом введении к уставу первого тайного общества у Пестеля была, между прочим, высказана мысль, что Франция могла бы благоденствовать под управлением Комитета общественной безопасности.

«Как? При терроре?» — пришел в ужас Трубецкой, но Никита Муравьев стал тогда всецело на сторону Пестеля. И когда Пестель в одном из шумных заседаний заговорил о необходимости строя республиканского, в чем никак не мог убедить Федора Глинку, опять помог Никита Муравьев. Назавтра, когда пришлось уже намекнуть о дальнейшем, о неизбежности цареубийства и необходимости военной диктатуры, — опять все до конца понял только он, Никита Муравьев. И был союзником, когда все другие пришли в ужас. Что же ныне? Почему так разительно изменился? Возможно, как говорит о нем Юшневский, «женился и обескрылел»? Не такая ли судьба ждет и Орлова Михаила Федоровича? Быть не может, не должно. Напротив: за свои смелые действия от бригады отставлен. Недаром Пушкин приятелю написал: «Наш Рейн хоть женился — не изменился».

В дверь постучал денщик Савченко тем же условным стуком, какой был установлен для него в Тульчине, и доложил:

— К нам князь Трубецкой!

Трубецкой поздоровался слишком любезно, несколько чопорно для былого товарища, и Пестель сразу отметил это.

Поговорили о здоровье жены Никиты Муравьева, о том, что на днях он сможет уже ее оставить, так как опасность миновала и он горит нетерпением повидать Павла Ивановича.

Пестель внимательно рассматривал лицо Трубецкого, стараясь уловить, как всегда бывает после нескольких лет разлуки, что в человеке осталось прежнего, что изменилось. И сразу восстановилось уже знакомое впечатление от этого странного, совершенно нерусского лица. Хоть мать Трубецкого была «владетельная княжна грузинская», тип лица его напоминал не Кавказ, а какую-то более глубокую азиатскую страну. Посадить бы его на верблюда, облечь, вместо нарядного военного мундира, в полосатый халат, и получился бы древний кочевник в бескрайной степи: большой нос на длинном лице, типичные две складки к углам толстогубого рта и, несмотря на привычную светскую вежливость, удивительный взгляд, уходящий куда-то в беспредельную даль. Так смотрят кочевники-созерцатели. Ничего военного в этом человеке не было, хотя носил он свою нарядную форму прекрасно и о военных его подвигах всем было известно. Однако и сейчас, как всегда, встречаясь с Трубецким, Пестель вспоминал не военные его подвиги, а то, что этот человек — страстный любитель естественных наук и в Париже прослушал полный их курс.

— Неужто, князь, — сказал шутливо Пестель, — мы и сейчас будем тех же противных мнений, как и в годы, когда вами еще не была оставлена надежда на то, что император сам даст конституцию, сам освободит крепостных? Вы тогда, помнится, настаивали, что наша помощь для блага отечества только в том и состоит, чтобы не идти против правительства, а лишь помогать ему ускорить полезные начинания.

Трубецкой сощурился, хитрые морщинки залучились вокруг его глаз, и затаенное упрямство само-

любивого человека прозвучало в его тоне, когда он сказал:

— Хотя Союз спасения давно не существует, я полагаю, что пункты его устава есть и будут наиважнейшим, что потребно отечеству, иначе говоря — ограничение самовластия монарха.

— Вот как? — улыбнулся Пестель. — Значит, ваши мысли с места не двинулись, ну, а царская политика не стоит! Вчера — военные поселения для родного отечества, сегодня — Священный союз уже для всей Европы. Однако не может быть, князь, чтобы вам не было известно: записки самых уважаемых людей, поданные царю о необходимости улучшений по всем ведомствам, сейчас встречают один его гневный оклик: кто правит государством — вы или я?

Трубецкой подобрал свои длинные ноги под кресло, на котором сидел, весь подался вперед и, не глядя на Пестеля, как человек, для которого все решено и спорить он вовсе не желает, с некоторым усилием, но твердо выговорил:

— В нынешних обстоятельствах я искренно полагаю единственно полезным — елико возможно расширять круг людей, охваченных просвещенными мыслями, — и только.

Трубецкой глянул в глаза Пестелю с любезной светской улыбкой, словно обращался в салоне к даме:

— Благодаря вашему воздействию среди высшего гвардейского общества сейчас читают политическую экономию и изучают Бентама.

«Все у них между собой решено, не желают о деле и разговаривать», — подумал с раздражением Пестель и так же любезно, с легкой иронией, ответил:

— Можно вас поздравить с великими достижениями в гвардейской среде!

Ему стало очевидно, что глава Северного общества — Никита Муравьев, предвидя его намерение склонить к себе каждого в одиночку, предложил своим членам быть с ним начеку и не вести с глазу на глаз ответственных разговоров.

— Во всяком случае, князь, раньше чем у нас здесь произойдет общее собрание, можете ли вы ответить на один скромный вопрос, но серьезно? Добились ли члены вашего общества единства, ну, хотя бы в понимании собственных задач?

— В одном мы твердо согласны, — сказал Трубецкой, — и так как лучшей формулировки, чем Никита Муравьев, мне не сделать, скажу его словами: «Нельзя допускать, чтобы произвол одного человека был основанием правления. Нельзя, чтобы все права были на одной стороне и все обязанности на другой».

Говоря, Трубецкой поднял голову, и большая сила убеждения вспыхнула в его обычно тускловатых глазах.

«Вот таким он командовал на Шевардинском редуте, — подумал Пестель. — Этот человек не трус, когда он знает, во что верит».

Но Трубецкой потух. Вдруг осекся, опустил голову и с недавним упрямством, как бы преодолевая собственную нерешительность, вымолвил:

— Власть монарха должна быть ограничена, но ограничена должна быть и власть народа. Я отрицаю всякую диктатуру, всякое нарушение свободы, отдельной личности с чьей бы то ни было стороны.

— Лю-бо-пыт-но, — протянул Пестель. — Но как же при подобных взглядах, извините меня, вы могли во-

дить солдат ваших в атаку и, как всем известно, весьма доблестно?

Трубецкой испуганно вскинул глаза на собеседника и тихо проговорил:

— Там ответственность за действия была не на мне.

Глаза его сузились, взор ушел в пустынные дали, и видно было — он больше не скажет ничего существенного.

«Сел на своего верблюда и уехал!» — сердито подумал Пестель и не стал удерживать гостя, когда тот начал прощаться.

Трубецкой ушел, а Пестель по привычке принялся ходить по большой комнате своего номера, направляя по узору паркета решительные шаги то к окнам, выходившим на мутную Мойку, то обратно к стенам, свежеоклеенным темными добротными обоями. Он с горечью думал, что едва ли ему удастся добиться единодушия с Северным обществом, ради чего он сюда приехал. Политические взгляды Никиты Муравьева, руководившего северянами, по ряду пунктов далеко отошли от взглядов общества южан.

Хорошо изучив присланную в Тульчин недописанную «Конституцию» Муравьева, Пестель сразу увидел, что Муравьев противопоставляет свое весьма умеренное правление его, Пестеля, проекту республиканского государства. И некую федеративную систему, весьма схожую с древнерусской удельной системой, — тому сплоченному государству, которое предлагает «Русская правда».

«В сущности, здесь с одним Никитой только и может выйти серьезный разговор, — решил Пестель. —

Он один, как-никак, довел свои чувства до формулировки, оспаривать же можно только мысли, нашедшие форму. Что же, поспорим!..»

Пестель прикинул, сколько времени ему можно провести в Петербурге, чтобы в конце отпуска выделить краткий срок для поездки в Смоленскую губернию к отцу, и сел писать ему о том извещение. Потом, в ожидании Оболенского, который должен был зайти за ним, чтобы вместе идти к Рылееву, Пестель погрузился в листы «Русской правды», из которой стал старательно делать выписки, необходимые для предстоящего на днях единоборства с Никитой Муравьевым.

Князь Евгений Петрович Оболенский, поручик Финляндского полка и старший адъютант генерала Бистрома, был тоже одним из учредителей Союза благоденствия и сейчас состоял в триумвирате директоров Северного общества. Хотя жил он в Петербурге, но както всюду носил с собою Москву. Кто хоть раз побывал у него в старинном доме под Новинском, в приходе Покрова, кто видел его рядом со стариком отцом, настолько известным своей святой жизнью, что ходил он под кличкой «инок в миру», тот с трудом мог бы понять, как этот человек, связанный крепко с мирным старинным укладом и крепкой любовью с отцом, мог примкнуть к угрожавшему его свободе и жизни революционному обществу.

А между тем Оболенский был самым восторженным и восприимчивым слушателем Пестеля. Он не только мыслью, но и всеми чувствами был склонен принять демократические положения «Русской правды» и всячески содействовал объединению общества.

Еще утром, когда у Рылеева речь зашла о свидании с Пестелем, Оболенский, не скрывая своего восхищения, говорил о нем:

— Признаюсь, мне трудно устоять против такой обаятельной личности, как Павел Иванович, а разве не справедливо будет сказать, что он — главная пружина всего нашего дела, что он — основание, на котором должно воздвигнуться все здание революции!

Видя, как болезненно дергалось доброе лицо Оболенского при известии о какой-либо жестокости над солдатами (в своем-то полку он давно вывел палки), трудно было представить, что этот мягчайший, кроткий человек убил юношу Свиньина на дуэли. Сам он никого на дуэль не вызывал, но случилось, что пришлось драться вместо двоюродного брата, забота о котором поручена была ему родной теткой. Узнав о предполагавшейся дуэли этого брата, Оболенский настоял, чтобы вместо юнца дрался он, его опекун. И убил, по несчастью, соперника. После дуэли был нервно болен, а выздоровев, со всей горячностью ушел в дела тайного общества.

— Пешком пойдем, Павел Иванович, погода на редкость чудесная, — так радостно сказал Оболенский, входя в номер гостиницы Демута, что и Пестелю стало весело. Оба двинулись тотчас на Мойку, к Синему мосту...

Заходящее солнце осветило огромного двуглавого орла, который заметен был издали. Он сидел, распустив крылья, на крыше трехэтажного здания Российско-американского общества.

— Все вертятся у меня в памяти, — сказал Пестель, — стихи Рылеева нашему царю в те дни, когда все еще чаяли в нем освободителя греков: «Спеши, монарх, на подвиг свой!»

— А у меня после этих стихов и тогда и сейчас неизменно всплывают в памяти умные речи Николая Ивановича Тургенева, — застенчиво сказал Оболенский. — И как с ними не согласиться! «Почему русским должны стать ближе страдания чужого народа, нежели поистине отчаянное положение несметных рабов собственного отечества». Действительно, почему?..

— Дайте срок, всех освободим, — угрюмо заявил Пестель. — Вот хлопочите этот срок ускорить. Без объединения обоих обществ наше дело не удастся.

— Да я, Павел Иванович, всей душой... — с волнением сказал Оболенский. — Вот истинно радуюсь приобретением нашего общества в лице Кондратия Рылеева, с ним мы зашевелимся!

Подпоручик в отставке, поступивший в уголовный суд заседателем, Рылеев был и поэтом, внезапно получившим славу. Еще не утихло волнение, возбужденное в умах семеновским бунтом, как вдруг столица была поражена другим событием. Это был угрожающий, смелый голос поэта, голос возмущения в ответ на жестокую расправу с семеновцами.

В десятой книжке «Невского зрителя» появилось стихотворение Рылеева «К временщику». Все отлично поняли, что сатира адресована самому Аракчееву, так очевиден был по сходству характер, так своевременно появление самих стихов. Общество кипело негодованием на жестокость ставленника аракчеевской школы, зна-

менитого зверя-полковника Шварца, виновника гибели стольких солдат, и весь передовой Петербург декламировал концовку сатиры:

Тиран, вострепещи! Родиться может он!
Иль Кассий, или Брут, иль враг царей Катон!

Ждали страшного мщения от оскорбленного временщика. Оплакивали и молодого поэта и дерзкого редактора журнала. Однако ничего грозного не последовало: Аракчеев решил, что ему приличнее подобную дерзкую сатиру на свой счет вовсе не принимать, и опасность жестокой расправы пронесло мимо.

Рылеев был великой находкой для Северного общества не только как поэт, но и как общественный деятель, о котором тоже немало говорили в столице.

Демократ и всегдашний неизменный заступник простого народа, он с ним постоянно был связан как судебный заседатель. Когда в двадцать первом году, вследствие жестоких условий жизни, произошел в Ораниенбаумском уезде, в имении графа Разумовского, крестьянский бунт и дело о нем поступило в суд, Рылеев, несмотря на то, что сторону Разумовского держали очень влиятельные люди, отстоял правду его крепостных.

О популярности Рылеева ходил по городу и такого рода рассказ. Будто граф Милорадович пригрозил судом мещанину, который не признавался в крупной вине, на него напрасно возведенной. А мещанин, услышав о предстоящем суде, с благодарностью пал перед графом на колени и воскликнул: «Теперь я уверен в моем оправдании, потому что в суде есть Рылеев. Он не даст погибнуть невинному!»

Осенью двадцать третьего года Рылеев написал оду «Гражданское мужество», где посвятил строфу адмиралу Мордвинову, очень всеми почитаемому:

Но нам ли унывать душой,
Пока еще в стране родной,
Один из дивных исполинов
Екатерины славных дней,
Средь сонма избранных мужей,
В совете бодрствует Мордвинов?

Член тайного общества Федор Глинка бывал в доме Мордвинова. Он показал ему рылеевскую оду. Польщенный адмирал захотел познакомиться с автором и любезно предложил Рылееву должность правителя канцелярии в Российско-американской компании, которой он был официально протектором.

Жизнь Рылеева закипела: новая служба, издание совместно с Александром Бестужевым «Полярной звезды» и захватившая с головой деятельность в тайном обществе.

С первых же его шагов товарищи отметили, что насколько Никита Муравьев стал теперь «действие тормозить», настолько вновь вступивший Рылеев пылает и рвется вперед.

Пестель был уверен, что Рылеев вскоре станет главой Северного общества. Слушая о нем рассказы восхищенного Оболенского, он обдумывал, какие наводящие вопросы надо задать Рылееву, чтобы вернее выведать его политическую подготовку. Приемом пришпоривания он собирался вызвать Рылеева на откровенность, тем более что Оболенский сказал: «У Рылеева нет отвращения к идее республиканского строя. Он

только полагает, что Россия пока еще до него не дозрела».

Жены и маленькой дочки Рылеева не было дома, он один сидел у себя в кабинете, где и принял с большой приветливостью Пестеля и Оболенского.

Стол был завален книжками второго издания «Полярной звезды».

— «Опять рылеевская «Звезда» взошла на литературный небосклон» — острят наши петербургские писатели, — улыбался Оболенский, влюбленно глядя на Рылеева.

— И нас с Бестужевым величают неплохо: «полярные рыцари», — сказал Рылеев, подавая Пестелю маленькую книжку «Звезды». — Вот, обратите внимание, гравированные картинки работы Орловского — превосходное украшение, в три недели полторы тысячи разошлось!

— В книжном мире это большая редкость, радуюсь и поздравляю! — подхватил Оболенский.

Ему нескрываемо нравился Рылеев не только благородным своим нравом и талантами, но и действительно примечательной внешностью. Это был стройный невысокий человек, очень легкий, лицом смугловатый. Могучие брови, почти сросшиеся над переносьем, придавали лицу Рылеева что-то угрожающее. Но вот улыбнулся — и засияли большие глаза, полные чувства и жизни.

«Глаза как у юноши с равеннской мозаики», — вспомнил Пестель виденное в Парижском музее древнее изображение.

Глаза Рылеева были черные, но не глухой черноты: они напоминали дымчатый топаз, который не только

отражает блеск, а сам словно мягко светится изнутри. Это было совсем необычное лицо, хотя определение — красивый к нему не подходило; оно чем-то притягивало сильней, чем красота.

— В этой книжке ведь напечатан его «Войнаровский», — сказал Оболенский и осторожно посмотрел на Рылеева — не рассердится ли?

Но Рылеев, напротив того, по-юношески радостно сказал:

— Я так счастлив, что Пушкин эту мою поэму весьма одобрил!

На столе у Рылеева лежал какой-то обломок с вензелем Наполеона.

— А это откуда у вас? — заинтересовался Пестель.

— Один из наших союзников, австриец, подарил на память еще в четырнадцатом году, когда они снимали с триумфальной арки Квадригу, вывезенную Наполеоном из Венеции. В те дни уже трепалось на Вандомской колонне белое знамя французских королей, вместо недавней статуи Наполеона. В суде шел процесс маршала Нея, и по улицам победившие роялисты распевали свою песенку про Генриха Четвертого. Я тогда был в Париже...

Рылеев поглядел на Пестеля, будто только сейчас наконец сообразил, кто перед ним, и доверчиво улыбнулся.

Оболенский только и дожидался этой улыбки Рылеева, которой он умел лучше слов вдруг обнаружить глубокие свойства своей души. Уверенный, что теперь Рылеев не может не понравиться Пестелю, чье мнение Оболенский высоко ценил, он встал с дивана и, прощаясь с обоими, сказал с обычной мягкостью:

— Ну, договаривайтесь сами до желанного конца, а меня ждут дела!

Пестель и Рылеев остались одни.

Пестель заговорил о государственном строе России и о предполагаемом его преобразовании, привычным глазом наблюдая мысли и чувства на лице собеседника. В сердечных качествах Рылеева он не сомневался. Самому Пестелю при большой внутренней силе не хватало в общении с людьми обаяния непосредственного чувства, которым так богат был Рылеев.

Разговор как-то скоро свелся к вопросам и ответам. Тон Пестеля принял тот неприятный оттенок, на который жаловались, говоря, что Пестель ведет себя как диктатор, свысока и надменно.

Пестель тонко допрашивал Рылеева, какой образ правления ему кажется наиболее подходящим для России. Заставил его согласиться, что английская конституция устарела и может удовлетворить только светскую чернь, лордов и купцов. Народ далеко шагнул вперед.

Потом заговорил о конституции испанской. О ней выспросил мнение Рылеева, как опытный экзаминатор. Словно машинально взял со стола обломок с вензелем Наполеона, поднял его и внезапно сказал:

— Уж если иметь над собой деспота, то, конечно, Наполеона. Как он возвысил Францию! Уважая исключительно дарование, а не знатность, он положил основу возвышению людей более справедливую, наметил новый, доселе закрытый предрассудками, путь...

— Сохрани нас бог от Наполеона! — воскликнул Рылеев. — Впрочем, сейчас он решительно невозможен, — почти с гневом добавил он. — Еще откроюсь вам,

Павел Иванович, — прямо в упор сказал Рылеев, встав перед сидящим в кресле Пестелем, — я решительно возражаю против насильственного введения нового государственного устава, каков бы он ни был! Самое большое, что в наших силах, — это подготовить только проект будущего правления. Но будет ли он принят или нет — зависит исключительно от Народного собора.

Рылеев видел Пестеля в первый раз. Он был предупрежден товарищами, что встретит опаснейшего честолюбца, и Пестеля он не сразу понял. До него поначалу доходили не мысли Пестеля, а один его властный тон, его сверлящий взгляд, привыкший вызывать повиновение. Мелькнула даже мысль, уж не метит ли сам Пестель в Наполеоны?

Однако, несмотря на невольное раздражение, вызванное произведенным ему экзаменом, впечатление все-таки осталось глубокое, не совсем ясное и окончательное, но внушавшее большое уважение к собранной силе и могучей воле посетившего его необыкновенного человека. После ухода Пестеля он долго сидел задумавшись.

«Революционный ум, говорит о нем Пушкин, — вспомнил Рылеев, — один из самых оригинальных умов в России». Да, да, он именно революционер ума, — прошептал Рылеев и с грустью добавил: — А многие из нас всего только революционеры по чувству и чего хотим, еще не точно знаем! А надо знать и хотеть, да так, чтобы ни перед чем не отступить!

Пестель же уходил от Рылеева с каким-то особо нежным к нему чувством. Ему казалось, он встретил не товарища, а дорогого любимого сына, хотя по возрасту

они были недалеки друг от друга. Он почувствовал готовность Рылеева на большое самоотвержение, он угадывал, что пламенным словом Рылеев сможет привлечь немало таких же свободолюбцев, как он сам.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Дом, в котором у Никиты Муравьева собирались члены тайного общества, был выстроен в последние годы восемнадцатого века. Мать Муравьевых, Екатерина Федоровна, приобрела этот дом вскоре после своего переезда из Москвы и сделала его центром объединения всей многочисленной муравьевской родни. По воскресеньям бывали семейные обеды, и, случалось, за стол садилось близко к сотне человек.

Тут встречались государственные люди крупного чина, и юнцы, входящие в жизнь, и блестящие гвардейцы, и приехавшие из деревенского захолустья дальние родственники. Всем полагался одинаково радушный прием.

Частым гостем был поэт Батюшков, родственник Муравьевых. Он восторженно отметил в своих стихах: «Увидел наконец адмиралтейский шпиц, Фонтанку, этот дом... и столько милых лиц, для сердца моего единственных на свете!» И вот сюда же, в этот дом, недавно привезен был бедный Батюшков, уже безнадежно потерявший разум, что было наследственной болезнью в его семье...

В верхнем этаже муравьевского дома лет пять прожил со своей семьей Карамзин, и когда он выехал, то квартиру его занял Никита Михайлович Муравьев

со своей молодой женой, Александрой Григорьевной Чернышевой.

Здесь, бывало, Никита Муравьев горячо спорил с Карамзиным, выступая против его благодушного «принятия мира», столь определенно выраженного в знаменитом изречении: «История мирит с несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках; утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали еще ужаснейшие — и государство не разрушалось».

В те дни «беспокойный» Никита резко утверждал мнение противоположное: «не мир, но брань *вечная* должна существовать между злом и благом! Добродетельные граждане должны быть в вечном союзе против заблуждений и пороков».

Высокий, стройный, с мягким взглядом мечтателя и волнистыми волосами, Никита Муравьев только на два года был моложе Пестеля, а казалось, как и Рылеев, что на много лет. Адельстан, Статный лебедь — были его арзамасские прозвища, и они выражали его какую-то особенную, благородную стать.

Никита Муравьев был создан для кабинетной учености, и только в нескольких случаях жизни проявилась его внезапная способность к безоглядным увлечениям. Так, в год Отечественной войны, когда ему было всего семнадцать лет, он против желания матери убежал из дому в действующую армию.

По дороге его сочли за шпиона, посадили в тюрьму, и только личный допрос графа Растопчина разрешил недоумение.

И еще были у Никиты другие незаурядные поступки, угрожавшие не только свободе — самой его жизни. Они

его связывали с Пестелем. Об этом сейчас думал Павел Иванович, подходя к дому Муравьевых с большим волнением за предстоящий важнейший разговор.

Кабинет Никиты Муравьева был великолепной многооконной комнатой с видом на Фонтанку и Михайловский замок на противоположном берегу. При взгляде на эту каменную громаду, вместе с неизбежными представлениями о гибели императора Павла, встали в памяти Пестеля и вдохновенные строки оды «Вольность», которую, по рассказам друзей, Пушкин написал, глядя на мрачный замок из окна дома Тургеневых, почти соседнего с домом Муравьевых.

Встретились Пестель и Никита Муравьев очень дружественно. В глубине их все еще связывали узы былой дружбы, которая сильней, чем узы крови.

— Настолько важно сейчас столковаться, для чего я сюда и приехал, — сказал Пестель, располагаясь в глубоком кресле, — что, по-моему, нам ни минуты времени попусту терять нельзя.

— Ваше мнение разделяю, — весело ответил Никита, — но вам надлежит первому поднять оружие. Ведь вы уже разнесли заочно в пух и прах мою «Конституцию».

Закурили, помолчали.

— Что же, собственно, вы находите в вашей «Конституции» самого ценного? — спросил Пестель.

— Да мне сдается, хотя бы одно то, что там весьма последовательно проведен принцип юридического равенства всех перед законом.

— А что стоит рядом с этим равенством? — стараясь говорить мягко, подхватил Пестель. — У вас рядом принцип социально-политического *неравенства.* Разве

вы не устанавливаете имущественный ценз для занятия должности в представительных учреждениях? По вашему проекту, не правда ли, все граждане делятся на четыре категории?

— Да, конечно, — преувеличенно спокойно ответил Никита. — Первую категорию я полагаю обладающей капиталом в тридцать тысяч, вторую — вдвое меньше, третью — в две и последнюю всего в пятьсот рублей. Права — соответствуют капиталу.

— Та-ак, — протянул Пестель, — и благодаря вашему цензу все крестьяне лишаются прав. Все как есть крестьяне и низшие слои городского населения?

Пестель прошелся по кабинету, остановился и с нескрываемым укором спросил:

— Да вы отдаете ли себе отчет, что доступ к власти предоставляете одним лишь *богатым,* если условием всех прав делаете богатство?

Он шагнул к Никите Муравьеву и, гневно глядя ему в глаза, вымолвил как приговор:

— Вы создаете подобной конституцией страшную аристократию богатств!

Никита Муравьев несколько высокомерно сказал:

— Прошу вас высказаться до конца.

— Государство существует для благоденствия *всех* и *каждого,* а не для блага немногих, — горячо начал Пестель, — и устранение большинства людей от этих благ есть несправедливость и зловластие... Я настойчиво протестую против каких-либо преимуществ старой феодальной аристократии, равно как и новой, вашей, денежной. Еще раз повторяю, ради немногих у вас допущена возмутительная несправедливость к большинству.

— А ваш план государственного устройства не отличается разве возмутительным насилием? — вспыхнул было Муравьев, но Пестель с гордым достоинством прервал:

— Мой план, изложенный в «Русской правде», отличается прежде всего равенством. В нем полное равенство граждан. Мною преследуется цель возможно большего благоденствия всех и каждого.

— Но я повторяю: путем ужасного насилия! — упрямо вставил Муравьев.

— Идея насильственного переворота уже не произвол, а всего лишь *необходимость,* — подчеркнул Пестель. — Еще так недавно и вы сами это признавали вместе со мной. Это была та вершина вашей революционной мысли, которую вы почему-то до сегодняшнего дня не донесли. Но разрешите мне перечислить вам хотя бы главные моменты, которые необходимо вызвать в вашей памяти раньше, чем вы их окончательно отвергнете.

Никита Муравьев молча кивнул головой.

— Вы были одним из участников совещания у Фонвизина, когда Якушкин вызвался на цареубийство. Больше того, когда его предложение было товарищами отклонено, вы заявили с кузеном вашим Артамоном Муравьевым о готовности на свой риск и страх убить царя публично, на предполагаемом балу в Грановитой палате. Уж на что была у вас боевая позиция!.. А раньше, когда Лунин излагал свой проект цареубийства на Царскосельской дороге, в масках, разве не вы были в числе одобрявших его? Тогда вы отлично понимали, что если надо, чтобы теория перешла в жизнь, то революционная партия должна действовать на началах строжайшей

внутренней диктатуры. А не будет так действовать, что выйдет? Да то, что сейчас и произошло в вашем Северном обществе, извините меня, — одна болтовня! И когда члены Коренной думы завопили: «Пестель проповедует террор», кто единодушно остался со мной? Вы, Никита Михайлович!

Муравьев встал, готовый возразить, но сел обратно в кресло, понимая, что Пестеля сейчас останавливать не надо.

— А заседание у Глинки? — возвысил голос Пестель. — Я предварительно зашел за вами, припоминаете? У нас было решено выступить заодно во имя республиканских преимуществ перед монархией. Отклонились вы? Нет. Больше того, через некоторое время произошло еще более важное собрание у Ивана Шипова, где председателем был Илья Долгорукий. Вы поставили вопрос на почву практическую и логически пришли в вашей речи к выводу, единственно возможному, — к цареубийству. Да, к этому неотвратимому условию государственного переворота! Этим вы не ограничились! Все мы тогда были восхищены победами восставших и еще не разбитых республик, и вот вы предложили вооруженное восстание. Конечно, я вас поддержал. Я тоже логически довел нашу общую мысль до конца. — Пестель остановился, потом повторил, безжалостно подчеркивая: — Да, *нашу общую* революционную мысль о необходимости *диктатуры.* Необходимости того, Никита Михайлович, что сейчас вас так сильно возмущает, того, что является главным тормозом слияния обоих наших обществ. В те дни вы сами верили в необходимость диктатуры, а сейчас?..

Пестель резко оборвал свою речь и умолк. Он не хотел досказать, что именно Никита Муравьев сейчас утверждает перед членами Общества, будто он, Пестель, добивается диктатуры из личного честолюбия.

Павел Иванович подошел близко к Муравьеву и спросил в упор:

— Ошибаюсь я или нет, говоря, что весь мой план был полностью подтвержден и вами?

— Вы не ошибаетесь, — сказал, не глядя на него, но твердым голосом, Муравьев. — В те дни я именно так и думал.

— Пойдемте тогда до конца в наших необходимых, хотя и печальных для сегодняшнего дня, воспоминаниях, — сказал Пестель. — Во время вашей поездки в Крым вы нарочно свернули ко мне в Тульчин, вы участвовали во всех наших совещаниях, вы были включены в состав членов директории Южного общества. Вы не сомневались, что только отчетливая, ясная, твердая программа нового республиканского строя может предупредить все смуты и неустройства, которые обычно сопутствуют революциям. Вы не сомневались, что моя «Русская правда» служит ручательством тому, что Временное правление будет действовать единственно ко благу граждан. Отсутствие такого руководства может ввергнуть отечество, на другой же день нашего завоевания революционной власти, в беды неисчислимые: неминуемые распри, каждый примется действовать по своему произволу. Кроме диктатуры, ничто не сможет удержать завоеванную власть от распада!

Пестель замолчал, подумал и добавил уже тихим, словно утомленным голосом:

— Меня обвиняют в том, что я заставляю людей принимать решения, несвойственные их мирной природе. По меньшей мере наивно! — усмехнулся он иронически и, чтобы скрыть нараставшее волнение, стал раскуривать короткую трубку. Опустившись на диван, медленно сказал:

— Сейчас у вашего Северного общества нашлась наконец и своя определенная программа. Она не совпадает с моей «Русской правдой». И программа эта *ваша.* Теперь я слушаю вас, Никита Михайлович.

— Я вам буду отвечать со всей искренностью, — сказал Никита Муравьев и перешел на кресло поближе к Пестелю. — Да, вы правы, те окончательные выводы для предстоящих нам революционных действий, к которым я пришел сейчас, противоречат выводам, сделанным вами. Я много думал, глубоко исследуя и читая все, что возможно, по этому вопросу, и вот я пришел к заключению, что монархическое представительное правление для нашего отечества имеет преимущества перед всеми прочими. Я удостоверился, что только введение подобного правления даст надежду на хорошее устроение жизни народа российского, — несколько торжественно говорил Муравьев. — Я не отрицаю, что еще недавно мне, как и вам, представлялись единственно спасительным выходом и цареубийство и революционная диктатура. Сейчас, мне кажется, начать надо все же с попытки добыть от царя конституцию...

— Мало было их подписано на нашем веку! — прервал горячо Пестель. — И не все ли короли тут же изменили своим конституциям, ввергли народы в еще худшее рабство? Полумеры в деле восстания — это тот же плохой хирург, который якобы из сострадания укло-

няется от необходимой операции и окончательно губит больного. Да поймите же, что наша нерешительность на руку самодержавию! Ваше «медленное действие», в конце концов, только поможет всяким Аракчеевым потуже затянуть петлю на шее народа.

Помолчали. Оба были взволнованы.

— Мне известно, — сказал не без скрытой боли Пестель, — что к вашим громадным поместьям прибавилось еще пятьдесят семь тысяч десятин земли — наследство от вашего деда по матери. Зная вас, уверен, что это не может на вас повлиять, тем более — сроднить вас с интересами высшего дворянства. Конечно, не может!

— Спасибо хоть за такое доверие, — усмехнулся Никита Муравьев. — Надеюсь, не обману.

Он взял Пестеля за локоть и сказал с большой теплотой:

— Если б для дела тайного общества все мое состояние пришлось отдать, прошу верить, сделал бы это не моргнув. Одно знаю я крепко: и вы и я до последней капли крови готовы служить освобождению народа.

— И в этом служении, — подхватил Пестель, — наши силы необходимо соединить!

Он протянул руку. Никита Муравьев крепко ее пожал и неожиданно для Пестеля добавил:

— А позднее, когда наступит пора действовать, окончательно договоримся о соединении наших обществ...

* * *

Дальнейшие дни пребывания Павла Ивановича в Петербурге проходили в заседаниях членов Северного и Южного обществ, в спорах о принятии общей про-

граммы. Больше всех склонялся к слиянию Оболенский, но Трубецкой снова настаивал на недоверии к Пестелю, утверждая, что он человек опасный и себялюбивый, который ничего не примет из «Конституции» Никиты Муравьева, уже всеми северянами одобренной. Пестель будет утверждать только свое...

Таково было настроение в Петербурге, куда Павел Иванович приехал с открытой душой и великими планами. Его настойчивость вызывала только новые подозрения Трубецкого, который, как мальчишка, гордился, что дал глубоко почувствовать Пестелю свое недоверие. Пестель с укоризной сказал однажды:

— Стыдно будет тому, кто не доверяет другому и подозревает в нем личные какие виды, а время докажет, что видов таких нет и не было!

Случилось и такое бурное заседание, на котором обычно не терявший хладнокровия Пестель наконец вышел из себя, ударил по столу кулаком, воскликнув:

— А все-таки будет республика!

В конце концов выяснили твердо одно: необходим договор об единодушном действии. И он был записан в таких выражениях:

«Ежели одни найдутся в необходимости действие начинать, то все другие обязаны их тотчас поддерживать».

Пестель перед возвращением в Тульчин на некоторое время поехал в Краснинский уезд Смоленской губернии, в имение матери — Васильево. Здесь он наслаждался давно забытой свободой, проводил целый день по собственной прихоти. Отец углублен был в свои записки о многолетней службе и в описание многообразных каверз сибирских казнокрадов, из-за которых так постра-

дала его карьера. Мать хлопотала по хозяйству или возилась в оранжерейке.

Случалось, она приглашала Павла Ивановича посидеть с нею в беседке, и оба вспоминали, как много замечательных книг мать в детстве прочла ему вслух, когда они вместе переживали благородные мечты героев о свободе и вместе плакали над их трагической гибелью. Мать первая пробудила в любимом сыне высокие запросы духа, честолюбивое желание отметить свой жизненный след особым подвигом.

«Если бы матушка знала, к чему в конце концов эти герои Плутарха, эти мечты о подвиге привели ее сына!» — горестно думал Пестель, однако ни разу не обмолвился ей о своей революционной деятельности, зная: как ни талантлива и умна мать, этого она не поймет, только устрашится и потеряет покой. Успеет еще настрадаться! Невольное предчувствие сжимало его сердце.

С самого раннего утра Павел Иванович скитался по берегу быстрой реки, по веселым березовым рощам и холмам, уже белевшим зацветавшей земляникой.

Ему надо было о многом заново передумать. Недавние бурные заседания тайного общества, особенно окончательное, всеми принятое решение назначить на двадцать шестой год вооруженное восстание, с новой остротой вызвали некоторые смущавшие его мысли.

Опять, как личное горе, переживал Пестель недавнее крушение испанской революции и казнь доблестного Риэго.

По приказу короля Фердинанда этот друг народа, как преступник провезенный через весь Мадрид на позорной колеснице, был повешен 26 октября 1823 года,

и при всеобщем безмолвии крепче прежнего воцарился тот же Фердинанд. Казнь Риэго подсекла упования тайного общества на прочность военного переворота, и Пестель это разочарование переживал тяжелей всех.

Известия о гибели одной революции за другой повергли было его в уныние. Перед близким другом Барятинским у него даже вырвались такие слова:

— Обстоятельства с достаточной ясностью сейчас показали, что мы затеяли дело, которое зря, без ожидаемой отечеству пользы, нас погубит!

Молодой Крюков как-то привез Пестелю, еще до отъезда его в Петербург, стихотворение, посланное Пушкиным в письме к Тургеневу. Как все, чего касался его гений, и это стихотворение отразило, как в фокусе, мысли людей, которые чаяли великих побед освободительного движения. Но революции подавлены, надежды разбиты...

Как итог своих мыслей, как музыку, говорящую порой тоньше и выразительней слов, повторял Пестель пушкинские стихи:

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

С восторгом думал о Пушкине: «Вот кто верный наш спутник! Он идет неразлучно с нами. Пламенной мыслью и чувством в своих превосходных стихах то горит нашей надеждой, то болеет нашим сомненьем, то вливает новые силы в нашу борьбу!»

И он вспоминал еще одни, совсем иные, стихи Пушкина, ходившие тайно по рукам:

Взыграйте, ветры, взройте воды,
Разрушьте гибельный оплот, —
Где ты, гроза — симво́л свободы?
Промчись поверх невольных вод.

С глубоким чувством, оживлявшим его строгое лицо, Павел Иванович в этом безлюдье, в этой простой природе, нежданно для себя вслух повторял:

Где ты, гроза — симво́л свободы?
Промчись поверх невольных вод...

И стыдился своего минутного малодушия, стыдился слов безнадежности, сказанных Барятинскому.

В этом имении матери в комнате Павла Ивановича стояла старинная конторка, где хранилось одно время его заветное детище, которое собирался он наименовать «Русская правда». Еще хранилась в конторке другая драгоценность — редкий список с первого екатерининского издания «Путешествия» Радищева.

Александр Первый в начале царствования, когда он еще тешился игрой в либерализм, вовсе не хотел воскрешать память о человеке, столь опасном самодержавию. Когда сыновья Радищева обратились к царю за разрешением переиздать «Путешествие из Петербурга в Москву», — царь отказал. И в 1806 году вышло собрание сочинений Радищева без самого из них главного — «Путешествия».

Положив в карман листки «Путешествия», Пестель ушел однажды далеко в лес, где бы никто не мог ему помешать.

«Где ты, гроза — симвóл свободы? Промчись поверх невольных вод...» — снова возникли в памяти пушкинские стихи. И он ответил на них вслух, сжимая в руке листки. — Вот она — гроза! Невелика книжка, а до чего жива. Из рук в руки переходят списки и, несмотря на запреты, воспламеняют сердца.

Пестелю дорого было сознавать, что прямое или косвенное влияние книги Радищева со временем только усиливается, что и у тайного общества и у него самого есть преемственность мыслей, чувств, революционной воли Радищева.

Само название первого тайного общества — «Истинные и верные сыны отечества» — не из его ли речи взятые слова? Прокламации, подкинутые после семеновской истории преображенцам, не истинно ли радищевского духа? А главная мысль Радищева, горячая, как пламень, — рабов сделать свободными — не перекликается разве с выводами из его собственной «Русской правды»?

С глубоким чувством читал Пестель замечательную книгу и не уставал восхищаться тем, как это удалось автору с такой силой ударить по дремлющей совести людей. С такой силой сказать, что человек в своем же собственном отечестве лишен всяких прав, тех первейших, без которых человеку ни жить, ни дышать. Какая мысль!

«Не таковы ли условия жизни в наших военных поселениях? А мы все еще только разговариваем, вместо того чтобы немедленно опрокинуть самодержавие, их создавшее», — с болью думал Пестель.

Да, поистине эта книга написана для всех людей, на все времена: «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвленна стала...»

И все дальше читал Пестель, заново поражаясь, как сумел Радищев в немногих простых словах так убежденно показать основную причину зла и неравенства, терзающих человечество: «Бедствия человека происходят от человека же».

— Следовательно, все условия жизни подлежат изменению? Какое утешение, какой революционный вывод!..

Особое уважение вызывала смелость Радищева, с какой он, не страшась жестокой кары, до конца высказал свои мысли, — как раз то, чего не хватает членам Северного общества!

Охваченный до глубины души гневом за народ, возмущением на произвол самодержавной власти, Радищев не мирился с каким бы то ни было ограничением этой власти. Не дрогнув, он отсекает самый ее корень. Потому что, как пишет он другу, жительствующему в Тобольске, — «до скончания мира примера не будет, чтобы царь упустил добровольно что-либо из своей власти»...

И вот вопрос: почему полвека назад Радищев понимал то, чего сейчас не могут понять многие члены тайного общества, в чем заново убеждать приходится даже Никиту Муравьева?

Но самому себе Пестель должен был признаться, что в «Путешествии» были и такие мысли, которых и он принять не мог, или, верней, не хотел. Его смущали страницы, где говорилось о том, что народ завоюет себе свободу сам, когда уже не в силах будет терпеть порабощение. Ибо «из мучительства рождается вольность».

Еще больше — не только смущали, просто пугали вдохновенные строки могучего призыва к восстанию: «О, если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся

в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ и кровью нашей обагрили нивы свои, что бы тем потеряло государство?

Скоро бы из среды их исторгнулися великие мужи для заступления избитого племени, но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишенны.

Не мечта сие, но взор пронзает густую завесу времени, от очей наших будущее скрывающую».

Так вот что давало Радищеву опору в его великой и неравной борьбе! Глубокая вера в русский народ, в его могучие силы, творческие и созидательные.

* * *

Павел Иванович уезжал из деревни, от родителей, весной двадцать четвертого года, в состоянии духа особенно ясном, окрепшем. То, что Пестель перечитал в Васильеве с особым, пристальным вниманием «Путешествие» Радищева, оказалось для него большим событием внутреннего порядка, которое внесло что-то новое в его сознание.

У него была словно живая встреча с самим Радищевым, которая освежила и необычайно умножила силы...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Пестель вернулся к своему полку в местечко Линцы полный бодрости и счастливый, что необходимость восстания в 1826 году была уже признана Северным обществом. Пестелю хотелось скорей повидать Муравьева и Бестужева-Рюмина. Он уже знал, что этих, по виду столь различных, людей крепкая дружба соединила как бы в одно целое. Бестужев стал не только пылким единомышленником Муравьева, но своей талантливой и горячей речью умел, как никто, воспламенять молодых.

«Они оба — одна душа», — говорили товарищи.

Михаил Павлович Бестужев-Рюмин был самым младшим членом тайного общества, но с его мнением считались все, ибо скоро обнаружилось, что он очень одаренный организатор, обладающий тем убедительным красноречием, искренним и ярким, которое способно захватывать массы.

Пока Бестужев не находил достойного приложения своим силам, его огромная энергия, ни на что не направленная, только вызывала у многих раздражение. Но как беспорядочный поток, едва человек введет его

в глубокое русло, начинает свой плодотворный путь, так и Бестужев, сделавшись членом Южного общества, поразил всех своей неутомимой деятельностью.

Отношение членов Общества к этому недавно еще только беспокойному юнцу резко переменилось.

О нем генерал Орлов, бывало, отзывался — «голосистый петушок», а благонравный Матвей Муравьев убеждал всех прекратить насмешки над неистовым подпоручиком. Сейчас Матвей, ворча, кивал на своего любимого брата и Бестужева, ставших неразлучными друзьями: «Да их водой не разлить!» Пылкость Бестужева, опасался он, может вовлечь в беду Сергея.

Вскоре обнаружено было «Польское патриотическое общество», и Бестужев по поручению Думы вступил с ним в переговоры. В последние же месяцы Бестужев искал случая завести знакомство и с Соединенными славянами, о существовании которых давно ходили слухи.

Несмотря на большие достоинства Бестужева, близость его с Муравьевым пугала и Пестеля: этот темперамент, ломающий всякие преграды разумности, не только не охлаждался зрелым умом Муравьева, а угрожал увлечь его за собой на преждевременные решения. Так, Пестель подозревал, что у обоих вождей Васильковской управы крепко держится в уме так называемый «белоцерковский план», несмотря на то, что в последнем заседании он был решительно опровергнут.

План этот состоял в следующем: когда царь на предстоящих маневрах Третьего корпуса у Белой Церкви поселится, как было намечено, во дворце Браницкой, члены Общества заменят солдат караула, проникнут ночью в спальню Александра и там его убьют.

Затем Третий корпус, под предводительством Бестужева-Рюмина, двинется на Москву, обрастая на своем пути восставшими войсками. Муравьев-Апостол направится в Петербург. Самого же Пестеля предполагалось оставить в Киеве, чтобы отсюда он мог поднять южные военные поселения.

Лично Пестель не был уязвлен этим самостоятельным планом Васильковской управы, но считал, что военные действия лучше начать не сейчас, а в первые месяцы 26-го года, с того момента, когда его Вятский полк вступит в караул. Это облегчит захват командующего армией с канцелярией и прочими начальниками.

На днях ему было передано: когда приехавший из Петербурга видный член Общества Поджио рассказал Бестужеву-Рюмину о вялых настроениях некоторых северян, он воскликнул: «Если северяне все еще хотят бездействовать, а Пестель откладывать — мы двинемся и одни! Для начала сил довольно, а там не только полки — дивизии к нам примкнут».

Пестеля беспокоило столь боевое умонастроение Бестужева-Рюмина, а еще больше — письмо его, самовольно адресованное полякам и очень опасное для всего дела восстания. Письмо, к счастью, удалось задержать Волконскому, и по прочтении его сожгли в Тульчинской управе, но Пестель все-таки решил, не откладывая, съездить в Белую Церковь, где Бестужев почти неотлучно пребывал у своего друга Муравьева.

Сергей Иванович Муравьев-Апостол необыкновенно располагал к себе Пестеля. Сергей, похожий на своего брата общей семейной, какой-то древнеславянской внешностью, унаследованной от матери сербского происхождения, в отличие от всегда чопорного Матвея был

человеком открытым, полным особого внутреннего обаяния и готовности к самопожертвованию.

Без усилий, не угнетаясь сомнением, а просто как необходимость, как дыхание и биение сердца, жила в нем решимость отдать все силы и самую жизнь за освобождение родины и народа. Солдаты, благодарные ему за искреннее к ним сочувствие, за внимание к их нуждам, по первому его зову готовы были идти, куда он поведет.

Получив письмо Пестеля о желании его приехать в Белую Церковь, Муравьев предложил всем встретиться в пустой квартире полковника Саратовского полка, тоже члена Общества, Повало-Швейковского.

По аллее темнолиственных густых тополей, благоухавших после проливного летнего дождя, Пестель шел под вечер к дому, где его ждали вожди Васильковской управы. Офицеры отобедали и, в ожидании гостя, пили в кабинете ликеры, дымя длинными чубуками.

Пестель вошел своим твердым шагом, как добрый товарищ крепко пожал руку Сергею Ивановичу и Бестужеву. Лицо его было особенно гладко выбрито, румяно, виски начесаны волосок к волоску, но вся его подтянутая внешность говорила о том, что, придав себе любезный вид, он все-таки пришел сюда на решительный разговор.

Беседа сразу началась с того, что всех интересовало.

Павел Иванович с невольным восхищением вспомнил всегда живого, вдохновенного Рылеева и благородную готовность Оболенского принять и защищать новую мысль, какой бы смелости она ни была. Эти двое — истинная опора и душа всему делу на Севере... Не скрыл Пестель и больших несогласий некоторых членов Се-

верного общества с его «Русской правдой», однако желание договориться у каждого есть, почему и необходимо устроить съезд представителей всех управ.

Бестужев спросил тоном, несколько вызывающим от волнения, которое он хотел подавить:

— А сейчас, Павел Иванович, после всего вами рассказанного, что можете вы противопоставить нашему «белоцерковскому плану»? Ведь единственное, чем вы нас с Сергеем Ивановичем до сих пор удерживали, было ваше утверждение, что Северное общество должно идти авангардом. Но после Петербурга, когда вы убедились, что в Северном обществе все еще нет полного единодушия, неужто останетесь при прежнем мнении? Я уверен, что и предполагаемый вами съезд для окончательных решений о выступлении в двадцать шестом году — тоже вилами по воде писан.

— Напрасно так думаете. Дольше нам ждать нет возможности. Двадцать шестой год — это предел, — хмуро начал Пестель, но Сергей Иванович горячо его прервал:

— Не дотянуть нам, Павел Иванович! Нас перехватают много раньше. Один наш высокопоставленный родственник намедни прислал отцу моему, через руки, известие, что царь превосходно осведомлен о существовании тайного заговора и поименно знает главных его участников. Вот-вот предаст дело в руки Аракчеева... Откладывать без конца выступление — просто нелепо. И, в свою очередь, заявляю я вам, Павел Иванович, — продолжал Муравьев, прямо глядя в непроницаемые черные глаза Пестеля, — открыто вам заявляю: если только я удостоверюсь, что в моих руках несколько полков, пока мне не успеют зажать рот, я, подняв восстание,

докажу, какая в русских сердцах таится карающая сила!

Пестель нервно повел плечом, у него чуть было не сорвалось возражение, что, кроме даром пролитой крови, ничего не получится от таких необдуманных доказательств, но он промолчал.

Бестужев, по своей юной пылкости, решил, что Павел Иванович колеблется, и, взглянув на часы, вкрадчиво сказал:

— Сейчас прийти сюда должен полковник Тизенгаузен. Он хотел повидать вас, и по этому поводу у меня с Муравьевым к вам заготовлена некая просьба...

Он быстро повернулся к Сергею Ивановичу, словно ища поддержки. Это вышло непроизвольно, как-то по-детски, и сразу обнаружилось, что он, в сущности, очень молод, несмотря на свои могучие плечи и крупные, уже тяжелые, черты лица.

— Тизенгаузен нам необходим, — сказал Муравьев. — Весь полк в его руках, он сам — ревностный член нашего Общества. Кроме всего, благодаря ему Бестужев как офицер его полка может свободно пребывать у меня и держать связь между членами всех трех управ нашего Общества — Васильковской, Каменской и Тульчинской.

— Что же я должен сделать с Тизенгаузеном? — спросил Пестель.

— Если будет еще промедление, Тизенгаузен хочет вовсе отступиться, — вырвалось у Бестужева. Сергей Иванович подхватил:

— Короче сказать, «поддайте жару», как говорят в кадетском корпусе, — улыбнулся он. — Этот Тизенгаузен стоящий человек, хотя и чудно́й... Подумайте только, он сейчас, не моргнув, соглашается на лишение царя

жизни, а при одном предположении, что могут случиться беспорядки и грабежи при восстании, так содрогнулся, что предложил отдать, в случае заминки с продовольствием в войсках, все свое имущество, вплоть до гардероба собственной супруги. Подтвердите ему, Павел Иванович, наши уверенья, что с выступлением мы не замедлим.

Пестель не успел ответить: денщик доложил о приходе командира Полтавского полка. Бестужев кинулся встретить его в прихожей и сразу начал что-то с горячностью рассказывать ему по-французски. Они вошли, разговаривая на ходу.

Полковник Василий Карлович Тизенгаузен, обрусевший немец, был много ниже Бестужева ростом и, как ни старался казаться важным, помня, что он командир, невольно смущался перед юношеским наскоком.

Пестель почтительно поклонился полковнику, которого мало знал.

Тизенгаузен с неловкостью застенчивого человека взял поднесенную Муравьевым трубку, стал молча попыхивать ею. Бестужев, продолжая начатую в прихожей речь, указал на Пестеля:

— Вот сам Павел Иванович подтвердит вам, полковник, что все наши силы объединятся уже в двадцать шестом году. Объединятся и двинутся...

Тизенгаузен вынул изо рта трубку и тихим голосом произнес:

— Правительству наши виды известны. Медлить уже нельзя.

— Будьте без сомнения, Василий Карлович, — успокоил Пестель, — мы свои действия откроем раньше всех мер пресечения.

Пестель был истинно убежден, что восстание может свершиться успешно только в том случае, если все тайные общества договорятся между собой и сольются в *единое,* — а это достижимо, по расчетам Пестеля, никак не раньше 26-го года. Он считал противным здравому смыслу утверждение вождей Васильковской управы о необходимости еще в 25-м году казнить царя в лагерях под Белой Церковью, чтобы начать восстание одними силами Юга, — словом, одобрить их «белоцерковский план». Поэтому Пестель, боясь спугнуть Тизенгаузена, отвечал уклончиво, перевел речь на подготовку не только людей, но и вооружения, для чего особенное внимание советовал обратить на Киевский арсенал. С легкой иронией Пестель заключил:

— Торопливость в нашем деле столь же опасна, как и медлительность. Ведь вот сейчас можно трезво судить, какой ошибкой был бы ваш, к счастью сорвавшийся, «бобруйский план», когда вы наивно считали достаточным для победы только одно: захватив царя, держать его под арестом! Во всяком случае, не сидели бы мы, как сейчас, в дружеской беседе. — Пестель объединил жестом всех троих офицеров. — А беседа наша по существу своему клонится к тому, что Пушкину удалось так чудесно выразить всего в четырех строках «Вольности»:

> Питомцы ветреной Судьбы,
> Тираны мира, трепещите!
> А вы мужайтесь и внемлите,
> Восстаньте, падшие рабы!

— Прекрасно сказано! — восторженно воскликнул Бестужев и с жадностью спросил Пестеля: — Нового чего не привезли из Петербурга, Павел Иванович? В Ка-

менке я давеча слыхал, что Пушкин много работает в своем михайловском изгнании.

Пестель на мгновение задумался.

— Вот строчки из «Кавказского пленника», в печать не попавшие, которые я узнал от Рылеева, — и он прочел на память:

Свобода! Он одной тебя
Еще искал в пустынном мире...

— Каков? Совсем как мы! — воскликнул Бестужев и с пафосом, ему свойственным, повторил эти сразу запомнившиеся строки:

— Свобода! Он одной тебя еще искал в пустынном мире...

Тизенгаузен, любовно глядя на Бестужева, сказал Пестелю:

— Молодец наш юноша, ведь поляков-то он открыл... А мне, к сожалению, пора уходить. — Он поднялся и, прощаясь с Пестелем, сказал с застенчивостью, так не шедшей к его полковничьему мундиру:

— Павел Иванович, разрешите обратиться к вам... Мне известно лишь краткое изложение основных положений вашей «Русской правды». Не сделаете ли одолжение — дать возможность прочесть эту вашу замечательную работу. Сколь я поражен широтой и глубиной ваших мыслей...

— Ничего сейчас не могу, к сожалению, — сказал Пестель. — Я продолжаю начатую в Петербурге переработку важнейших отделов «Русской правды». В этом втором варианте надо мне про многое сказать гораздо смелей.

Муравьев улыбнулся:

— И первый-то ваш вариант, Павел Иванович, испугал наших северян. Пока не вычеркнете рассуждений о земле, каши вместе с ними не сварите! Трубецкой прямо говорит: «Этот Пестелев земельный параграф — замаскированный призыв к восстанию против дворян...»

— А дворян и вовсе быть не должно, — твердо отрезал Пестель, — я полагаю, само звание дворянское должно быть уничтожено. И тот, кто звался дворянином, вступая в общий состав русского народа, будет запросто, как всякий иной, приписан к своей волости. Взялись уничтожать самодержавие, так уж надо уничтожать его с корнем. Уж если голову сложить, так не зря, а за настоящее дело, чтоб обидно не было.

И Пестель неожиданно улыбнулся редкой на его суровом лице молодой, озаряющей улыбкой.

— Мне надо бы с Михаилом Павловичем поговорить, — сказал он, обращаясь к Муравьеву.

— Отлично, Павел Иванович, — понимающе отозвался тот, — а я провожу полковника.

Когда остались вдвоем с Бестужевым, Пестель глянул пристально в его глаза и быстро спросил:

— Что у вас с поляками нового?

Он отлично понимал, что поведение Бестужева не соответствовало данной ему строгой инструкции: торопясь начать революцию в России, Бестужев занял в переговорах с Польшей позицию зависимую, а не главенствующую, как предписывал Пестель, что на его своеобразном языке означало утратить над поляками «поверхность».

Бестужев несколько смутился:

— Волконский взялся переговорить с Гродецким, когда попадет в Киев...

— Надо помнить одно: программа «Польского патриотического общества», с которым мы с двадцать третьего года находимся в переговорах, не может вызвать нашего полного сочувствия.

— Да разве и мы, как они, не хотим независимой Польши? — удивился Бестужев.

— Хотим. Но *какой* Польши? — резко отчеканил Пестель. — Совсем не той, какой хотят некоторые из них, хлопоча об интересах одной аристократии. Их программа: введение «Конституции Третьего мая» с сохранением привилегий шляхты. Да ведь по этой конституции они всегда могут возвести королем Константина, а главное — изменить нашей революции. К тому же князь Яблоновский сказывал, что Англия снабжает их деньгами и оружием, а посему — настойчиво рекомендую осторожность с польскими магнатами. Никаких документов против себя, ни слова писаного...

Бестужев покраснел: он только что передал Волконскому важное по содержанию письмо для Гродецкого и чувствовал себя виноватым перед членами Южного общества и перед Пестелем, которому особенно обещал держаться положений, разработанных в «Русской правде». Действительной заслугой Бестужева было то, что он первый в 23-м году утверждал необходимость связи с поляками, с чем немедленно согласились члены всех трех управ. Бестужев тут же был уполномочен вести переговоры с «Польским патриотическим обществом».

Но оказалось, как и предчувствовал Пестель, Бестужев, стремясь к выполнению своего «белоцерковского

плана», решил, что с поляками необходимо поторопиться.

Южное общество в ту пору вело с поляками еще только предварительные переговоры, которые должны были превратиться в договор лишь после их подтверждения верховным польским советом. Но нетерпеливый Бестужев не стал ждать так долго и, на основании одних этих предварительных разговоров, написал Гродецкому бестактное письмо с упреком: «Мы обещание наше выполняем, а вы бездействуете». Полякам дано было обещание в том, что всем им, приезжающим в Петербург, члены тайного общества обязуются оказывать всяческое покровительство и помощь.

Еще хуже было то, что Бестужев с чисто юношеским запалом в том же письме отдал полякам приказ: «Немедленно овладеть Константином и его истребить. Для чего — ждите наших действий...»

Пестель гневался сильно. Он почти кричал:

— По милости Васильковской управы все наше революционное движение попало бы в руки царя! Преступное ребячество, повторяю вам, призывать к убийству Константина в Варшаве, да еще письменно! Счастье ваше, что письмо это мы сожгли. Да вы понимаете ли, сколько бед могли натворить?

Бестужев протянул руку и, виновато глядя на Пестеля голубыми глазами, проговорил скороговоркой:

— Поверьте, Павел Иванович, буду вперед осмотрительней...

Пестель овладел собою, крепко пожал руку Бестужеву.

— Верю, — сказал он уже спокойно. — Сообщайте мне подробно, как далее пойдут у вас переговоры...

Вошел Муравьев. Пестель заговорил с ним о его заветной идее — создать соответственно катехизису православному, который без всякого смысла и пользы солдаты заучивали наизусть, другой, революционный катехизис.

— Усвоив его, наш солдат прозреет политически, — убежденно говорил Муравьев. — Ведь он сразу поймет, что величайший для него авторитет — слово божие — ратует за интересы его, а не царские, больше того — оно направлено против самих царей.

— Любопытно, как справитесь с знаменитым положением «несть власти аще не от бога»? — с легкой усмешкой сказал Пестель, любуясь искренностью Муравьева. Бестужев, упав в кресло, расхохотался от души.

— Разумеется, я делаю необходимый разумный отбор, — вспыхнул Муравьев. — Основанием же революционного катехизиса я взял слова апостола Павла — «не будьте рабы человекам» и доказываю просто и понятно, что царь поступает вопреки воле посланника божия Павла, а следовательно, и самого бога. Солдату тогда будет легче идти против царя...

— Ему это станет сразу легко, — прервал Пестель, — когда мы окажемся настолько уверены в себе, что объявим о сокращении срока службы ему и об отмене крепостного права его семье... А потому употребим все наши силы на ускорение победы.

Пестель вскоре попрощался и ушел своим быстрым отчетливым шагом.

— Может быть, Пестель прав и сейчас, как обычно, — сказал печально Муравьев, — но своей мысли о революционном катехизисе я все же не оставлю...

* * *

В августе 1825 года Третий пехотный корпус был собран для смотра, назначенного в пятнадцати верстах от Житомира, в местечке Лещин. Восьмая артиллерийская бригада стояла в сосновом лесу, а неподалеку от нее расположен был Черниговский полк.

В просторной палатке Муравьева, или как ее называли — в «балагане», почти непрерывно гостил Бестужев-Рюмин, для чего благовидные предлоги выдумывал сам его начальник и товарищ по тайному обществу — Тизенгаузен.

Лещинские лагери длились всего две недели, и за этот короткий срок Бестужеву предстояло добиться полного соединения недавно открытого Союза славян с Южным тайным обществом.

Через своего бывшего сослуживца, семеновского офицера Тютчева, Бестужев и Муравьев узнали, что в марте 25-го года в местечке Чернихове состоялся съезд этих славян, и они председателем своего Общества избрали подпоручика Восьмой артиллерийской бригады Петра Ивановича Борисова. Окончательная организация Общества будет производиться летом, когда сбор частей в лагери особенно облегчает условия всяких собраний. Узнав об этом, Муравьев и Бестужев решили, что никак нельзя допускать разделения сил, а необходимо добиться слияния со славянами.

— Наше Южное общество уже оформилось, — сказал Муравьев, — и если идеи славян однородны с нашими, к чему же им проделывать лишнюю работу? Пусть примыкают к нашему Обществу.

В свою очередь и славяне заинтересовались южанами, пожелали узнать их поближе. Связующим звеном

между обоими Обществами оказался капитан Тютчев. Он был членом Славянского общества и вместе с тем своим человеком среди южан, как бывший семеновец, то есть однополчанин Сергея Муравьева. Он рассказал Муравьевым о возникновении и первых шагах Славянского союза.

Основателями его были два брата Борисовы — Андрей и Петр, сыновья отставного майора, на нищенский казенный пенсион содержавшего большую семью. Несмотря на свое скромное образование, отец Борисовых, прослывший в своей среде чудаком-мечтателем, сумел внушить сыновьям восхищение древними героями-республиканцами, воспетыми Плутархом. Восторг юношей перед «вольностью народоправства», как высшей формой государственного устройства, с годами только окреп от впечатлений жестокого русского быта, создаваемого аракчеевщиной, бесправием солдат, безвыходной нуждой порабощенного крестьянства.

«Мы, преисполненные любовью к демократической свободе и чтобы добыть ее несчастной родине, поклялись положить свою жизнь», — приводил Тютчев подлинные слова Петра Борисова.

Глубокая устремленность к наукам, неустанное упражнение в самосовершенствовании почиталось братьями Борисовыми необходимой подготовкой к избранному ими служению на благо отечества.

Для подробного разговора о славянах Тютчев был приглашен как-то под вечер в большой балаган к Муравьеву.

Высокие сосны своими красноватыми стволами окружали длинную, сколоченную наспех, лагерную постройку. Денщик Муравьева, опасаясь пожара, вынес далеко

на дорогу желтый пузатый самовар, набил трубу сосновыми шишками, усердно раздувал огонь собственным сапогом. Душистые струйки дыма, как воздушные змеи, тянулись по лесу. Поодаль на густых кустах сохли полосатые половички.

Тютчев остановился, огляделся.

— Сергей Иванович ждут вас, — обратился к нему денщик, подымая от самовара вспотевшее лицо, — а входить к нам в балаган пожалуйте напрямки, туда, за старую сосну...

Тютчеву, едва он переступил порог, сразу понравилось это лагерное жилье Муравьева, все украшенное мохнатыми сосновыми лапами.

— Кругом Федор мой расстарался, — улыбнулся Муравьев, приветливо усаживая гостя на пустой ящик, покрытый разноцветной украинской плахтой, и сам сел на такой же. — Чай сейчас будем пить, — сказал он, — а пока, не теряя дорогого времени, сразу и рассказывайте. И прежде всего — откуда у вашего Общества это наименование — Соединенные славяне?

— Именование появилось уже на дальнейшей стадии развития общества...

И Тютчев коротко рассказал о том, как зародился Славянский союз.

Поляка революционера Люблинского привезли закованного в железа в его родной город Новоград-Волынский, куда вышел по службе в артиллерию и Борисов. В маленьком городке это событие вызвало волнение чрезвычайное, хотя поляка от оков освободили и отпустили к матери, бедной женщине, жившей в своем маленьком домике на самой окраине городка. Люблин-

ский привлек к себе горячие устремления всего кружка братьев Борисовых.

Люблинский поразил всех своей образованностью и уже вполне зрелой революционной мыслью. Возникла идея основать такое тайное общество, которое в первую очередь должно покончить с рознью между братскими славянскими народами и учредить из этих народов всеславянскую федерацию. От Балтийского моря до Адриатического, от Черного до Белого должен простираться этот союз, сохраняя широкую самостоятельность каждого входящего в него народа. Цель этого союза — создание примерного государства для граждан свободных и счастливых под общими справедливыми законами.

— Что же, цель эта весьма привлекательна, — сказал Муравьев. — Ну, а какие у вас измышлены пути для ее достижения?

— То-то, что на практике у нас не все еще разработано, — несколько сконфузился Тютчев. — Вот и будем рады, если вы с нашим Обществом станете едины. Однако есть преимущества и у нас: в области морали на месте не стоим. Освобождение крестьян решено бесповоротно. Кроме того, имеются особые правила поведения...

— Небось мечтаний не оберешься, — ласково улыбнулся Муравьев. — Наверное, из масонских лож притащили всякие символы, клятвы, условные термины! Слыхал я, славяне при встречах обязательно нажимают один другому большим пальцем на ладонь. Условное рукопожатие означает единомыслие или еще что?

— Теперь уже это вывелось, но все же союз носит отпечаток воинственности, — пояснил Тютчев. — Клятва верности произносится не на кресте, а на острие меча.

клянутся отдать все свои силы и самую жизнь на благо и свободу единоплеменников.

— Погодите, — остановил Муравьев, — я в окно вижу, — торопится к нам Бестужев, его, конечно, я тоже позвал...

— А за ним следом шествует ваш денщик с пылающим самоваром, — заметил Тютчев.

Бестужев, пропустив вперед денщика, вошел в балаган, радушно поздоровался.

Муравьев, расставив на столе стаканы, обратился к денщику:

— Можешь идти, Федор, займись поблизости дровами, что ли, да смотри не прозевай, если кто...

— Пребывайте без сумнения, Сергей Иванович, — бойко ответил Федор, — смотреть научены в оба...

Он ушел, прикрыв дверь, но сейчас же заглянул со двора в открытое окно и сконфуженно сказал Бестужеву:

— А коньячка не извольте доискиваться, Михаил Павлович, он до дна поистратился.

— Не без твоей, думаю, помощи, — рассмеялся Бестужев.

Денщик исчез.

— Много вы тут без меня наговорили? — поинтересовался Бестужев. — Я хочу узнать вот о чем: дошли слухи, что славянами выработаны какие-то особые правила поведения. Пока буду чай разливать, расскажите нам, Тютчев.

— Действительно, у нас есть нечто вроде катехизиса или, вернее, взамен его, — ответил Тютчев. — Назову главное: не желай иметь раба, если сам рабом быть не желаешь, будь терпим ко всем чужим верованиям. Не-

обходимо разрушить все предрассудки относительно разности состояний и сословий. Самое же основное, с чем трудно не согласиться, это утверждение, что только тогда станешь человеком, когда научишься видеть человека в другом...

Сергей Муравьев встал, положил обе руки на плечи Тютчева.

— Сказывайте, Алексей Иванович, — сказал он проникновенно, — какой у вас камень за пазухой: может ли что-нибудь стать препоной к слиянию наших тайных обществ? Даже если пустяки какие — говорите.

— А пожалуй, и не пустяки... — протянул задумчиво Тютчев. — Разные уж очень люди — ваши — южные и наши — славяне. Большинство славян — бедные военные небольших чинов, про которых собственные денщики говорят: «Мой-то живет с одного жалованья!» Есть у нас и комиссариатские чиновники и почтальонские дети, иные даже из крестьян.

— А кто имеет деревеньки и собственных крепостных — должен отпустить их на волю, не правда ли? Верно я слыхал? — спросил Бестужев.

— Обязательства пока нет, но добрый и умный человек — Иван Иванович Горбачевский, в пример прочим, едва получил в наследство именьице — крестьянам дал вольную и всю землю в придачу. А сам ведь гол как сокол.

— Этот Горбачевский и Борисов Петр и есть главное ядро славян?

— Они — стержень всего союза! — воскликнул Тютчев, — и Петр Борисов настолько пламенно и всецело посвятил себя делу революции, что это высокое призвание дало ему моральное право отговорить намедни

от женитьбы своего близкого друга — Горбачевского. Борисов сказал ему, да и нам заодно повторил, поверьте, словно командир, на всю жизнь дал приказ: у нас, мол, отмеченных судьбой на подвиг, все силы должны пойти только на благо народное. Одна нам любовь — освобождение Отечества.

— Как он сказал? — вспыхнул Бестужев и тут же с чувством повторил: — Одна нам любовь — освобождение Отечества...

Он отошел к окну и задумался... Между стволами сосен, еще горевших от заката, белели солдатские палатки, доносилась негромкая песнь. Лес дышал нагретой за день смолой, на пруду, заросшем ярко-зеленым аиром, промелькнула узкая лодочка.

Бестужев все эти дни был в особом настроении: он получил письмо от родственника, которого посылал сватом к своим родителям с просьбой благословить его на брак с любимой девушкой. От этого свата пришел печальный ответ, что родители ранний брак Бестужева осудили решительно, вместо благословения наложили запрет и отказываются выделить ему какие-либо деньги, если он захочет настаивать на своем. Слова, только что услышанные Бестужевым, как бы подсказали тот вывод, который ему самому надлежало сделать...

— А разногласия у нас с вами все-таки возникнут, дорогой Алексей Иванович, — сказал Муравьев. Он подошел к Тютчеву, взявшему было фуражку, и на минуту ласково задержал его руку: — Разногласия вижу я именно в том, что молодые ваши славяне стали слишком близко к солдатам. От преданных мне семеновцев знаю, сколь откровенно ведутся вольные разговоры не только среди фейерверкеров, но и с рядовыми, совер-

шенно неподготовленными принять наши мысли. Это опасно, об этом хочу говорить с Борисовым...

В балаган без стука вошел денщик.

— Ваше высокоблагородие, — обратился он к Муравьеву, — идут к вам кто-то. Издаля видать.

Тютчев стал поспешно прощаться. Главари Васильковской управы дружески пожали ему руку.

— Прошу передать Горбачевскому, — сказал на прощание Муравьев, — я скоро приеду познакомиться с славянами лично, вот только в лагере осмотрюсь.

...Муравьев настолько серьезно отнесся к предстоящей встрече с членами новооткрытого Общества, что тут же поручил Бестужеву срочно переписать имеющийся у него «Государственный завет», недавно написанный под диктовку самого Пестеля. С этими выдержками из основных положений «Русской правды» и решено было в первую голову ознакомить славян.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Алексея Ивановича Тютчева товарищи шутя прозвали «сватом» за настойчивые попытки скорейшего сближения обоих Обществ. Он устроил так, что Муравьев и Бестужев вскоре приехали знакомиться к Борисову в деревню Млинищи.

Славяне были предубеждены против богатства и дворянского гонора гвардейцев-южан. Им чудилось, что к бедным, незнатным артиллеристам, какими в большинстве являлись славяне, бывшие семеновцы должны отнестись свысока и капитан Тютчев — только счастливое исключение.

Васильковские вожди не застали славянских главарей дома, и сейчас Тютчев, по особому приглашению Муравьева-Апостола, взялся отвезти Борисова и Горбачевского к нему в лагери.

Ехали втроем в полковой бричке. Было начало сентября. Стоял ясный осенний день, и воздух был так прозрачен и тих, что с окраины деревни, мимо которой проезжали, отчетливо доносился скрип украинского колодца-журавля. На одном конце у него болталось ведро для черпания глубоко стоящей воды, а на другом конце высоко поднятого шеста — грузило. Когда ведро опускалось в колодец, раздавался отчаянный скрип, словно кто звал на помощь.

Палатка Муравьева была издали заметна по высоким георгинам, которые с усердием поливал его денщик. Солдат весело оповестил, что подполковник Муравьев ждет гостей к себе.

Сергей Иванович принял новых знакомых с особым радушием, сразу разрушившим все воображаемые преграды, которые воздвигло между ними провинциальное офицерское самолюбие. Борисов бегло оглядел скромную обстановку палатки — ящики, покрытые украинскими плахтами, земляной пол, устланный полосатыми домоткаными дорожками.

За вином и закуской, споровисто поданными денщиком, разговор сразу пошел искренний и серьезный, и выяснилось незамедлительно, до чего оба Общества необходимы друг другу.

Муравьев умно, спокойно и доказательно обличал бессмыслицу действий славян в одиночку и торопил соединиться немедленно. Бестужев-Рюмин, видимо, сдерживался. Он почувствовал, что вразумительная,

спокойная речь Сергея Ивановича для этих людей, уже много думавших и строгих к себе, гораздо убедительней его взволнованного красноречия, которое, знал он, особенно увлекает самых молодых.

Немногословный Борисов, а вслед за ним и Горбачевский никаких окончательных ответов на предложение Муравьева не дали, ссылаясь на отсутствие полномочий от общего собрания членов своего Общества. Расстались на том, что в ближайшее время необходимо встретиться возможно большему числу людей от обоих Обществ.

Вскоре встреча эта и произошла в хате Петра Ивановича Борисова, который стоял лагерем верстах в пятнадцати от Житомира, влево от бердичевской дороги.

Славяне заполнили не только большой кабинет Борисова, но и прихожую, откуда денщик вынес в чулан вешалку, вместе со всем, что на ней было навешано. Сам он на всякий случай стал на стражу, чтобы о внезапном наезде начальства без промедления сообщить господам офицерам и они бы успели принять вид обычных слушателей лекции Борисова, большого знатока фортификации. Слухи о доносчиках уже волновали членов общества, и они на случай сборищ заблаговременно условились о маскировке.

Собравшиеся долгое время ждали Бестужева и Муравьева. Их все не было. Молодые волновались, опять готовые заранее обидеться невниманием к ним гвардейцев.

Хата Борисова стояла поодаль от лагерей, и никакой шум военной походной жизни сюда не доходил. В низкие окна гляделись вишневые кусты и, запоздавшие цветением, последние осенние астры. Было везде

хозяйственно и чисто, хотя рядом находились конюшня и хлев.

— Конь мирно ржет, свинка хрюкает — все наладились жить, как жили деды и прадеды, еще на тысячу лет вперед, а мы вот, злодеи, собрались потолковать, как скорее взорвать эту мирную жизнь, перевернуть все, — начал было Горбачевский.

— Знаешь, Иван Иванович, — прервал его Борисов, — я тут наших людей к сегодняшней встрече подготавливал, так слова нового мне сказать не пришлось. Сами все знают, к действию так и рвутся, не удержать...

— Бестужев идет! — раздались голоса, и тут же посыпались на него градом укоры за опоздание и нескрываемая досада, что пришел он один, без Муравьева-Апостола.

Михаил Павлович Бестужев, юношески нескладный, был несколько озадачен. Впервые перед ним оказалось сразу столько слушателей, которых предстояло ему во что бы то ни стало завоевать.

От имени Муравьева он извинился перед всем собранием за непредвиденную задержку его по службе. Обведя глазами молодые лица артиллеристов, полных напряженного ожидания, встретился на миг с умным, открытым взглядом Борисова, отметил заросшего волосами Горбачевского, который в нетерпении крутил ус, и заговорил горячо, не скрываясь, без всяких предисловий:

— Я пришел объявить вам о наших целях, пришел с предложением присоединить к нам ваш Славянский союз!

Он вскидывал свою тяжелую голову с несколько грубым профилем римского солдата, низколобого и

стремительного; голос его с каждой фразой звучал все увереннее.

Он говорил о силе Южного общества, о готовности начать переговоры, об участии Второй армии, гвардейского корпуса и многих полков...

Он говорил о том, что было в действительности, и о том, чего еще не было, но чего он желал так страстно, что мечта уже казалась ему осуществленной.

Большинство славян уже после первой речи Бестужева сразу согласилось слиться с Южным обществом. Только отдельные голоса упрямо выкрикивали:

— Назовите главных членов Южного общества! Членов тайной Думы!

— Желаем знать дальнейшие планы подробнее...

— Какие меры будут приняты к введению конституции?

Бестужев с готовностью и жаром отвечал на вопросы, однако, помня пристыдивший его разговор с Пестелем, воздержался назвать членов Думы, дабы опять не допустить ребячества.

Он ушел, оставив славянам свой список основных идей «Русской правды» под названием «Государственный завет», и ввечеру всем славянам уже стала известна предлагаемая форма нового русского правления.

* * *

В скором времени состоялось еще совещание в квартире подпоручика Андреевича, тоже члена Славянского общества, — невысокого худенького офицера с лицом смышленого школьника, быстрого в движениях. Он слегка заикался, казался очень юным. Опять Муравьеву

в последнюю минуту не удалось выбраться к славянам, и с капитаном Тютчевым снова приехал один Бестужев.

Он уже знал свою аудиторию и, как прирожденный оратор, чувствовал каждого человека. Словно все сердца соединялись невидимыми нитями с его сердцем, и он, обращаясь к одним, был почти грозен, укорял других в слабости воли, восторженно молил третьих.

— Во имя любви к Отечеству призываю всех, — говорил проникновенно Бестужев, — без дальнейших объяснений, которые породят только новые пререкания, создадут новую отсрочку совместной плодотворной работы, предлагаю вам, друзья, выразить просто неограниченное доверие Верховной думе и соединиться с нами немедленно. Сроки близятся, время лагерей истекает. Возможно ли нам расстаться, не придя к соглашению?

Славяне заразились его волнением, его неистовой верой, и в ответ Бестужеву неслись со всех сторон возгласы согласия. Однако были и такие, которые все еще пребывали в недоверии и скептически настаивали: «Имена членов Думы?»

Бестужев не отвечал на вопросы, и едва ли он их и слышал в своей горячке возвеличения Южного общества. Он перечислял разнообразные управы, уже существующие и только намеченные. Прерывистым от напряжения голосом называл эти управы: Каменская, Васильковская, Тульчинская, Московская, Петербургская, Киевская, Виленская, Варшавская...

Он говорил, что в Думу входят благородные люди, которые пренебрегают своим богатством и почестями, сопутствующими их карьере, что они готовы умереть за отечество, что они поклялись освободить Россию от позорного рабства.

В своем стремлении глубже и вернее убедить тех, кто сомневался в мощи Южного общества, Бестужев перечислял роты и полки, принявшие и только еще готовые принять участие в замышляемом перевороте:

— Третья гусарская дивизия Конного полка, многие командиры пехотных полков Третьего и Четвертого корпусов — все наши, — говорил он увлеченно.

Слова Бестужева ошеломили впечатлением грандиозности движения. Он объявил и то, чего, пожалуй, объявлять не хотел: многочисленное «Польское общество» готово разделить с русскими все опасности переворота.

От всех этих сообщений голова у славян пошла кругом. Немногие уже могли противиться всеобщему увлечению, однако Петр Иванович Борисов встал и сказал с внешним спокойствием:

— Мы обязаны посвятить свою жизнь прежде всего освобождению племен славянских, искоренению между ними вражды, и своих обязательств мы не вправе нарушить. Ваше требование подчиниться Думе, членов которой вы нам не открываете, нас смущает. Быть может, Южное общество считает нашу задачу — объединение славян — целью маловажной?

Бестужев стремительно шагнул к Борисову и, не дав ему договорить, взял его за плечо.

— Совсем напротив! — воскликнул он. — Соединение наших Обществ приведет и к желаемому вами великому славянскому единению. Преобразованная Россия ведь откроет и славянским племенам путь к свободе, к благоденствию.

Подняв правую руку вверх, как для присяги, Бестужев провозгласил:

— Россия, освобожденная от тиранства, освободит и Польшу, и Богемию, и Моравию, и прочие славянские страны. Она учредит в них свободные правления и объединит всех в федеративном союзе!

* * *

Горбачевский, придя домой, записал у себя в дневнике про этот замечательный день: «Энтузиазм Бестужева походил на вдохновение. Его уверенность в успехе восторжествовала даже над недоверием и осторожностью Борисова. Вера в силу Южного общества, надежда еще при жизни видеть освобождение отечества и других славянских народов — победили всех. Славяне, в общем пылу благородных страстей своих, согласились соединиться с Южным обществом и с сей минуты его правила почитать своими собственными».

Собирались еще много раз, знакомились ближе. Для удобства связи выбраны были посредники.

— Дух Васильковской управы, — сказал как-то Горбачевский Борисову, — нашел такой отголосок в сердцах наших молодых, что, я боюсь, он раньше времени увлечет их за пределы благоразумия, и малая искра вспыхнет пожаром...

И словно напророчил.

Один из офицеров объявил как-то на собрании, что новый командир первой гренадерской роты Саратовского полка притесняет своих солдат выше всякой меры. До него этой ротой командовал член Славянского общества, всеми любимый капитан Спиридов. Новый командир, ограниченный и жестокий службист, боясь вредного воздействия на своих солдат, запретил им

общение с бывшими семеновцами, а в Саратовском полку, как нарочно, числилось их немало. Как щепотка дрожжей подымает тяжелое тесто, так эти семеновцы вызывали в забитых ротах и полках брожение умов, возмущение жестокой солдатской долей. Юнкер Шеколла, большой черноволосый серб, член Славянского общества, и рядовой Федор Анойченко, бывший семеновец, подняли всю роту на бунт:

— Осадить ротного!

— Нет, совсем сменить его!

И по призыву Анойченко рота как один человек обратилась к полковому командиру с требованием сменить жестокого ротного. Единодушие, уверенность, спокойная твердость солдат произвели нечто совершенно неслыханное в военной среде: полковой командир струсил и поспешил исполнить предъявленные ему требования. Как только он сменил ротного — все успокоилось.

Однако солдаты боялись коварства начальников, тайной расправы с товарищами-саратовцами и были крайне озабочены их дальнейшей судьбой. С последними новостями об этом деле ждали сегодня к Борисову капитана Тютчева с подпоручиком Андреевичем, но Борисову хотелось непременно до их прихода поговорить с Горбачевским, своим ближайшим другом.

Этот Иван Иванович Горбачевский был сыном мелкого провинциального чиновника, служившего в казенной палате. Отец не мирился с крепостным правом и в отвращении к нему воспитал и сына.

Один из крепостных людей Горбачевского, отпущенных им на волю, столяр Василий, остался жить с ним, открыл при скромном, но просторном доме Горбачевского столярную мастерскую. Сюда к племяннику

Василию и приехал Осип Карпенко, бывший крепостной человек помещика Якушкина. Карпенко стал работать с племянником в мастерской и сам оказался отличным столяром.

Горбачевский, узнав поближе Осипа Карпенко, очень с ним сблизился и собирался хлопотать о прикомандировании его к Киевскому арсеналу вольнонаемным рабочим, прямо под начало Андреевичу, который в Арсенал этот был только что назначен служить.

Горбачевский отправился в столярную, где у него стоял собственный маленький верстачок.

Осип Карпенко и Василий только что окончили работу. Платяной шкаф с резьбой стоял посреди мастерской и словно любовался собой, пока Василий покрывал его лаком.

Бывший партизан Осип Карпенко, покуривая, сидел на верстаке и оживленно что-то рассказывал. Он попрежнему носил бакенбарды, пробривая подбородок до глянца. Выбитый французами глаз прикрывала та же черная повязка, которую он носил еще у Якушкина. И Карпенко и Василий почтительно поздоровались с Горбачевским, который, не желая мешать их оживленному разговору, тихонько пробрался к своему верстаку и стал что-то строгать.

— Продолжай, прошу тебя, Осип, — сказал он, — я тоже хочу послушать. О чем ты?

— Об одной помещице, Иван Иванович, по соседству жила... На портрете красавицей намалевана, цветок нюхает, — поглядишь, мухи не обидит. А ведь такая тиранка была, душегуб — одно слово! Бессонница, вишь, ее одолевала, так ведь что надумала! Пусть под окнами у ней порют, под вопли крепостных к ней

будто сон приходил. И что же — пороли... Только нашлись люди — ту барыню обдурили! Виновные сговорились с палачами из дворни, приставленными для сечения, что едва один розгу в руки берет — другой воем завоет. Так вот и пошло у них: розги свистят, человек кричит, а спины — целые. Барыня же свое снотворное получала.

— Ох, и всыпал бы я этой барыне, да горячих! — сказал в сердцах Василий, оторвавшись от работы.

— И без тебя хватило ума, — усмехнулся партизан, — не в очередь эта помещица кучерова сына забрила да раньше того дочь у него утюгом покалечила. Вот поехала барыня в фаэтоне на прогулку, лошади у кучера понесли!.. Да так ловко понесли, что сам он с козел целый спрыгнул, фаэтон — вдребезги, а заместо барыни — мешок костей.

— Так ей и надо, — наставительно сказал Василий.

— Так всем им и будет, — подтвердил злобно партизан.

Горбачевский внимательно выслушал рассказ до конца.

— Чего это ты о помещице вспомнил, Осип? — спросил он.

— А потому, Иван Иванович, что от родных своих письмецо получил из Белой Церкви... Одно к одному и пришлось. Родня моя — крепостные графини Браницкой, Потемкина светлейшего племянницы. Богачка несметная, а жадна. Людей своих норовит в розницу продавать, как ей повыгодней: отца — в одни руки, мать — в другие, детей — кого куда. Ищи, собирай семейство! Вот и надо мне съездить туда, Иван Иванович, помочь чем... Да и мозги мужичкам просветлить...

— А ты бы, Осип, сперва солдатикам в Арсенале просветлил головы, может, дело скорее пойдет? Военные подымутся, да и вовсе от помещиков вызволят...

Осип присвистнул:

— «Доки сонце зийде — роса очи выисть», так по нашей по украинской поговорке говорится, Иван Иванович. Нет уж, съезжу пока сам к госпоже графине.

В мастерскую вошел денщик Борисова, веселый румяный солдат:

— А я к вам, Иван Иванович! Обязательно просит вас мой барин незамедлительно прибыть, ждут к себе капитана Тютчева и поручика Андреевича.

Понизив голос, хотя все тут были свои, денщик добавил:

— По саратовскому делу известия!

— Сейчас иду, — отозвался Горбачевский и обернулся к Карпенко, — прошу тебя, наведайся к Борисову через часок.

Быстрыми шагами прошел он по лесной дорожке к хате Борисова и увидел его на крыльце.

— Что же Тютчев? — спросил Горбачевский.

— А вот должен прибыть с часу на час. Важные вести привезет.

Друзья вошли в хату. Борисов протянул гостю чубук, сел на свою походную койку, а Горбачевский расположился у окна, откинул со лба длинные волосы, задымил.

Первое впечатление он производил смешное: усы, подусники, бакенбарды, длинные волосы создавали впечатление чрезмерной лохматости, и не сразу обнаруживались на этом своеобразном лице спокойные прекрасные глаза и умный лоб.

— Невероятна эта история в Саратовском полку, — сказал Горбачевский, — ведь добились-таки солдаты своего, заставили сменить ротного! И пока не слыхать, чтобы кого из них запороли или даже забрали под арест.

— Надолго ли останутся целы? — с тревогой глянул Петр Иванович. — Ты знаешь, как привержен к нам фейерверкер Зенин, с которым на досуге я занимаюсь геометрией? Через него я доподлинно знаю о настроениях всех солдат. Вот вчера он говорит: очень люди взбудоражены, ежели потребуется, все встанем в подмогу саратовцам. А другой фейерверкер — Кузнецов — уже напрямик режет: «Хватит с нас бессрочной солдатской каторги».

Горбачевский встал.

— Какая победа, какая победа! — повторял он радостно.

— Сядь, Иван, смирно, — пригласил Борисов. — Разговор у нас есть важный...

— О слиянии с Южным обществом? — подхватил Горбачевский. — Я, Петя, все эти дни хочу тебя спросить, скажи откровенно, что тебе в речах Бестужева не понравилось? Что тебя заставляет быть против соединения немедленного? Подумай только, какова сила Южного общества: управы его рассеяны по всей южной армии. И все это только часть огромного, охватившего всю Россию заговора, который управляется Верховной думою.

— Мне, к примеру, уж то не нравится, — ответил Борисов, — что когда я спросил Бестужева — кто же именно эту Думу составляет, он мне отрезал: «Правила Общества мне запрещают их обнаружить». Это значит

требовать от нас подчинения неизвестным нам людям? Но во всем прочем я весьма южан одобряю. Вот тебе и доказательства...

Борисов взял в руки начатое им письмо к брату Андрею и прочел: «Целью сего Общества есть введение в России чистой демократии, уничтожающей не только самодержавную монархию, но и все сословия, и сливающей их в одно сословие — гражданское».

— Так чего же еще тебе от них надо? — воскликнул Горбачевский. — Не мы ли сами эту программу мучительно нащупывали? И вот, встретясь с Южным обществом, обрели ее уже в готовом виде. Только вспомнить, какой был недавно, после великих побед двенадцатого года, полет надежд и мыслей, какая жажда просвещения и свободы тогда стояла в воздухе! И чем все это кончилось? Словно ядовитые грибы, вылезли новой формации службисты, и воцарилась фрунтомания. Выразительно ее иллюстрирует исторический парадокс цесаревича: «Плох тот солдат, который дотянет свой срок!»

— Сказано им и покрепче, — печально усмехнулся Борисов. — «Убей двух, поставь одного». Да мало ль у нас замашистых офицеров, от которых только и слышишь — влепить сотню, две, три! Побои — единственный двигатель военного механизма... А давно ли солдаты эти победителями вернулись на родину?

Они помолчали. Борисов с беспокойством думал о том, что ведь в его силах было остановить Шеколлу, предупредить опасный бунт в первой гренадерской роте... Какие-то вести привезет Тютчев?

Горбачевский, отставив потухший чубук, сидел облокотившись на подоконник и задумчиво щурился на

давно уж примелькавшиеся домишки деревни Млинищи, на косогор, ведущий к речке. Он тоже мучился мыслью — как бы история в Саратовском полку, так удачно свершенная, не повернулась большой бедой, от которой в первую очередь пострадают зачинщики.

В передней раздался деликатный кашель. Борисов подошел к дверям.

— Кто тут? — спросил он. — А, это ты, Зенин! Входи, братец!

Фейерверкер Зенин, старослужащий солдат с нашивками на рукаве, вошел в комнату и поздоровался за руку, как было принято у славян, когда они встречались с нижними чинами без свидетелей.

Большая любознательность к математике отличала этого Зенина, и, занимаясь с ним геометрией, Борисов кончил тем, что «открыл» ему Общество.

— Он не подымет роту, как Анойченко, — сказал Борисов Горбачевскому, кивая на Зенина, — но я уверен, что когда начнется дело — уже не отступит и жизни своей не пощадит... Присаживайся, Иван Никитич, — предложил он приветливо Зенину. — Я рад, что ты пришел, давно хочу тебя за хитрость твою похвалить! С выбором солдат обучаешь. Кому только табличку умножения даешь, а кому и кое-что в придачу. Это правильно. Мне бы самому невдомек так разобраться в людях, как это тебе удалось. Насквозь ребят видишь.

— Без хитрости в таком деле нельзя, — ответил серьезно Зенин. Он был высок ростом, скуласт, похоже — из вотяков. При разговоре острым вниманием буравили собеседника его небольшие, глубоко сидящие глаза. Он скромно подсел к столу.

— Слышал я, Петр Иванович, что капитан Тютчев должны к вам приехать. Очень наши солдатики насчет Саратовского полка беспокоятся.

— О подробностях от капитана Тютчева сам скоро услышишь. Расскажи, что нового у нас? Кого всех лучше солдаты слушают?

— Всех ретивее фейерверкеры Гончаров и Фадеев действуют. Немолодые оба, к четвертому десятку подходят. Крепкие люди. Все военные кампании проделали и разговоры ведут осмотрительно, как вы, Петр Иванович, давеча нам наказывали. Сейчас на одно напираем: держись друг за дружку! Чем плотнее сомкнемся, тем солдатская доля верней изменится, — прямую, значит, связь устанавливаем. Со всем сердцем солдатики соглашаются, потому, говорят, солдату все одно помирать, а тут хоть не задаром ляжем!

— Все-таки немало слабодушных, таких, что горе в вине топят, этих вовсе обходить надо, — строго сказал Борисов.

Зенин выпрямился и ответил скороговоркой, словно отрапортовал:

— Будьте покойны, Петр Иванович, соображение имеем!

Борисов положил руку Зенину на плечо и многозначительно вымолвил:

— Значит, Иван Никитич, ежели бы у нас что-нибудь вправду началось?..

Зенин прямо глянул в глаза ротного командира и твердо ответил:

— Дай-то бог, Петр Иванович, только б начать.

В дверях показался денщик Борисова и, чему-то улыбаясь, спросил:

— Карпенку-партизана прикажете впускать, ваше благородие?

— Пусть войдет, — сказал Борисов, — а ты, братец, на целый вечер свободен, иди куда хочешь.

— Покорнейше благодарим, — еще больше повеселел денщик и, впустив Карпенку, тотчас вышел из комнаты. Через минуту он снова явился и выпалил, как из ружья:

— Гости к нам!

Горбачевский кинулся в сени и принял долгожданного Тютчева в объятия. С ним были еще два члена Славянского союза, совсем еще юнцы, — Яков Максимович Андреевич, подпоручик Восьмой артиллерийской бригады, и подпоручик Бечасный — важный, верно от чувства ответственности, — он заведовал солдатской школой и по примеру незабываемого Владимира Раевского составлял ученикам прописи в духе свободомыслия.

Алексей Иванович Тютчев, бывший гвардеец-семеновец, выделялся некоторой франтоватостью среди этих скромных товарищей-артиллеристов и держал себя как старший.

Прежде чем начать говорить о том, что всех интересовало, он внимательно поглядел на Зенина и Осипа Карпенко.

— Свои люди, — объяснил Борисов, — наши помощники. Это мой доверенный. Познакомься. Фейерверкер Зенин.

Тютчев перевел взгляд на Осипа Карпенко.

— А это партизан двенадцатого года — Карпенко. Ума-разума довольно набрался, единых мыслей с нами...

Однако не томи нас, Тютчев, все ли у саратовцев благополучно?

Тютчев уселся на табуретку. По обеим его сторонам, как адъютанты, выстроились приехавшие с ним подпоручики. Перед ним, превратившись в слух, стояли Борисов и Горбачевский. По знаку последнего партизан и Зенин тщательно задернули на окнах темные занавески.

— Всем известно, — начал Тютчев, — что по первому зову рядового Анойченко и юнкера Шеколлы вся рота вспыхнула, как порох. Дальше тоже известно: солдаты без шума, без крика двинулись каменной стеной на своего полкового, требуя то и это... И полковой не замедлил все выполнить.

— Ну, а дальше что?!

Тютчев привстал и, не скрывая торжества, сказал:

— А дальше то, что полковой все дело начисто замял. В полку ни дознаний о зачинщиках, ни разговоров о порке — тишь, гладь и божья благодать, как говорится. Начальники струсили, а солдаты, по тайному приказу Муравьева, — все отменного поведения...

— Самое замечательное, — добавил Горбачевский, — что по одному слову Анойченко, словно по щучьему велению, рота встала, а по другому — успокоилась.

— В каких годах Анойченко? — спросил Борисов.

— Ему лет тридцать пять, — ответил Тютчев. — С двенадцатого года в службе. Родом из экономических крестьян. Поспел и в заграничных походах и в семеновской истории отличиться, был в третьей фузилерной роте, которой командовал сам Муравьев Сергей Иванович. Вот недавно Анойченко с ним, старым своим командиром, здесь опять и повстречался. Затяжной бунт

в полку грозил смешать все расчеты Южного общества, вот Сергей Муравьев и отдал тайный приказ: прекратить беспорядки в тот самый миг, как только начальство пошло на уступку.

— Этот Анойченко, видать, голова! — воскликнул партизан. — Едва узнал, что большое дело сорваться грозит, сразу солдат урезонил. Коли что — такой и весь полк поднять сможет!

— Скорей бы начать нам, Петр Иванович, — сказал сдержанный Зенин, — ведь и мы готовы костьми лечь за своих командиров...

Осип Карпенко резко прервал Зенина:

— Не за командиров нам помирать, сколь бы они хороши ни были, — за права свои! За то, чтоб людей с собаками не ровняли. Надысь я письмо получил: помещица крепостную семъю продала — всех в разные руки...

Подпоручик Андреевич вдруг шагнул к партизану, крепко обнял его и, растроганный, сказал, слегка заикаясь:

— Вот ус-строю тебя к себе в Арсенал, там как раз такой, как ты, нужен.

— Спасибо на добром слове, но совесть мне не дозволит. Я твердо решил своим землякам-мужичкам в первую очередь помочь.

Партизан остро глянул своим единственным глазом в молодое, хорошее лицо Андреевича и с особым чувством добавил:

— А коль скоро ваши будут готовы — может, и мои деревенцы доспеют.

Борисов рассмеялся, пожал партизану обе руки:

— В добрый час, Осип!

И, обратившись к Зенину, добавил:

— Пора идти в роту. Успокой ребят насчет судьбы саратовцев. Да прихвати с собой и кавалера. — Он ласково подтолкнул Карпенку вперед. — Столяр он. Найди ему по вольному найму неотложную работу. Пока здесь — пусть себе на дорогу, а нашей роте на пользу поработает. А про Анойченку расскажи сам кому знаешь.

Фейерверкер, а за ним партизан попрощались с офицерами и ушли.

Оставшиеся в хате Борисова пятеро офицеров взволнованно молчали: горячая приверженность Карпенки и Зенина тому же правому делу глубоко тронула их.

— Т-твой ученик этот партизан? — спросил Борисова Андреевич.

— Обстоятельства собственной жизни его обучили, это еще дороже стоит, — отозвался Борисов. — Когда гвардию поспешно двинули под Вильно в поход, всей его судьбы «поворот вышел», как он сам говорит. Глаза у него открылись.

— В чем же дело? — присоединился Бечасный.

— А вот слушайте. Начальники после семеновской истории, как известно, пуще прежнего лютовать стали. Кроме того — провиант гнилой, в походе и вовсе люди голодали — котлы запаздывают. Рота, где был Осип, не стерпела, стала начальство поругивать. Нашлись гниды, генералу донесли. Подскакал генерал: «Смир-р-но!» И приказал яму рыть. «Кто всех громче роптал?» Дознался. Ну, коротка расправа — засек. Мертвых тут же землей засыпали, а вот у нашего партизана, — как он говорит, — мозги прочистило... Запомнил человек.

Подпоручик Бечасный, сбросив свою напускную важность, дал волю молодому непосредственному чувству.

— И подумать, Петр Иванович, — обратился он к Борисову, — ведь такие люди, как Карпенко, Зенин, Анойченко, — уже не исключение. Члены нашего Общества Кузьмин и Сухинов в своих частях объединили немало солдат.

— И теперь ясно, когда пробьет час, все они пойдут с нами не как рабы, а как боевые товарищи. — Темные глаза Борисова осветились глубокой мыслью, выдавая его заветные мечты.

Тютчев тоже заметно волновался. Чуть ссутулившись, он шагал по комнате взад и вперед, словно собирался с силами. Наконец он остановился перед Борисовым и Горбачевским, встряхнул головой и твердо сказал:

— Скоро лагерям конец. Надо еще в последний раз собраться у Андреевича, и чтобы всем нам — уже без всяких сомнений... А у вас с Горбачевским они еще есть. Надо, чтобы безоговорочно было единое тайное Южное общество.

Борисов бросил взгляд на Горбачевского, который сидел глубоко сосредоточенный, укрытый своими лохматыми волосами, и обратился к нему, отвечая, в сущности, на слова Тютчева:

— Сомнения нас гложут, Иван! Это точно. Ведь мы же клялись отдать силы на братский союз славянских народов...

Андреевич, заикаясь и краснея, прервал:

— Мы к-клялись, имея в виду мечту, весьма далекую, а нам пред-длагают дело живое — спасать

от позора и рабства свою родину, спас-сать без промедления... Да ведь это и нашу цель охватывает. Ведь она же вход-дит в общую задачу восстания...

— Андреевич прав, — сказал Горбачевский, — давай, Петя, больше к этому не будем возвращаться.

— Хорошо, но у меня, должен признаться, есть и другое сомнение, — Борисов говорил спокойно, с уверенностью. — До меня дошло, что Муравьев-Апостол и Пестель считают крайне опасной такую близость с солдатами, как это установилось среди нас. Они делят их на «гласных» и «безгласных». С первыми допускается просвещающий разговор, но большинство они полагают вести за собой, как стадо.

Горбачевский гневно сдвинул мохнатые брови:

— Думаю, как и ты, — необходимо, чтобы солдат знал, за что именно пойдет на бой, на смерть!

— Я не устаю твердить моим фейерверкерам, моим друзьям-помощникам, — подчеркнул Борисов, — чтобы они отчетливо внушали солдатам: «Вы — основание всему».

— Еще бы! — воскликнул Андреевич. — На солдатах и дер-ржится правительство, столь к ним тираническое. Стоит солдатам во всю русскую силу пожел-лать его свергнуть — и свергнут.

— И благодаря нашему братскому к ним отношению, — продолжал Горбачевский, — с нами заодно солдаты полков: Саратовского, Тамбовского, Пензенского, Пятнадцатого и Шестнадцатого егерского... И две артиллерийские бригады.

— Друзья мои, вы ошибаетесь относительно руководителей Южного общества, — сказал огорченно Тютчев, — они солдат не чуждаются. Я знаю фейерверке-

ров, которые весьма усердно ими просвещаются, уже не говоря про Анойченко, готового вождя восстания...

— Федор Анойченко — исключение. Это «гласный». Но будешь ли ты отрицать, что Пестель считает правильным возбудить вольный дух в солдате лишь в самый канун восстания? — спросил резко Борисов.

— Заверяю честью, — вспыхнул Тютчев, — исключительно из осторожности. Пестель знает, как в последнее время следят за нашим движением. Однако вернемся к предложению Южного общества. Не споря о различиях, которые, конечно, в дальнейшем устранимы, возьмем, что у них с нами общего...

— А общее есть! — прервал Горбачевский. — Как мы, так и они не желают тянуть ярмо бессловесных скотов под кнутом самодержавия. Они, как и мы, решили повернуть штыки против этой чертовой власти. Чего же ждать, чего ж медлить? Воедино все силы, и — шагом марш...

— И наша доблесть слав-вян как раз в том и состоит, чтобы взять на плечи труд-днейшее, — сказал, заикаясь, Андреевич, — для освобождения родины нанести кому надо уд-дар.

— Значит, и сами — на смерть? — Борисов испытующе оглядел присутствующих.

— А что ж, Петр, коли надо, пойдем, — просто ответил за всех Горбачевский.

* * *

Концом, достойно венчающим эти собрания, клятвы и взаимные уверения обоих Обществ, оказался вечер в балагане Муравьева в один из последних дней перед выступлением из лагерей.

Петр Иванович Борисов пришел уже с самыми добрыми намерениями, желая задать только несколько дополнительных, выясняющих устав Южного общества, вопросов. Однако он внутренне сразу съежился: так ему с первого взгляда не понравился командир Ахтырского полка Артамон Захарович Муравьев, родственник Сергея Ивановича. Артамон был несколько грузный, толстощекий человек с круглыми, блестящими, словно вставленными глазами без всякого выражения. Хотя и не новоиспеченный гусар, он, казалось, свою нарядную форму надел впервые, — так кичился ею перед скромными армейцами.

Артамон не говорил, он извергал страшные клятвы, суля собственной кровью добыть России свободу. Ему в азарте не уступал юркий капитан командир 5-й конной роты — Пыхачев.

— Я никому не позволю выступать первому за освобождение отчизны от тирана! — кричал он. — Эта честь принадлежит моей Пятой конной. Да, я начну, я!..

Веденяпин, подпоручик 9-й артиллерийской бригады, худощавый, с лицом, тронутым оспой, человек ума скептического, иронически проворчал:

— Подобны недолговечию ракет сии вспышки геройства. Помолчать бы до дела...

Но Артамон своим сиплым голосом покрывал все возражения.

— В августе двадцать шестого года император будет производить смотр Третьему корпусу. Вот тут и решится судьба деспотизма! Ненавистный тиран падет под нашими кинжалами! И, развернув знамя свободы, мы двинемся!..

— Москва и Петербург с нетерпением ждут восстания войск, — подтвердил, вскакивая с места, Пыхачев. — Наша конституция навсегда утвердит благоденствие народа, потому что...

Бестужев решительным жестом остановил Пыхачева:

— Новые члены нашего Общества должны узнать: пока конституция не получит настоящей силы, пока она не окрепнет в сознании новых граждан, заниматься внешними и внутренними делами страны будет так называемое Временное правление.

— Сколь продолжительно? — спросил озабоченно Веденяпин.

— Возможно, и десяток лет, — заметно недовольный заданным вопросом, отрезал Бестужев.

Славяне встрепенулись.

— Какие гарантии предлагаете? Что будет порукой в том, что один из членов Временного правления, избранного только войском и поддерживаемого штыками, не похитит вновь самовластие?

Бестужев вспыхнул.

— Безобразные мысли! — воскликнул он, сверкая глазами, — поистине безобразные. Мы, которые уберем в некотором роде законного, потерпим ли власть похитителя? Никогда!

Тут спокойный, чуть насмешливый голос Петра Ивановича Борисова напомнил всем пример исторический:

— Хотя сам Юлий Цезарь убит был среди Рима, пораженного его величием и славой, но все же над убийцами его, над пламенными патриотами, восторжествовал малодушный Октавий, юноша восемнадцати лет.

Бестужев-Рюмин поднялся и заговорил с горячим убеждением, как бы втолковывая неоспоримое:

— Только что приведенный пример о замене Цезаря ничтожнейшим, но самовластным правителем ярче всяких слов подтверждает именно необходимость строгой охраны только что завоеванных народом прав, завоеванной молодой свободы. Для этого необходима твердая, единая, неколебимая никакими распрями власть. Эта власть и защитит для народа лучший гражданский образ существования. Уместно ли, друзья, судите справедливо, торговаться о сроках жизни Временного правления, когда защиту всего дела свободы мы вручим членам нашего Общества, самым проверенным, самым преданным этой свободе.

Рядом с Бестужевым встал Сергей Муравьев и договорил за него словами, полными задушевности и искренности:

— Заверяю вас, братья, не власти мы ищем, не почета и богатства — мы хотим единственно счастья народного. За благо моей родины, за свободу ее, я клянусь положить свою жизнь.

С просветленным лицом он высоко вскинул правую руку. За ним подняли руки все присутствующие.

Бестужев вдруг сорвал с шейной цепочки образок, вышитый его кузиной, со слезами поцеловал его, передал другим. Все целовали образок, клялись.

* * *

Горбачевский в этот день записал: «Невозможно изобразить всей торжественности трогательной сцены... Чистосердечные, торжественные, пламенные клятвы

смешивались с криками: «Да здравствует конституция! Да гибнет различие сословий! Да гибнет дворянство заодно с царским саном!»

А Бестужев глубокой ночью заканчивал подробное письмо Пестелю, не замечая оплывающей свечи. Он писал:

«Среди новых наших членов Общества — присоединившихся славян — пятнадцать человек дали подписку: когда понадобится, нанести тирану удар...»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Вятский полк был расквартирован в Линцах, местечке Подольской губернии, принадлежавшем князю Сангушко. Кругом стоял густой лес. Командир Павел Иванович Пестель занимал одноэтажный домик на площади против экзерцирхауза. К прежнему убранству комнат в Тульчине прибавились полки во всю длину стен. Здесь вплотную стояли книги, всего более содержания политического.

— Чего только не прочли вы, Павел Иванович, и притом на всех языках! — с восхищением говаривал Пестелю майор Лорер, недавно переведшийся из Петербургского гвардейского полка в Вятский. Имение в Херсонской губернии, полученное им в наследство, было в столь расстроенном виде, что не давало средств для продолжения службы в гвардии. Оболенский, принявший Лорера в Северное общество, посоветовал ему ехать прямехонько к Пестелю, которому отправил письмо о нем с наилучшей рекомендацией.

Новый сослуживец, и притом товарищ по тайному обществу, очень понравился Пестелю с первого раза. При ближайшем знакомстве он стал искренним другом.

Мать Лорера была грузинская княжна Цицианова, а отец — француз, и, по определению товарищей, Лорер счастливо соединял в своей персоне лучшие черты обеих наций. Веселый, общительный, рассказчик с настоящим литературным дарованием, он обладал непосредственным и добрым характером. С детства научившись говорить по-украински у старой няньки, он на всю жизнь сохранил мягкое произношение — приятно «гакал», что придавало легкий юмор и обыденному разговору.

Зная многие иностранные языки, на всех он говорил одинаково плохо, но живописно и талантливо. Писал же он просто превосходно. Повести его, еще не напечатанные, ходили по рукам, вызывая всеобщее одобрение.

В тайное общество привела его не столько логика революционной мысли, сколько горячее чувство протеста против царившего вокруг бесправия. Пестеля майор воспринял, по собственному уверению, «как замечательнейшего человека всех времен и народов» и благоговел перед его «Русской правдой», поняв все ее великое значение.

Пестелю была большой отрадой эта высокая оценка дела его жизни, и когда приходилось ему уезжать, то на руки Лорера сдавал он свою «Русскую правду» на хранение.

— Уж я-то сховаю ваше детище, догляжу его, як добрая нянька, — говорил Лорер, смеясь искрящимися карими глазами.

— Глаза ваши веселые, Николай Иванович, а представьте, до странности напоминают мне совсем другие, пожалуй, даже печальные, глаза красавицы Россет, приятельницы Пушкина, — заметил как-то Пестель.

— Та то ж моя родная племянница, — обрадовался Лорер сравнению, — Александра Осиповна.

При дружеских отношениях у Пестеля с Лорером была в их разговорах тема, которая вызывала сильное раздражение у Пестеля, а у Лорера — тревожное опасение за друга.

Лорер питал непреодолимую антипатию к капитану Майбороде, считая его человеком самых низких душевных качеств, на что не однажды указывал Пестелю. Лореру было известно, что капитана заставили уйти из Московского полка за «штуку», которую он сыграл с одним из товарищей, вручившим Майбороде на покупку лошади тысячу рублей. Майборода, вернувшись из отпуска, уверял, что купленная лошадь внезапно пала, и денег не возвратил... Кроме того, был он с солдатами крайне груб и на жестокие наказания щедр. Предупреждающие слова Лорера, однако, не насторожили Пестеля.

Предатель, уже распознанный членами тайного общества, некий помещик Бошняк, ботаник-любитель, человек вкрадчивых манер, был по своему поведению резко противоположен Майбороде. Вероятно, поэтому Пестель, склонный к абстрактным обобщениям, невольно мыслил образ предателя, исходя из качеств этого Бошняка. Неприятные, но чуждые подобному представлению свойства Майбороды не внушали Пестелю подозрений, тем более что Майборода открыто проявлял революционную ревностность и только

намедни принял в Общество, как выразился он, «преданного нашим идеям» некоего Старосельского.

Сейчас, приехав в Петербург, Пестель постарался присмотреться к Майбороде глазами Лорера: огромного роста мужчина, массивный, но вместе с тем всегда подтянутый, ретиво любящий службу, — он, как и раньше, ничего подозрительного не являл собою. Был первобытен по натуре и ограничен, что вовсе не являлось недостатком, если иметь в виду, что Пестель предназначал его для слепого исполнения своей воли. В полку Пестель таких людей решительно считал полезными. Вот почему он и просил генерала Киселева, своего начальника штаба, из 34-го егерского перевести к нему в Вятский полк именно этого штабс-капитана Майбороду. И Пестель с полным доверием дал Майбороде важное поручение:

— Будете нынче в лагере с людьми, действуйте в нашем смысле на умы. Время! — подчеркнул он. — И давайте мне ежедневно отчет о ваших успехах.

Майборода смотрел Пестелю прямо в глаза вовсе не подобострастным, а только готовым к исполнению, понимающим взором. И это тоже располагало Пестеля к нему.

В августе Василий Львович Давыдов получил потрясающее предложение от самого начальника военных поселений на юге, генерала графа Витта, принять его в члены Южного общества. Об этом событии Давыдов тайным образом уведомил Пестеля. Лорер был послан в Тульчин привезти Алексея Петровича Юшневского на общий совет по этому поводу.

Приехал дорогой друг Алексей Петрович, правая рука и верный помощник. С ним и добрая жена его

Мария Казимировна, женщина большого сердца, по веселому нраву как бы вечно пребывающая в поре ранней юности. Остановились оба в одноэтажном домике Павла Ивановича.

Алексей Петрович Юшневский, генерал-интендант Второй армии, был знаменит своей неподкупной честностью, явлением редчайшим, особенно в среде провиантских чиновников, куда он попал по службе.

— Он, истинно, у нас белый медведь среди буреньких, — смеясь, говорили про него товарищи.

Был Юшневский возрастом старше других членов Общества. Крепко сбитый, смуглый, коренастый, с большими, навыкате, серыми глазами, он никогда не улыбался, даже когда шутил сам. Бороды и усов он не носил, виски зачесывал назад и вверх, что еще увеличивало и без того большой лоб. Характер у Юшневского был серьезный и ровный, он умел привлекать людей, внушая им, как и его жена, особенное к себе доверие.

— Я вас с вашими делами пока оставлю, — сказала Мария Казимировна, — я пойду в город. Так ты, Алеша, одобряешь мой «польский план»?

— Да, да, обязательно возобнови свои знакомства! — сказал Юшневский и, когда она ушла, собрался было пояснить Пестелю, что это за «польский план». Но в комнату вошел денщик Пестеля Степан Савченко с подносом, на котором стояли старинный штоф и две чарки. Юшневский, отведав сливянки, заговорил, когда денщик вышел:

— В городе есть польки — «сестры ордена милосердия», старинные знакомые Марии Казимировны. В случае необходимости эти сестры — вернейшая нам под-

мога. Они и за границу переправить смогут что надо и кого надо или так укроют, что никакие царские псы не найдут. Как и мы, они ненавидят Александра за двуличность и насилие, плохо прикрытое либеральной фразой.

— Да ты что... — смутился Пестель, — ужели жене открылся?

— Очень я похож на болтуна, — проворчал Юшневский, — помимо устава Общества, налагающего на каждого из нас безмолвие, и сам-то я не жажду обременять жену столь опасными сведениями. Живем ведь как на вулкане. В случае чего, если б и ее допрашивать вздумали, она, по совести, ничего в точности сказать не может. Но вот душой многое чует...

— Правду ты сказал, Алексей Петрович, живем мы на вулкане, — подтвердил Пестель, — вот-вот взорвемся. И тебя я вызвал экстренно, за мудрым советом. Вообрази, не кто иной, как сам граф Витт, набивается к нам в члены Общества. В письме намекает на пользу, которую может принести его участие: сорок тысяч штыков! Да сам прочти, вот присланное Давыдовым письмо.

Пока Юшневский читал, смуглое его лицо не отражало никаких чувств. Дочитав, он сурово вымолвил:

— Все эти сорок тысяч штыков направлены на гибель революции, да и нам, грешным, в спину. Не обольщайся, Павел Иванович, ни минуты, ведь линия эта идет через помещика Бошняка, — ну, а Бошняк ведь известно кто.

— Бошняк мелкий негодяй, генерал Витт негодяй покрупнее, — согласился Пестель, — но сорок тысяч штыков надо бы попытаться перехватить из его рук в свои.

Юшневский со всей свойственной ему силой восстал, не колеблясь, против предложения Витта. Глядя на Пестеля своими выпуклыми светлыми глазами, он выразительно говорил:

— Кроме того, что сватом здесь этот Бошняк, кто не знает коварства Витта? В настоящую минуту он должен отчитаться в нескольких миллионах рублей, вот и надо ему оправдаться по поводу раскраденных сумм. Решил подладиться к правительству, предав нас, связанных, как кур, по рукам и ногам, а наше доверие хочет снискать, предавая своих подручных. Ты, Павел Иванович, последнюю строчку прочти повнимательней. Витт предупреждает нас о каком-то изменнике: «Советую быть осторожными, ибо в вашем Обществе есть человек близкий — и предатель».

С пытливостью уставясь на Пестеля, Юшневский спросил его в упор:

— А как, Павел Иванович, выполняет твое поручение Майборода или нет? Узнает он наконец, каковы в твоем полку настроения? Дух солдат? Ведь близятся крайние сроки, что же тебе он сообщал по этому поводу?

— Никаких нет от Майбороды сообщений, — сумрачно ответил Пестель, — он меня теперь избегает, в разговоре увертывается. И вообще, признаться, капитан этот мне вдруг омерзел...

— Упаси тебя бог показывать ему это сейчас. Его теперь на узде держи. Я уверен, что, говоря о предателе, именно Майбороду, и на сей раз справедливо, указывает нам Витт. Повторяю: пред большим начальством он хочет выслужиться, потопив нас, а для снискания доверия нашего — не прочь утопить эту гнусную

Бороду. Надо ожидать, что Витт не замедлит представить царю свой донос, поскольку мы предложение его отклоним. Участие в делах Общества нужно ему было только для получения последних сведений.

— А насчет Майбороды требуется все-таки прямое доказательство, а не только голое предположение, — упрямо сказал Пестель.

— Найдется и прямое доказательство. Чего уж прямей... — И Юшневский вынул из кармана листок записной книжки. — Вот выслушай, Павел Иванович, наш Крюков, Николай Александрович, мне как-то рассказывал, что, будучи в корчме в деревне Махновке, он ругался по адресу шпионов, а Майборода, сидевший неподалеку, со зловещим видом записывал что-то себе в книжку. Крюков и его товарищ Черкасов, подтолкнув друг друга, пустились на шалость. Подпоили Майбороду, который известен как охотник поесть-попить на чужой счет, и выдрали у него из книжки вот этот листок.

Юшневский прочел мелко исписанную бумажку: «Во время нахождения моего в Махновке услышал я следующий разговор квартирмейстерской части Крюкова-второго и Черкасова, сделавший на меня особое впечатление. Проезжая из Линцы в Бердичев, оба офицера остановились в Махновке и за обедом в трактире увидались со мною. Из них Крюков говорил так: вообразите себе, как распространилось шпионство против Общества, даже в Третьей гусарской дивизии есть шпион — полковник Бринк. А полковник Абрамов постоянно летает в Бердичев, верно там есть у него агенты. Надобно этого каналью Абрамова уничтожить...»

— Самое любопытное, — прервал чтение Юшневский, — это адресок, по которому Майборода собрался свое сообщение отправить. Даже глазам не верится, чтобы предатель мог быть столь неосторожен. Вот уж точно переусердствовал. — Юшневский указал строчку в конце листка, написанную малоразборчивой скорописью. Однако Пестель разобрал: «Предоставляю на усмотрение начальства по чистой совести и святому долгу верноподданного».

— И не то еще, полагать надо, он про нас успел «предоставить», — укоризненно сказал Юшневский.

— Моя это вина! — воскликнул Пестель, шагая по комнате мимо своих многочисленных полок с книгами. — Как преступно я обманулся... Ведь предупреждал меня Лорер. Как преступно...

Он опустился на стул у окна и уперся напряженным взглядом в здание экзерциргауза с унылой полосатой будкой, которая почти целиком отражалась в огромной луже. Прекратившийся было дождь начался снова...

— Покаянием делу не поможешь, Павел Иванович, брось это, — с лаской в голосе сказал Юшневский, понимая, что Пестелю тяжело. — К тому же, по существу, этот донос — просто вздор. Вся Россия сейчас твердит про тайные общества, и для правительства они не секрет. У Аракчеева давно все нити в руках, и если он тянет, то это значит, что ему надо еще досмотреть коесчто. Против нас одна только и есть главная улика — твоя «Русская правда». Она действительно может и тебя, и всех нас, и, что важнее всего, наше дело погубить. Вот мы ее и припрячем, да не как обычно, в квартире Лорера, которого тоже могут взять, как всех нас,

а гораздо основательней: зароем ее в землю. Выберем местечко.

Пестель слушал внимательно.

— А шестую главу о «Верховном правлении» я для верности просто сожгу! — добавил он. — При лучших обстоятельствах, на которые крепко надеюсь, всегда смогу ее восстановить. Как полагаешь?

— В моем мозгу, как молитва, твое «Правление» отпечатано, — усмехнулся Юшневский. — Будь покоен, мы сожжем, мы и восстановим. Только откладывать этого, милый друг, нам никак нельзя.

— У Крюкова может остаться запись «По земельному вопросу», — вслух думал Пестель. — Вот кого вызови мне срочно, Алексей Петрович! Счастлив, что могу ему верить. А уж тебе-то... — И Пестель крепко обнял Юшневского.

Оба сели рядом на широкий диван, помолчали. Пестель провел рукой по лбу, что-то припоминая:

— Расскажу тебе, Алексей Петрович, презабавный анекдот. Когда я еще был адъютантом у Витгенштейна, корпус наш стоял в Митаве. Там я познакомился с восьмидесятилетним графом Паленом, известным участником убийства Павла. Старик меня полюбил и, учуяв во мне тягу к поступкам вольнодумным, предупредил однажды: «Слушайте, что я вам скажу. Если вы захотите что-либо сделать путем тайного общества, то это — глупость. У меня есть опыт, и я знаю свет и людей. Если вы соберете дюжину человек, ручаюсь вам, что двенадцатый будет предателем». Словно накаркал старик! Но как я мог довериться этому Майбороде? Как изменила мне обычная осторожность? Ведь Бошняка-то я заподозрил первый, когда все ему еще верили. А тут...

Пестель вскочил и заметался по комнате, как зверь, вдруг понявший, что он не находится больше на воле, а незаметно для себя попал в расставленную ему западню.

Юшневский молчал и печально смотрел на друга, который даже при нем впервые необузданно предавался горю, утратив свою всегдашнюю железную сдержанность.

В комнату вошла вернувшаяся из города Мария Казимировна. Взглянув на друзей, она сразу поняла, что у них какие-то большие заботы и волнения... От знакомых она наслушалась ужасов про южные военные поселения, про необыкновенную подлость графа Витта, полуполяка, полугрека, которого честные люди этих наций не хотели признавать единоплеменником. Ей стало вдруг жутко при мысли, что с этим начальником военных поселений как-то связана сегодняшняя озабоченность ее мужа и друга его Пестеля, — они часто поминали имя Витта в разговорах. Подсев на диван, Мария Казимировна сказала со всей искренностью:

— Ни о чем спрашивать не смею, а тем более знать что-либо важное. Но верьте, все силы готова отдать, чтобы помочь вам.

— Такое ваше отношение — нам лучшая помощь! — И растроганный Пестель встал и поцеловал обе руки Марии Казимировны.

* * *

Юшневские провели в Линцах несколько дней. Алексей Петрович был Пестелю не просто другом, а ценным, настоящим помощником в его заветной работе.

Свою «Русскую правду» Пестель сильно переделывал, добавлял совсем новые параграфы и очень дорожил критикой Юшневского. По утрам Пестель должен был уходить в свой полк, а вечера проводил с Юшневским. Степан Савченко без слов понимал, что к полковнику посторонних пускать не надо, и с хитрым добродушием охранял его, приписывая Пестелю то болезнь, то отъезд по делам.

— Ты ведь знаешь, что весь мой труд задуман в десяти главах, — говорил Пестель Юшневскому. — Первая, вторая и бóльшая часть третьей главы мною закончены. Четвертая и пятая написаны начерно, остальные пять глав только в отрывках.

Вдвоем они перечитывали параграфы, изменяли текст, спорили и всегда приходили к единодушию.

Особо важный разговор произошел у них в последний вечер пребывания Юшневского в Линцах.

Пестель своими широкими шагами мерил комнату и бросал отрывисто фразы, словно диктовал итоги долгих дум:

— Прежде всего надо твердо помнить, что Россия не нуждается в бесконечном завоевании новых земель. Россия нуждается в одном — в водворении благоденствия. Рассмотрим, в чем оно должно найти свое выражение... Государству надлежит состоять из частей однородных и однообразных.

— Павел Иванович, — сказал Юшневский, перебирая бумаги Пестеля в развернутом зеленом портфеле, — основную структуру высшей власти надо бы выразить как можно вразумительней. Людям готовое нужно подавать...

— Да уж чего ясней подано! — Пестель остановился и стал загибать пальцы по мере того, как говорил: — Власть законодательная — Народное вече — раз. Два — верховно-исполнительная — Державная дума. Верховному же собору принадлежит власть блюстительная. «Государственный завет», который я продиктовал Бестужеву, подчеркивает главную роль Народного веча. Его никто не может распустить, оно — воля, оно — душа народа. Право объявления войны принадлежит только ему.

— А само ведение войны — Державной думе, — подхватил Юшневский.

— Я хочу еще, чтобы знали, что́ побудило меня писать «Русскую правду», — сказал доверительно Пестель, и лицо его стало застенчиво. — Я, Алексей Петрович, испытываю просто душевное потрясение при одной мысли, что, несмотря на свершившуюся в восемьдесят девятом году революцию во Франции, несмотря на всю пролитую кровь, народ французский попал снова в ярмо... Так вот, чтобы у нас подобного не свершилось, я, едва в моей голове созрела мысль о необходимости республики, принялся писать свою «Правду» для предупреждения кровавых междоусобий и произвольного захвата власти. Надо не только менять старый порядок на лучший, но тут же создавать ему опору.

— Я тебе завидую, Павел Иванович, — сказал Юшневский. — Ты, как в бога, веришь в необычайную силу воздействия мысли?

— Верю, — ответил с твердостью Пестель. — Если она заключает в себе благо народу и отечеству, она словно гранит — опора всему зданию.

— Истинны твои слова, Павел Иванович, и я верую, что республика — ныне единственно правильное государственное устроение и спасение нации. Тому подтверждение — происшедшее недавно в Гишпании, Неаполе, Португалии. Сколь молниеносно там была «дарована» конституция, и как скоро пришло ее крушение. Да, едва народ, поверив тирану, перестал угрожать ему свержением, монархи-клятвопреступники снова надели народам ярмо, еще тягчайшее прежнего. Но вот поверить так, как веришь ты, Павел Иванович, в логическую силу разума, до той степени, что считаешь для нее одной возможным связать и подчинить себе все страсти и всю глупость человеческую, воля твоя, — верить так я не могу.

Условным стуком в дверь денщик Савченко предупредил о приходе кого-то из членов общества. Вошел Лорер. Юшневский и Пестель очень ему обрадовались.

— Кстати пришли, Николай Иванович, — сказал Пестель, — мы здесь кое-что решить хотим окончательно. От вас же секретов не имеется. Вы из Василькова. Ну, как там дела?

— Бестужев вам писал... Произошло соединение со славянами, оказались отличные хлопцы, — весело сказал Лорер. — Бестужев озабочен из их среды создать партию «заговорщиков-исполнителей», и они с большой охотой подписывают свои имена. В придачу к этим пылким славянам Бестужев поручил мне просить вас набрать и здесь несколько решительных офицеров. Наше дело, как видно, двинулось...

— Опасаюсь пылкости Васильковской управы, — усмехнулся Юшневский. — Подкрепленная к тому же славянами, как бы она не сделала неосторожного шага,

который все сорвет. Действовать надо совместно, и руководство должно быть едино.

— Я уже думал об этом, — отозвался Пестель, — и вот предлагаю Сергея Ивановича Муравьева включить в члены Директории.

— Необходимо восстание начинать именно вам, Павел Иванович. У вас в руках «Русская правда»! — воскликнул Лорер. — Чем удержать власть? Если не ею, то — нечем. А прочее все сейчас в порядке: Северное общество, конечно, соединится в движении с Южным. Самое большое и длительное сопротивление нашим планам оказывал Трубецкой со своей отраслью, а сейчас он уехал в Петербург, увозя с собой решение Южного общества — выступать в двадцать шестом году.

— Для начала нашего выступления сил достаточно, — сказал Пестель, — а вместе с Васильковской управой, славянами, с опорой на верных солдат-семеновцев, а там и северян — добьемся полной победы. Согласен с вами, Лорер, начало должно пойти именно от нас, когда мой Вятский полк вступит первого января в караул. Я уже просил Крюкова-второго уведомить членов, служащих в квартирмейстерской части, чтобы они заготовили себе армейские мундиры... Вятский полк должен будет вступить в Главную квартиру, и тотчас надо арестовать главнокомандующего и начальника штаба. Через Заикина передадим приказ не выпускать никого из Главной квартиры.

Пестель с минуту помолчал, переводя взгляд с Юшневского на Лорера. Потом добавил, болезненно наморщившись, — вспомнил Майбороду:

— Но этот план, друзья, надо хранить в глубочайшей тайне. Слишком много предателей...

Лорер схватил Пестеля за рукав.

— Полковнику Ентальцеву, как вы, Павел Иванович, решили, отдан приказ держать свою роту наготове уже с начала декабря. Волконский двинется с теми войсками, которые ему удастся сразу поднять. К нему пристанет Давыдов, и они вместе нагрянут на военные поселения. То-то будет им пышная встреча. Там только и ждут...

— Одно, Лорер, надо крепко держать в уме, — перебил Юшневский, — если после переворота не будут без промедления применены положения Павла Ивановича из «Русской правды», то кровопролитие, все бедствия и труды окажутся напрасными.

— Меня огорчает, — сказал Пестель, задумчиво шагая по комнате, — что иные члены Северного общества все еще не могут до конца понять всего, что хотел я сказать своей «Русской правдой».

— А вы полагали, Павел Иванович, что для признания истины людям достаточно одних логических доказательств, одной силы вашего разума?

— Моя работа написана на пользу всех людей, — сказал со скромным достоинством Пестель. — Менять в ней что-либо в угоду тем, которые не понимают истинных задач, я решительно не имею права...

— Ни слова, ни буквы нельзя в ней менять, — с жаром подхватил Лорер. — Ваша «Русская правда», Павел Иванович, — на благо всех людей. И я чую — потомки высоко оценят в ней как раз то, что иным нашим современникам сейчас не по плечу. Вы в конституционном законе первый сказали о том, что́ необходимо для блага человечества. Вы сказали, что освобождать мужиков от

рабства надо не с сумой, а с землей. И эта ваша заслуга останется в веках.

— Ну, Лорер, — весело улыбнулся Пестель, — вы уж слишком высокую ноту взяли.

— А что ж, мне на низах вместе с Матвеем Муравьевым прикажете?

— Любопытно, — сказал Юшневский, набивавший в углу свою трубку, — говори, какие у Матвея соображения?

— А такие, — по-детски рассердился Лорер, — что он «Русскую правду» бранным словом обзывает: ги-по-те-за!

Все рассмеялись.

— Ну да, обзывает. Такая гипотеза, каже, что про нее одному богу известно, чи применима она, чи нет! А по поводу «раздела земель» он зубами скрипит...

— Ну и пусть скрипит, — махнул рукой Юшневский.

— Павлу Ивановичу должна быть памятна иная оценка его работы. Помнишь, что сказал тебе умнейший из членов нашего Общества — Лунин?

— Ну, как же, Михаил Сергеевич! — И лицо Пестеля просияло улыбкой.

— Ознакомившись с твоей рукописью, он сказал: «Храни ее как зеницу ока. Для правительства во всем нашем деле важней всего сыскать «Русскую правду» и сгноить ее в пыли архивов». Этот знал ей цену!

— Вот кого хотел бы я видеть, вот кому сейчас быть с нами! — вырвалось у Пестеля. — Лунин — человек дела, а не слов... Однако ему, как и Чаадаеву, в нашей действительности не было возможности применить свой политический и государственный ум, и он растрачивался на ерунду.

— Но с каким блеском! — перебил Юшневский. — Правда, это было в годы его юности, полные неуемных сил, когда он и Волконский, молодые кавалергарды, стояли летом на Черной речке и пугали полицию своими ручными медведями. В жаркое петергофское лето командир запретил им купаться в море, решив, что публике неприлично будет узреть гвардию обнаженной. И Лунин, завидев как-то коляску командира, взял да и прыгнул в воду как был — в полной парадной форме, с кивером и в ботфортах. Дерзко отрапортовал: «Купаюсь, выполняя данный вашим превосходительством приказ о приличии».

— Хорош и ответ его государю, — припомнил Пестель, — когда после очередной лунинской шалости Александр при публичной с ним встрече процедил с надменностью: «Про вас говорят, Лунин, что вы не в своем уме».

Юшневский засмеялся, досказал:

— Тогда Лунин отрезал царю: «То же самое говорили и про Колумба». Когда же он подал в отставку, чтобы уехать за границу, Александр с удовольствием отставку подписал, сказав: «Вот это самое лучшее, что Лунин смог выдумать».

— Не любит наш царь слишком умных... — усмехнулся Пестель. — Недаром пришлось Пушкину написать про другого такого умницу, Чаадаева: «Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес, у нас он офицер гусарский».

Помолчали, погруженные каждый в свои мысли.

— Дорогие друзья, — сказал внезапно Пестель. — Подобно тому, как наш «властитель слабый и лукавый»

стал во главе всех темных сил, враждебных духу свободы и благоденствия народов, дадим себе слово, что в случае победы нашего великого дела мы все силы положим на то, чтобы новая Россия стала во главе всего мыслящего человечества. Доблестной целью поставим, чтобы Россия повела к освобождению и народы Европы и Азии...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В середине ноября Пестель укрыл свои бумаги. Он сжег главу шестую, самую опасную — о «Верховном правлении». Остальная рукопись в большом пакете вместе со стихами Барятинского и записками «О поземельном вопросе» Крюкова-второго, надежно завернутая и зашитая, была зарыта в землю.

Наступили тревожные дни. О доносе догадывались, чувствовали, что правительство что-то замышляет...

Пестель еще больше замкнулся, подолгу молчал, сидя с Лорером в кабинете. Даже огня не приказывал Степану зажигать, — так казалось лучше обдумывать положение. И, в странном согласии с его настроением, возник как-то вечером в этой полутьме человек, посланный от Сергея Муравьева с запиской: «Общество открыто. Если будет арестован хоть один член, я начинаю дело». На другой день заволновалась Тульчинская управа, все называли имя предателя, и Лорер должен был с печалью удостовериться, что его предчувствие сбылось: имя предателя — Майборода.

Члены тайного общества духом не падали. У них была надежда на всем известную нерешительность

Александра. Думали, что не станет принимать крутых мер, — ведь до сих пор еще не дан ход доносу Шервуда.

Унтер-офицер Украинского полка Шервуд, родом англичанин, вкрался в доверие к пылкому Федору Вадковскому, значение которого для тайного общества Пестель ценил столь высоко, что считал его одним из руководителей организованной им в Петербурге группы молодых.

«Я живу и дышу только той священной целью, которая нас объединяет», — писал Вадковский Пестелю. Но эта пылкость характера повредила не только ему самому, но и всем друзьям его по тайному обществу.

Из футляра скрипки, где хранились у Вадковского секретные документы, Шервуд выкрал список членов тайного общества и, переписав его, представил императору через Аракчеева. Благодаря своей настойчивости он добился свидания личного, но Александр отправил Шервуда обратно к Аракчееву, чтобы тот измыслил, как дальше действовать относительно заговорщиков. Сам же император спешно уехал в Таганрог.

Просочились слухи, что Александр все-таки призвал начальника военных поселений графа Витта для грозного выговора:

— Что делается у вас? Везде заговоры, везде тайные общества, а вы ничего не знаете!

Витт нашелся ответить, что уже знает многое, и перечислил поименно тех же, ранее указанных Шервудом, главных заговорщиков, центром которых объявил Пестеля. Свое промедление с заявлением царю объяснил желанием еще основательней захватить все нити заговора.

С какой быстротой развернулись бы аресты и всяческие меры пресечения, неизвестно. В стране произошли внезапные события.

Александр уехал в Таганрог, сопровождая свою больную жену. Покинув столицу, он чувствовал себя как частный служащий, получивший долгосрочный отпуск и прежде всего желавший хотя бы временно забыть все государственные заботы...

И сейчас, когда тут, на отдыхе, его все же настигло самое неприятное из беспокоивших дел — новый подробный донос Майбороды о тайном обществе, он стал усиленно вызывать к себе «без лести преданного» наперсника.

Аракчеев пребывал в своем новгородском имении Грузино, где он предавался чрезмерной скорби: дворовые люди убили его возлюбленную Настасью Минкину, знаменитую своей жестокостью.

Но, хотя царь написал длинное письмо Аракчееву и направил тайное послание архимандриту Фотию, дабы тот обеспечил его приезд, — ничто не помогло. Аракчеев не двигался из Грузина, где тягчайшими пытками, учиняемыми чуть ли не всей дворне поголовно, добивался узнать имена убийц Минкиной.

Александр, расстроенный поведением своего «любезного друга» и предстоящей необходимостью самому заняться удручающими делами, поехал для укрепления нервов в кратковременную поездку по южному берегу Крыма.

Из Крыма император вернулся в Таганрог совершенно больной. Писали в Петербург его матери Марии Федоровне и врачи и невестка-императрица о жестокой крымской лихорадке. Затем на короткий срок здоровье

Александра улучшилось, но это оказалось лишь кризисом смертельной болезни.

Когда, вследствие ужасных дорог и непомерного расстояния, весть об улучшении здоровья царя достигла столицы, он уже несколько дней, неумело набальзамированный, лежал на столе.

Во время благодарственного молебна о здравии Александра в Петербург прибыл курьер с извещением о его смерти, и без промедления великий князь Николай приказал молебен заменить панихидой. Перепуганный дворцовый священник, только что во весь голос хвативший «многие лета», должен был сразу, без передышки, провозглашать «вечную память».

Царь умер 19 ноября, а в «Северной пчеле» только 28 ноября 1825 года в траурной рамке по всем страницам внутренних известий было напечатано:

«Прибывший 27 сего ноября из Таганрога курьер привез плачевную весть о кончине его величества государя императора Александра Павловича».

При первом известии о сем неожиданном несчастье августейшие члены императорского дома, государственный совет и министры собрались во дворце, где «его высочество великий князь Николай Павлович» сначала, а за ним все собравшиеся чиновники приняли присягу в верности новому «его императорскому величеству, государю императору Константину Первому».

И тотчас портреты этого курносого, как сам Павел, свирепого взором Константина появились в витринах художественных магазинов. По соседству с ним, как бы невзначай, кое-где были выставлены портреты недавно прославившихся вождей испанской революции — генералов Квирога и Рафаэля Риэго.

Еще когда Николай и не помышлял о короне, известная своими «пророчествами» баронесса Крюденер взволновала его однажды загадочным к нему обращением. Пронзая великого князя своим исступленным взором, с фанатизмом, который, как говорили, на некоторое время всецело подчинил ее влиянию императора Александра, придворная пророчица изрекла:

— Препояшьте чресла ваши. Ожидайте знамения свыше.

Баронесса знала, что говорила. Близость к Александру давала ей сведения, сокрытые от всех. Она учла и слабое здоровье царя и неизвестный даже Николаю манифест Александра, где он, минуя старшего брата Константина, передавал отечественный престол Николаю.

Николай, привычно скрывая от всех свои мысли и чувства, стал ожидать «знамения свыше» уже с 19-го года, с того памятного дня, когда Александр, особенно довольный им как бригадным командиром, пришел к нему запросто обедать.

— Вдвойне обрадован твоими военными успехами, — сказал он брату с той сладчайшей улыбкой, за которую в семье и при дворе ему был присвоен титул «ангела». — Я смотрю на тебя как на своего заместителя, ведь Константин формально решил отказаться...

Ни для кого не было секретом, что цесаревич Константин вскоре после 11 марта сказал генералу Саблукову, верному приверженцу Павла:

— Хороша была каша! После того, что случилось, брат может, если хочет, царствовать, но уж я, слуга покорный...

И позднее он говорил Михаилу:

— Я женат, к счастью, не на владетельной, а на простой смертной, да в придачу — польке. Уступаю престол Николаю.

В 22-м году Константин написал письмо о своем отречении Александру. Ответ пришел через месяц: «Уважая причины, Вами изложенные, даю полную свободу следовать Вашему решению».

Наконец в 23-м году этот семейный акт отречения Александр облек силою закона: Филарету, митрополиту московскому, предложено было написать проект манифеста, который царь и подписал в Царском Селе. В манифесте произнесено наконец имя преемника: «Наследником нашим быть второму брату нашему Николаю Павловичу».

Казалось бы, чего естественней: манифест этот обнародовать, приучить к поминовению в церквах Николая наследником и обеспечить ему вступление на престол без всяких потрясений.

Но Александр поступил наоборот: в великой тайне приказано было хранить манифест в Москве, в Успенском соборе. Для Петербурга на списке, сделанном рукою Голицына, Александр начертал: «Хранить в Государственном совете».

И так в обеих столицах хранился втайне документ, определяющий после смерти Александра положение Николая.

Сановники, начиная с адмирала Шишкова, твердили, что такая громадная империя и часу не может пребывать без императора, и Николай после смерти Александра немедленно присягнул, как по закону престолонаследия полагал правильным, своему следующему по старшинству брату — Константину.

Междуцарствие и связанные с ним события возникли в связи с сокрытием манифеста, где указано было имя наследника престола — Николая. Что вызвало такое коварство Александра? Быть может, он знал: несмотря на внешнее добровольное отречение Константина, мысль о русском престоле он не оставил. И пока он держал в руках польскую армию и литовский корпус, опубликование манифеста казалось Александру делом небезопасным.

Николай успел восхитить прусский двор мастерством по части «фрунтовых учений», а всю Европу — огромным ростом и для русского глаза невыразительной, почти классической правильностью своих «аполлоновых» черт. Правда, кое-кто насмешливо прибавлял — «Аполлон с флюсом», намекая на некоторую припухлость его щек.

Царь долго держал Николая в должности бригадного командира и только перед отъездом в Таганрог дал ему дивизионного. Это повышение не помешало Николаю на маневрах в Бобруйске блеснуть отличным знанием ружейных приемов и таким мастерством барабанного боя, что современники этот его талант запомнили для истории.

Едва Николай присягнул Константину, на него накинулась мать, Мария Федоровна, и ей вослед, рыдая, восклицал Голицын:

— Что вы наделали! Волею покойного императора наследник престола — вы. Существует его манифест...

— Который неизвестен ни мне, ни народу, — нашелся ответить Николай.

И началась, по выражению современника, «игра короной в волан». Действительно, с наследием русского

престола семья Романовых обращалась как с личной собственностью.

Константина умоляли приехать, заявить об отречении всенародно или написать официальным языком свое прежнее решение, подтверждающее манифест покойного императора.

Но Константин никуда из Варшавы не двигался и только присылал непристойные письма, огласить которые было невозможно. Сидя в Варшаве, Константин злорадствовал: сами кашу заварили, сами и расхлебывайте!

А время шло... Однажды Николай был разбужен в шесть утра для принятия пакета «о самонужнейшем» от начальника штаба генерала Дибича из Таганрога. Такой же пакет послан был и в Варшаву, потому что в Таганроге не знали, кто является новым государем и где он находится. Николай пакет вскрыл, о чем и записал в дневнике: «Дело шло о существующем и только что открытом пространном заговоре, отрасли которого распространялись через всю империю, от Петербурга на Москву и до Второй армии в Бессарабии».

И, призвав к себе генерала Воинова, который командовал гвардией, Николай приказал ему собрать в понедельник 13 декабря к нему во дворец всех генералов и полковых командиров:

— Долженствует мне лично им объяснить весь ход происходившего в нашей семье и поручить им растолковать сие ясным образом своим подчиненным, дабы не было предлогу к беспорядку. — Он все еще считал, что вопрос о престолонаследии есть дело семьи.

Между тем император Александр все-таки успел перед смертью дать поручение генерал-адъютанту Черны-

шеву расследовать историю тайного общества и по указанию предателей арестовать главных зачинщиков.

Генерал-адъютант Чернышев появился в Тульчине.

С отличавшей его самоуверенностью Чернышев объявил командующему войсками, что он поедет по полкам армии, чтобы по имеющемуся у него в руках списку арестовывать всех членов тайного общества. Но граф Витгенштейн, человек просвещенный, сын которого был близок к тайному обществу, решительно пресек служебную прыть Чернышева, объяснив, что на такой поступок надо предъявить «именное повеление».

— К тому же, — присовокупил он, тонко улыбаясь, — всего более опасаюсь в сем случае, как бы войска, пораженные повальным арестом любимых офицеров, не арестовали бы вас самих!

Взамен неудавшегося плана Чернышева дан был приказ о сборе всех полковых командиров в Тульчине.

Пестель не захотел ехать. Он велел уже передать начальнику штаба, генералу Киселеву, что внезапно заболел. Но за ночь передумал.

На рассвете послал он своего денщика Степана за Лорером, прося его немедленно прийти.

У квартиры Пестеля уже стояла, совсем готовая в путь, его дорожная коляска. Сам Пестель, спокойный, как обычно, провел Лорера к себе в кабинет:

— Я еду в Тульчин... Будь что будет. Вот захотел еще раз с вами повидаться. Посидим немного.

Сидели молча на том диване за столом, где столько было переговорено о самом заветном. Сейчас угнетала неизвестность, и тяжкое предчувствие сжимало сердце.

«Неужто, — думал Лорер, — так, без всякой борьбы, и сложить оружие?» И, продолжая думать вслух, он тихо сказал:

— Если не ошибаюсь, Павел Иванович, подполковник Ентальцев держит свою конно-артиллерийскую роту наготове с начала декабря...

Пестель, угадывая направление мыслей Лорера, прервал его:

— Вы забыли, что начало действия предполагалось только в январе двадцать шестого года. Оно связано было с назначением моего Вятского полка в караул, как вам известно. Тут и Волконский успел бы подготовиться и поднять всю бригаду, тут, конечно, и Ентальцева рота могла бы кинуться к военным поселениям, рассчитывая на их великое недовольство. Да и мы с вами не сидели бы сложа руки. Но сейчас никому из намеченных командиров и с места не сдвинуться.

— Окружены, — сказал с горечью Лорер. — Спутал царь наши карты. Не только живой, он и мертвый нам навредил.

— Да, — согласился Пестель, — и потому сейчас, если грянет беда, лучше пасть жертвой самому, чем начать бесполезное кровопролитие. Я счастлив тем, что моя «Правда» уцелеет, сделает свое дело...

— И переживет нас всех, — с глубокой верой досказал Лорер.

Товарищи крепко обнялись. И Пестель уехал. Лорер долго стоял на крыльце, глядя вслед давно скрывшейся из виду коляске, потом пошел не к себе на квартиру, а за город по направлению к дубовому лесу. Вспоминал, что эти последние дни Пестель был особенно внимателен к своим друзьям и все существо его, полное бод-

рости духа, словно намагничивало всех, его окружавших. Скупой на откровенность, он впервые рассказал Лореру одно происшествие из своей ранней юности, которое сейчас показалось Лореру особенно значительным. В детстве, когда Пестеля со старшим братом Владимиром отец отправлял для воспитания в Дрезден, он в Кронштадте купил для мальчиков два места на купеческом судне. Все уже было готово к отъезду, сыновья простились с отцом, как вдруг по каким-то, ему одному ведомым, соображениям отец надумал на этом судне ни за что не отпускать мальчиков. Они выполнили его волю, хотя немало подивились внезапному капризу отца. Велико же было их удивление, когда, прибыв благополучно в Дрезден, братья узнали, что оставленное ими судно не дошло до места назначения и без следа потонуло в море со всеми своими пассажирами. Рассказав об этом, Пестель, улыбаясь, прибавил: «Истину русская пословица говорит: кому быть повешену, тот не потонет. Вот со мною последнего и не случилось...»

Ужасная тоска охватила Лорера. Он бродил в дубовом лесу, пока не промерз до костей. Вернулся поздно ночью домой, заснул как мертвый.

На другой день доложили Лореру, что из Тульчина привезли закованного в кандалы Степана Савченко, денщика, который сопровождал туда Пестеля.

Лорер, как заменяющий командира Вятского полка, имел право пройти к арестованному.

— Что сделали с Павлом Ивановичем? — спросил он зарыдавшего Савченку.

— Под крепким караулом мой барин. Посадили за решетку в монастырскую тюрьму, что на горе. Не уйти ему...

События развились следующим порядком.

Главнокомандующий граф Витгенштейн отдал дежурному Второй армии Байкову приказ такого содержания:

«Коль скоро прибудет к заставе полковник Пестель, велите отвезти его прямо к вам в дом и объявите ему моим именем, что он арестовывается и должен под арестом находиться у вас вплоть до особого распоряжения».

Байков не замедлил выполнить приказ об аресте, о чем прислал графу соответствующее донесение:

«С разрешения и приказания вашего сиятельства поставил на шлагбаум одного жандарма с письмом к Пестелю, чтобы он ехал прямо ко мне на квартиру для получения приказания. По уходе всех бывших у меня лиц я объявил Пестелю арест. Назначил ему одну из моих горниц, куда поставлен был караул с указанием никого к нему не допускать, кроме вашего сиятельства. А сверх того был секретный надзор над моей квартирой от военной полиции. Но так как означенная горница была не только не готова, но и не отоплена, что по холоду и его болезни требовалось, то он весь день находился при мне. Через некоторое время вошел в горницу, где я находился с Пестелем, генерал-майор князь Волконский в полной парадной форме и на вопрос мой ответил, что он прибыл по делам службы...»

На самом деле Волконский сразу понял все обстоятельства и при Байкове не спросил у Пестеля ничего важного. Когда же Байков вынужден был выйти по неотложному делу, ненадолго оставив их вдвоем, тот сказал Пестелю по-французски: «Мужайтесь!» На что получил спокойный ответ:

— Мужества у меня довольно. А вы немедленно уничтожьте все бумаги, всё, что относится к моей «Правде». Обыск у вас неминуем.

Первой мыслью члена Южного общества Александра Поджио, который оказался в Тульчине, было двинуть все силы на освобождение Пестеля. Еще в 24-м году он знал о плане восстания дивизии Волконского и предполагаемом захвате Вятским полком Главной квартиры. А что, если это вдруг удастся и сейчас?

Поджио через Ентальцева передал Волконскому письмо, где были отчаянные слова: «Гибель при открытии Общества неизбежна. Казнь ожидает всех, милосердия не будет...»

Поджио убеждал, заклинал спасти Пестеля. Напоминал о плане 26-го года, ему известном. Приводил слова Пестеля, которые помнил наизусть: «Двинуться с готовыми полками Девятнадцатой пехотной дивизии. Присутствия Волконского достаточно к склонению полка Первой бригады, а к ней и другие присоединятся... Сделать нападение на Тульчин. Арестовать верхушку Второй армии».

Прежде всего Поджио хотел установить отношение Каменской управы к восстанию. По замыслу Пестеля, Давыдову, главе Каменской управы, предоставлялось широкое действие в военных поселениях, но Поджио натолкнулся на совершенную растерянность и малодушие Давыдова.

— Ты спутал. Революционный план Павла Ивановича упирался прежде всего в Петербург. Там надо начинать, говорил он. Мы могли здесь только подхватить. Да и Волконский один, сам собой, ничего не значит.

Восстание могло быть возглавлено одним лишь Пестелем. Дайте мне Пестеля — дело другое.

Поджио убеждал Давыдова ехать вместе к Волконскому, просил передать Сергею Муравьеву решение о восстании. Давыдов, совсем потерявшийся, все отклонил. От Волконского же, который пребывал с семьей в Умани, пришло письмо, что никакого восстания он без Пестеля начинать не может. И, правда, почти сразу вслед за Пестелем арестован был он сам, а также Барятинский, Юшневский, Крюков-второй. Тульчинская директория перестала существовать.

* * *

Тульчин — город на Подолии, принадлежавший графу Потоцкому, получен был Россией по второму разделу Польши. В центре его стоял роскошный дворец Потоцкого, построенный архитектором Лакруа, с белой колоннадой ионического ордена. Вокруг дворца — широкий парк. За межами графской усадьбы по холмам ютились хатки жителей. Над местечком, на горе, высился древний католический монастырь Бернардинского ордена с крепкой тюрьмой.

В одной из ее одиночных келий Пестель просидел со дня своего ареста до дня, когда его отправили в Петербург, чтобы третьего января предстать перед Николаем в его дворце. За эти три недели у Пестеля было время подумать. И он думал о деле своей жизни, о «Русской правде».

Он знал, что Майборода подал свой донос и, конечно, там было сказано о сокрытии бумаг. Пестель понимал,

что «Русская правда» окажется главной статьей обвинения и допросы будут жестоки.

Подготовка к организуемому Пестелем восстанию 26-го года началась летом 25-го года. Велась она в совершенной тайне, потому что в предательстве Бошняка уже не сомневались, Майбороду подозревали, и просочились слухи, что унтер-офицер Шервуд уже явился к царю с доносом.

Опять вспоминались слова Михаила Сергеевича Лунина, сказанные по поводу «Русской правды»: «Храни ее как зеницу ока. Нашему правительству всего важней будет разыскать ее...»

Тогда, ночью, Савченко и Заикин с Лорером упаковали и увезли его бумаги. Но какова их судьба, Пестель не ведал сейчас. Быть может, все уже обнаружено?..

И, словно готовясь к защите своих позиций, Пестель снова и снова пересматривал в уме основные положения своей «Правды».

Из борьбы против крепостной системы родилась борьба против царизма. Надо было научить людей, как им бороться, чтобы победить. Путь к освобождающей победе над государством насилия и произвола и есть «Русская правда».

Встал в памяти, как живой, Лунин, со своей иронической улыбкой говоривший:

— Пестель сперва хочет написать энциклопедию, а уж потом сделать революцию. Да тут двух жизней не хватит...

А вот и неверно. Хватило одной жизни, и очень короткой, чтобы сказать самое главное, самое нужное, что должно быть совершено для освобождения народа.

«Еще немного, — думал Пестель, — и все бы поняли всё до конца. Какая получилась бы силища!»

Вариант «Русской правды», принятый на киевских контрактах 23-го года, был всего только первым. Второй, поистине революционный, еще не получил своего окончательного выражения. Он еще только созревал. Но закончить все десять глав конституции, как Пестель предполагал, он все же не успел.

Он трудился над планом ее каждую свободную минуту, он жертвовал этой работе счастием личным, подавлял всякое желание пользоваться теми радостями жизни, которые предоставляло ему его положение в свете, молодость, таланты.

Шагая целыми днями перед решеткой окна своей кельи, Пестель мысленно анализировал свой труд, подводил итог жизненному пути. «Ну что же, — думал он гордо, — я ни о чем не жалею».

...Раньше, когда он стоял еще за конституционную монархию, ему страшно было ломать жизнь, но мысль, начав работать, не унималась, вела дальше. И, придя к неизбежным последним выводам, он принял республику как цель и уже незыблемо оставался верен ей. Что же было исходной точкой морали Пестеля? Что положено в основу всего? Только одно — природа самого человека. В ней одной искал он источник его обязанностей и его прав. Он твердо верил, что цель гражданского общества — благоденствие всех и каждого в отдельности. И потому главная задача «Русской правды» — установить государство на крепких основах. Народ — не чья-нибудь собственность. Народ должен представлять из себя устроенное гражданское общество.

Отвергнув принципы сословных привилегий и иму-

щественных различий, Пестель почитал истиной идеал равенства политического, предоставляя каждому гражданину одинаковый голос в системе государственного управления. И потому он назвал свой труд «Русской правдой».

«Но какую бурю встретит в дворянстве положение «Русской правды», что сословия должны быть уничтожены? Что все люди государства должны быть уравнены в правах гражданских? Что все граждане должны быть равными перед законом?»

Пестель метался по тесной келье, время от времени, забываясь, начинал думать вслух. Спохватывался, озираясь на дверь.

«Да, в позднем варианте «Правды» нет и намека на права дворянства... На права, хотя бы и заслуженные услугами отечеству. Раньше я их мнил сохранить. Теперь же без всяких исключений настаиваю: все сословия должны быть уничтожены. Все!»

* * *

...В низкой келье с толстыми стенами стояла промозглая, какая-то вековая сырость, как в старом склепе.

Сквозь узорную решетку Пестель мог видеть внизу предместье города — белые домики, населенные бедной шляхтой и евреями. Дальше — холмы, поля, лес...

Небо было синее, морозное. Солнце разукрасило бедное местечко так, что оно казалось нарядным со своими оснеженными тополями, похожими на минареты восточного города. Ребята, громко хохоча и толкаясь, скатывались с косогора далеко вниз на ящичке, превращенном в ледышку, зарывались в снег, играли в снежки.

Пестель глядел на них неотрывно. Он так страстно хотел всему забитому нуждой народу не только благосостояния и свободы, но и простой человеческой радости! Сколько надежд возлагал он на то, что при пользовании общественными землями неизбежно родится теснейшая связь между жителями одной и той же волости! Ведь если общественная земля станет источником одинаковых жизненных интересов и надежд, она объединит всех, как мать, сольет в единую крепкую семью. И новым праздником, первым гражданским общественным торжеством станет произнесение присяги отечеству недорослями, достигшими пятнадцати лет. Их вступление в гражданское состояние должно быть обставлено с особой любовью. «Для наших свободных и радостных юношей мы обязаны создать торжественный и пышный «День гражданина», дабы он был им памятен до преклонных лет!»

Пестель забылся, шагнул к толстой двери, дернул ее — массивная дверь была на крепком запоре. В окно, сквозь узорчатую решетку, неизменно виднелись штыки часовых.

Пестель устало опустился на убогую кровать, — острая боль в ноге, раздробленной под Бородином и плохо залеченной, заставила его прекратить хождение. Но мысли роились в голове, мозг его продолжал свою работу: пояснить — то ли судьям, то ли самому себе, то ли будущему поколению это громадное дело всей его жизни...

«У моей «Русской правды» два лица. Поймут ли это?.. Одно лицо, которое известно Южному обществу, — самый ранний план конституции. Другое — то окончательно додуманное, что напряженно и неустанно созре-

вало с двадцать четвертого года. Этот последний, гораздо более смелый, вариант так и останется, видимо, лишь моим собственным достоянием да немногих друзей, — с грустью подумал Пестель, но тут же лицо его прояснилось: отрадно было вспомнить, что все-таки успел продиктовать Бестужеву «Государственный завет», где имеются хотя бы основные положения республики и гражданского равенства. Их уже усвоили и южане и примкнувшие к ним славяне. — Кто-нибудь сохранит. Мысль, высказанная до конца, уже существует в умах людей отдельно от меня. У нее уже своя судьба...»

По ночам болела голова. Сырость становилась еще пронзительнее, чем днем. Мысли не повиновались. Сами собой, непрошеные, вставали образы... Вот склонный к вольнодумству начальник штаба, генерал Киселев, в своем кабинете внимательно слушает отрывки из «Русской правды», порой одобрительно кивает с лукавым восклицанием по адресу Пестеля: «О, Макиавелли!» Мог ли Киселев думать, что так скоро придется ему делать обыск у восхищавшего его автора, унизительно шарить в ящиках его письменного стола, рыться в огороде в поисках этой рукописи, весьма ему знакомой?

«Ничего не найдете, генерал, — усмехнулся своим мыслям Пестель. — Все, все сожжено или зарыто, кроме разве личных писем, среди которых и ваше, очень дружеское, в котором есть такие строки: «У вас сильная воля, Макиавелли, и пред вами все возможности применить ее хорошо к делу — женитесь и покинете службу, чтобы жить в созерцании...»

Для читающего с подозрением не покажется ли нечто странное в этом письме начальника штаба, выходя-

щем за уровень узаконенной формальности? Особливо когда докопаются, что этого генерала прочили на первые места в новом республиканском правлении.

Пестель спал короткие тревожные часы. Однажды ему приснился давно забытый Пажеский корпус и он сам — камер-паж в расшитом золотом мундире. На мраморной доске золотыми буквами выводят его имя, фамилию и год выпуска, когда он удостоен этой великой чести.

Проснулся, подумал, что ведь на мраморной доске он не во сне, а действительно был отмечен золотом после экзаменов в присутствии государя в 1811 году. Испытания выдержал первым по списку... Вдруг вспомнил, что ведь и Александр Николаевич Радищев был тоже пажом, учился в том же высшем военно-дворянском корпусе.

Быть может, те же тяжкие впечатления от придворной жизни и вызвали в обоих первый протест против неравенства...

«А мраморную доску с моим золотым наименованием, — иронически подумал Пестель, — правительство, увлеченное своей местью, уж конечно, теперь разобьет. Ну, и пусть разбивает...»

Пестель поднялся, подошел к окну. Через узкие просветы решетки виднелась холодная луна. Под окошком поблескивали штыки сторожей...

«Радищев присужден был к смертной казни. За что? За смелость мысли. Но разве возможно удержать мысль в оковах?.. Прошло полвека, и мысли Радищева воскресли с новой силой. Моя «Русская правда» для царской власти так же опасна, как в свое время оказалось «Путешествие» Радищева для Екатерины».

* * *

И целыми днями томительного одиночества сверлила Пестеля тревога: «Что в Петербурге? Как Сергей Муравьев, Бестужев? Что с товарищами?..»

ГЛАВА ПЯТАЯ

Что же происходило в тайном обществе в эти последние месяцы 1825 года?

Никита Муравьев взял длительный отпуск и уехал с женой в свое орловское имение. Ближайшими помощниками Рылеева теперь остались Николай Бестужев, Оболенский и Александр Бестужев, который уже несколько лет издавал вместе с Рылеевым альманах «Полярная звезда».

Все многочисленные Муравьевы состояли между собой в родстве, ближнем или дальнем. Но Бестужев-Рюмин и члены Северного общества — четыре брата Бестужевых — в родстве между собой не состояли, а были только однофамильцами. Эти две старинные русские фамилии играли большую роль в заговорах Севера и Юга.

Второй из семьи Бестужевых — Александр, блестящий гвардеец, адъютант герцога Вюртембергского, несмотря на свою порой обременительную военную службу, выдвинулся в первые ряды русской литературы под псевдонимом — Марлинский.

Это имя он избрал себе потому, что, когда начал печататься, полк его стоял в Петергофе, а сам он жил в знаменитом Марли.

Александр Бестужев носил нарядный мундир, вел светскую жизнь, богатую романами, служебными удачами и дуэлями. И вместе с тем он находил время для серьезного самообразования, редактировал с увлечением свой альманах и немало трудился над созданием нового литературного языка, такого же нарядного, приподнятого, каким был он сам. В придачу к большой одаренности, полный кипучих жизненных сил, Александр Бестужев по своему общественному развитию стоял в ряду с первыми людьми тайного общества. Он легко взрывался каскадом свободолюбивых речей, умело хлестал сарказмом насилие и несправедливость, которые составляли основу жизни всего аракчеевского быта, но Оболенский и Рылеев, несмотря на истинную к нему дружбу, возмущались, как часто он утомлялся иными теоретическими рассуждениями, спорами о преимуществах той или иной конституции и пригодности ее для России. Александр Бестужев, словно задорный мальчик, любил дразнить: «Вы мечтатели, а я солдат! Пусть вам мысль — мне свершение ее».

Другой помощник Рылеева и член Думы Оболенский, страстно приверженный идеям республики, однако, когда приблизилась пора действий, стал иногда задумываться, угнетаться сомнениями.

* * *

Пасмурным ноябрьским утром в кабинете Рылеева сидел Оболенский и, глядя на участливое лицо друга, говорил невесело:

— Счастливец ты, Кондратий Федорович, тебя никакое сомнение не гложет!

— А ты сформулируй точно свое сомнение, может, оно, как дым, и рассеется, — горячо отозвался Рылеев. — Попробуем вместе. Что, собственно, тебя грызет?

— Вот подходит время ближе к действию, и стал я себя все чаще спрашивать: имеем ли мы право, мы — частные люди, едва заметная единица в огромном нашем отечестве, — предпринимать государственный переворот? Насильственно предписывать свой образ воззрения на жизнь, на быт тем людям, которые довольствуются настоящим или хотят лучшего будущего, но путем безболезненного исторического развития? Имеем ли право...

Рылеев прервал, возмущенный:

— Зачем ты тогда вообще в тайном обществе, если отрицаешь в основе его самую сущность? Ведь мы и есть те люди, которые решили заставить других людей стать умнее, добрее, справедливее, чем они есть. Что дает нам это право, спрашиваешь ты? Отвечу: мы увидели и осознали все, что является необходимостью для благополучия общего. Идея рождается и развивается свободно в каждом мыслящем существе. Если идеи эти бескорыстны, а про это каждый внутри себя знает с несомненностью, то это и есть ручательство, что они направлены на пользу общую, они есть выражение немногими лицами того, что большинство людей чувствует, но выразить не может. Тебе нужны доказательства? Вот, хорошо: едва такая всем нужная идея коснется слуха большинства, оно ее примет, как безводная пустыня, жаждущая дождя. Разве не наблюдал новичков, вступивших в наше общество?

В кабинет вошла Наталья Михайловна, жена Рылеева, сказала примиряюще:

— Идите спорить в столовую; завтрак на столе.

Однако на этот раз спор не затянулся.

Едва сели за так называемый «рылеевский русский завтрак», где по традиции непременно подавалась кислая капуста с большими ломтями черного хлеба, как в дверях появилась высокая фигура Трубецкого, нежданно приехавшего из Киева. Он уехал в Киев ранней весной, а приехал только сейчас, в половине ноября. Был он как-то по-новому важен, сосредоточен, словно у него в руках таился главный, нужный, недостававший всем ключ. Наталья Михайловна, пригласив Трубецкого к столу, тактично вышла из комнаты.

— На Юге у нас выработан окончательный план, — со значительным видом вымолвил Трубецкой. — Два корпуса уже несомненно в наших руках.

Остро глянув в темные глаза Рылеева, он выразительно спросил:

— А что же предложит Северное общество для содействия Южному?

Оболенский вспыхнул:

— За время вашего отсутствия, Трубецкой, Общество очень выросло численно, вы же, как мне известно, на свою ответственность еще никого в члены не приняли. А вот мы не побоялись...

И он стал перечислять поименно новых, им лично принятых офицеров. Рылеев тоже поспешил добавить:

— Я со своей отраслью могу подняться хоть сейчас.

— Мало набрать новых людей, — несколько надменно сказал Трубецкой задевшему его Оболенскому. — Надо их основательно и подготовить.

— В этом направлении на Оболенского нажимать не приходится, — мягко заступился Рылеев. — Уж чего

ревностней он обрабатывает новичков у себя в Коломне? Недавно «неодолимого спорщика» одолел...

Оболенский действительно усердно собирал офицеров в большом кабинете собственной квартиры. Здесь толпились кавалергарды, офицеры Московского, Финляндского, конно-гвардейского полков. Эти сборища посещал и сослуживец его по Генеральному штабу, живший в том же доме, — Яков Иванович Ростовцев, которого Рылеев и назвал «неодолимый спорщик».

У этого человека было странное, запоминающееся лицо: сжатый в висках лоб, глаза потухшие, без живого взгляда, всегда глядевшие куда-то в сторону, а не на собеседника, и совершенно скрытый усами узенький рот. Ростовцев пописывал стихи, был образован и радовался встречам в квартире Оболенского со столь известным уже поэтом Рылеевым. Поначалу Ростовцев держался убеждений монархических и, сверх того, выражал особенную приверженность к великому князю Николаю, которого Оболенский знал хорошо и ненавидел непримиримо. Тем энергичней Оболенский хотел открыть глаза Ростовцеву на всю возмутительность самодержавия. Он не жалел слов, чтобы перестроить весь склад мыслей Ростовцева согласно программе тайного общества. Последнее время Оболенскому казалось, что Ростовцев уже достоин вступить в Общество. Он сам его и принял в надежде, что постоянное общение с вольномыслящими товарищами оздоровит и укрепит новичка. «До весны 26-го года ему хватит времени стать полностью нашим», — надеялся Оболенский.

Но срок для восстания тайного общества наступил раньше предполагаемого. Для Севера и Юга давно было решено считать смерть Александра общим сигналом

к началу движения. Обстоятельства сложились так, что убивать царя не пришлось, он умер сам. О смерти царя члены тайного общества в Петербурге узнали только 27 ноября, а уже с 25-го, едва прослышали о плохом состоянии его здоровья, на квартире Рылеева стали обсуждать план восстания.

Старые и новые члены Общества толклись в тесноте маленьких комнат Рылеева денно и нощно, к ужасу и горю бедной жены его, которая сердцем чуяла, как горестно обрушится на судьбу ее мужа тяжким ударом все, что сейчас замышляется в его кабинете.

Приехали из Москвы Иван Иванович Пущин, друг Пушкина, и уже немолодой барон Штейнгель, после отставки державший в Москве отличный пансион для юношества. Как буря влетел в квартиру кавказский знаменитый офицер, капитан Якубович. Он давно грозился при первой возможности убить Александра, стремясь отомстить ему за обиду — несправедливый перевод из гвардии в армию. Общими силами капитана до времени удерживали от этого плана. Сейчас Якубович, с горящими глазами, казацкими толстыми усами и с черной шелковой повязкой на лбу, пробитом чеченской пулей, гневно рычал в кабинете Рылеева:

— Дождались, что царь умер сам. Это вы у меня его вырвали!

Трубецкой — подтянутый, с тем своим обличьем царедворца, в котором никак нельзя было открыть заговорщика, сообщил, что гарнизон и правительственные учреждения вслед за Николаем присягнули Константину. Страшно смущенный, он невразумительно толковал о том, что ему сейчас надо бы ехать в Киев...

Внезапная, уже осознанная необходимость действовать без малейшего промедления, очевидно, привела его в смятение.

Члены тайного общества, старые и молодые, окружили Рылеева, забросали вопросами: «Каков план? Когда начнем действовать?»

Рылеев с вдохновенным лицом, с неколебимым убеждением высказывал свою заветную мысль:

— Выступление необходимо! Нас грядущие поколения назовут подлецами, если мы пропустим этот случай и не свершим переворота. Сейчас минуты дороги: надо готовиться возможно полнее, чтобы содействовать Южному обществу, которое вот-вот подымется...

План восстания вырабатывался в непрестанных горячих прениях на квартире Рылеева, в борьбе мнений.

Якубович, сверкая возбужденными глазами, вскакивал с места и, пугая Настеньку, игравшую в соседней детской, кричал:

— Я знаю наш народ! Пусть валят в церковь, подымают хоругви, идут брать дворец. Клянусь, что возьмут!

Трубецкой приходил в ужас от криков Якубовича.

— Что это вы проповедуете? Да вы знаете ли состав населения столицы? Дворян всего сорок тысяч, а дворовых больше чем вдвое. А крестьян сто тысяч... Начнут сводить с господами давние счеты, и получится не революция, а черный бунт, пугачевщина.

Каховский сердито и неодобрительно твердил:

— Крови бояться не должно! Разить, да и только.

Но так велики были в этой революционно-дворянской среде боязнь движения народного, недоверие к самому народу, незнание и непонимание его, что все

предположения об участии народа в восстании были единогласно отвергнуты.

Вызвало улыбки и совсем наивное предложение Трубецкого: восставшие войска вывести за город и начать мирные переговоры с правительством.

Трубецкой спохватился и стал настаивать на ином варианте: движение восставших полков идет-де от казармы к казарме, и лишь когда наберется большое войско, командиры приведут его на Сенатскую площадь.

Рылеев, чтобы прекратить споры и положить конец разногласиям, думая только о часе, когда все разговоры должны будут отпасть и начнется действие, предложил избрать вождя военных сил.

— Не нам же с вами, фрачникам, брать власть военную? — обратился он к Ивану Ивановичу Пущину и барону Штейнгелю. — Диктатором надо избрать человека военного.

— Да, тут нужен крупный военный с чином, с блестящим боевым прошлым, с важными эполетами, — согласился Пущин. — Вот если бы наш Михаил Федорович Орлов сохранил свой былой революционный пыл — лучше его и не надо!

— То-то, что «если бы»! — сказал печально Рылеев. — Сейчас наш орел курицей стал. Как обрезали ему в Кишиневе крылья — других крыльев у него не нашлось, а женитьба ручным сделала. Кто б мог подумать! Ведь поначалу было не так.

— Карикатуры на него по Москве ходят, — отозвался с горечью Пущин, — на одной он изображен в детском передничке, словно писать учится: на доске мелом выводит слово «конституция», а жена ему пальцем грозит. А то еще: сидит паинькой, грузный

такой, на деревенском безделье разжирел, на растопыренных руках шерсть держит, а жена в большой клубок ее сматывает. Подписано: «Досуги Орла». Можно ль было такого от него ждать?

Рылеев поднялся с места.

— Если человека связать по рукам и ногам, то одно из двух: либо он впадет в апатию, либо наберется еще большей силы и порвет свои путы! — Он на секунду задумался, поискал глазами Трубецкого и, не найдя, продолжал: — Мы все-таки от имени всего Северного общества напишем Орлову... А пока, на ближайшие дни... Ведь в лучшем случае, если б Орлов немедленно выехал, он только девятнадцатого к нам может поспеть... Для немедленных действий предлагаю в диктаторы Трубецкого. Сегодня надо не ждать, надо найти среди нас. Кого же еще?

— У Трубецкого за плечами Бородино, — веско поддержал Пущин. —Он полковник, его храбрость личная — без упрека... Однако, — задумчиво добавил он, — ведь храбрость на поле брани одно, а доблесть гражданская — совсем иное. Но ты прав, выбора другого у нас нет.

Рылеев поручил своей отрасли — двум Бестужевым и Каховскому — вместе с ним упросить Трубецкого. Присоединился со своими офицерами и Оболенский. Трубецкой голосованием был выбран диктатором.

Среди разнообразных предложений, как и чем начать восстание, внезапно воскресло идейное присутствие Пестеля: начать с «Манифеста русскому народу», подписанного сенатом!

Пестель, еще будучи в Союзе благоденствия, выдвигал эту идею. Она подробно разработана была тай-

ными обществами. На этой идее объединился Север и Юг, приняв ее без каких-либо разногласий.

— Александр умер, царя нет, Константину еще не присягнули — вот момент для восстания! — восклицал Рылеев.

— Кроме того, всем известно, что Николая гвардия ненавидит за грубость, за то, что всех тянущихся к просвещению он иронически обзывает «философ» и сулит таковых «загнать в гроб чахоткою»...

— Из-за отсутствия царя само собой возникает понятное для народа наше обращение к сенату, — говорил Штейнгель, — не царя заставим дать конституцию — царя пока нет. И вот, я думаю, необходимо написать введение к «Манифесту». Оно начнется в таком роде: «Храбрые воины! Император Александр скончался, оставя Россию в бедственном положении. В завещании своем он предоставил наследие престола Николаю Павловичу. Но великий князь отказался, объявив себя к тому неготовым, и первый присягнул императору Константину. Ныне же получены известия, что и цесаревич решительно отказывается... Итак, они не хотят, они не умеют быть отцами народа...»

Рылеев взмахнул рукой, как бы останавливая, пересекая кому-то путь:

— Посредством сената созвать Великий собор, и до его съезда арестовать царскую семью!

Александр Бестужев крикнул:

— Можно забраться во дворец, я поведу, я знаю все ходы-выходы! Захват Зимнего дворца неизбежен, если мы положили арестовать царскую семью. И сделано это должно быть гвардейским Морским экипа-

жем. Подкрепить может Измайловский полк, благо у него старые счеты со своим бывшим бригадным командиром, ныне претендентом на престол.

* * *

Трубецкой написал «Манифест». Надлежало заставить сенат подписать этот «Манифест». Трубецкой перечислил в «Манифесте» все семь параграфов, в которых заключалось главное содержание нового управления, новой жизни русского народа.

На собрании в той же квартире Рылеева он своим глуховатым голосом прочел с большим волнением:

— Временному правлению поручается привести в исполнение следующее:

«Уравнение всех прав сословий. Образование местных волостных, уездных, городских и областных правлений. Образование внутренней народной стражи. Образование судебной части с присяжными. Уравнение рекрутской повинности между всеми сословиями. Уничтожение постоянной армии. Учреждение порядка избрания в палату выборных представителей, кои долженствуют утвердить на будущее время имеющий существовать порядок правления и Государственное законоположение».

Трубецкой перевел дыхание, обвел взглядом присутствующих.

— Вот какой «Манифест» должен подписать и всенародно оповестить сенат! — торжественно закончил диктатор, и присутствующих на собрании охватило такое чувство, будто они с мертвой точки бездействия

сдвинулись, перешагнули вдруг пропасть между словом и действием, и долгожданное началось...

— Кроме Зимнего дворца, нам во избежание беспорядков необходимо занять банки, почтамт и другие важные для жизни города пункты, — сказал поручик Финляндского полка барон Розен.

— Петропавловскую крепость захватят лейб-гренадеры, — командовал Рылеев, — их казармы на берегу Большой Невки, совсем вблизи крепости.

— Подтверждаю Рылеева, — воскликнул Бестужев, — именно гренадеры! Ведь вторая и третья фузилерные роты их полка занимают сейчас караулы в крепости.

— Я настаиваю, — сказал громко Трубецкой, перекрывая голоса, — чтобы войска, после выполнения сенатом наших требований, обнародования «Манифеста к русскому народу», вышли за город и стали вокруг него лагерем. Тут и будут они ожидать собрания губернских депутатов. Я полагаю, что именно лагерное, отнюдь не казарменное, положение будет держать войска в боевом напряжении.

Пущин рассмеялся:

— А я полагаю, что само содержание «Манифеста» — сокращение срока службы солдата и отмена крепостного права крестьянам — вспрыснет войско такой живой водой, что его не удержишь!

Барон Штейнгель не без озорства предложил самую, по его мнению, умеренную и не кровопролитную меру: объявить конституционной монархиней жену Александра — Елизавету Алексеевну.

— Договориться с женщиной нам будет легче, — улыбаясь, пояснил он. — Очень скоро от всякой власти

императрицу можно будет заставить отказаться. Поднесем ей наконец титул «Мать свободного отечества» и поставим еще при жизни монумент...

Одни смеялись, некоторые неуверенно поддержали. Однако в конце концов взяло верх решение Рылеева: держать всю царскую фамилию под арестом, пока Великий собор не решит ее окончательной судьбы.

Все бесспорно понимали одно: более благоприятного состояния войска, народа, всего столичного населения, чтобы начать восстание, быть не может. Надо действовать теперь, в дни этого странно затянувшегося междуцарствия...

* * *

Семнадцать дней продолжалась эта «игра короной в волан». Оба великих князя титуловали друг друга «ваше величество», но Константин не хотел отказаться от российской короны настолько официально, чтобы Николай мог ее на себя возложить.

Острили: есть государь названый, но нет действительного, и еще неизвестно, кто таковым окажется.

И еще лучше: вот живем без царя и того не замечаем, может, и вовсе обойтись без него?

Все упорнее носились и крепли слухи, что есть твердо выраженная покойным императором Александром воля, чтобы царствовал после него второй брат — Николай, минуя старшего — Константина. Для успокоения умов, конечно, необходимым казался приезд этого законного наследника русского престола Константина и новое, свежее, самоличное его отречение. Но члены царствующего дома дело, касавшееся судеб всего государства, продолжали рассматривать как

обстоятельство исключительно «семейное», поскольку Россия была для них только вотчиной. Константин, как и братья его, воспитанный в тех же правилах совершенного отсутствия ответственности перед страной, долга своего не ощущал вовсе. Он цинично и упрямо твердил свое, не двигаясь из Варшавы: «Пусть их сами расхлебают!»

Николай решил переехать в Зимний дворец и стал фактически править государством.

Солдаты волновались все сильнее. По казармам шли совещания, крепла уверенность в справедливости пущенных слухов, будто скрывают завещание Александра потому, что в нем есть параграф о сокращении срока солдатской службы, и другой, где крестьянам объявлена вольная...

Учитывая это солдатское встревоженное настроение, Рылеев с двумя братьями Бестужевыми — Александром и Николаем — решили начать подготовку к восстанию, не в силах оставаться дольше бездейственными.

По ночам они ходили теперь по всем караулам, останавливали каждого встречного солдата, обращались с горячей речью к часовым, к караульным, со всеми говорили языком простым, отчетливо внушая стремление отстаивать свои права. С прокламациями члены тайного общества уже опоздали, да и живая, убежденная и понятная речь показалась сильней печатного слова.

Холод декабрьской ночи, пронизанной особой промозглой петербургской сыростью, наградил Рылеева жестокой простудой горла, приковавшей его к постели. Но и в лихорадке, обмотанный фланелями, потеряв-

ший голос, он продолжал оставаться центром своего штаба восстания и его руководителем.

Наконец окончательный план переворота был выработан и сообщен всем видным членам тайного общества. Споров он больше не возбуждал. По этому плану восставшие полки, то есть те, которых удастся отклонить от присяги Николаю, собираются на Сенатской площади под военную команду диктатора. Угрожая оружием, войска заставят сенат подписать «Манифест к русскому народу» с объявлением отстранения царского правительства от власти. Крестьянам объявлена будет воля, войскам — сокращение срока службы и всеобщность воинской повинности. Пока не соберется Великий собор, власть переходит в руки Временного правительства.

Далее по этому, всеми принятому, плану занимают Зимний дворец моряки-гвардейцы вместе с измайловцами и берут под арест царскую семью. Между тем Финляндский полк и гренадеры овладевают Петропавловской крепостью. Окончательную судьбу царской фамилии определит Великий собор, он же выработает для России конституцию. Для охраны восставшей столицы войска выведены будут за город.

Очень много было разговоров о том, что крови надо пролить возможно меньше. Впрочем, у большинства членов тайного общества крепла уверенность, что обойдется и вовсе без крови, потому что русские войска в своих стрелять не станут, а начнут присоединяться к восстанию целыми полками.

Заговорщики полагали, что выводить восставших на площадь после завершения второй присяги — присяги Николаю — будет поздно. Краткий срок до пред-

стоящей присяги Николаю является наилучшим и, по мнению Трубецкого, «законным» временем для выступления и предложения сенату подписать «Манифест народу», оставленному без верховного управления.

Чтобы узнать заблаговременно о дне и самом часе назначенной второй присяги, необходимо было иметь тесную связь с дворцом и точные оттуда вести.

И связь была: капитан Якубович частенько выпивал вместе с генерал-губернатором Милорадовичем, про которого недаром говорили, что он «язык на привязи не держит»; секретарь Сперанского был ревностным членом тайного общества, наконец, сам Трубецкой как полковник гвардии связан был с Генеральным штабом и, кроме того, имел обширное родство при дворе.

Присягнув Константину, Николай на самом деле «вцепился в корону» и лихорадочно ждал от брата отречения формального, которое можно было бы обнародовать. Наконец 12 декабря пришел из Варшавы возбудивший радостные надежды пакет от Константина. Но это опять оказались одни только частные письма цесаревича, пересыпанные свойственными его нраву грубостями, которые можно было только скрыть в семейном архиве. Николай вышел из терпения и, не ожидая больше приглашения официального, вступил на российский престол самовольно.

Утром 13 декабря Николай подписал манифест о вступлении своем на престол, намеренно пометив днем вчерашним — двенадцатым числом. На восемь часов вечера в воскресенье 13 декабря назначено было во дворце особое собрание Государственного совета, а на другой день утром — всеобщая присяга новому императору Николаю Павловичу.

Через несколько часов после события старший Бестужев Николай Александрович первым узнал от секретаря Сперанского об этом решении Николая.

Бестужев помчался на квартиру к Рылееву, где происходило очередное совещание.

— Все решено. Четырнадцатого назначена новым царем присяга. Надо принять к сведению.

— Необходимо проверить — точно ли? — насторожился Рылеев.

— Знаю наверняка, — подтвердил и Трубецкой, которому то же известие только что привез на дом член Общества, обер-прокурор сената.

Сильнейшее волнение охватило людей. В общем гуле голосов выделялась отчетливая, полная глубокого убеждения речь Николая Бестужева:

— Четырнадцатого декабря мы дадим сигнал к восстанию. И силою оружия сенат подпишет составленный нами «Манифест».

— И навеки рушится проклятое крепостное право! — воскликнул Пущин.

Раздались возбужденные голоса:

— Чиновников заменят выборные по губерниям! Долой лихоимство! Да здравствуют свободные депутаты!

Вбежал лейтенант Арбузов — передать Якубовичу от офицеров гвардейского морского экипажа просьбу принять над ними командование.

Якубович поднялся во весь свой громадный рост и несколько театрально сказал:

— Я завтра покажу им, как стоять под пулями!

Он был внушителен со своей черной повязкой на лбу, горящими глазами и громкой речью.

Рылеев объявил, что из первых рук получил новое свидетельство того, что военные поселения, особенно Старорусские, доведены до сильнейшего негодования и при первом случае готовы присоединиться к восставшим.

Кто-то усомнился, следует ли в случае неудачи втягивать и поселения?

Николай Бестужев высказал вдруг замечательную, до него никем еще не выраженную мысль: в случае неуспеха, если останется хоть часть войска, ретироваться на военные поселения и стараться их поднять. Если и это не удастся, то уже идти до конца, идти в глубину России и объявить вольность крестьянам.

Трубецкой дрогнул и побледнел, — он даже в «Манифесте к русскому народу» побоялся употребить слово «вольность» из опасения крестьянских волнений. Со своей всегдашней сдержанностью он предложил все-таки попытаться от имени всего собрания вызвать из Москвы Михаила Федоровича Орлова.

— Если я окажусь полезен Обществу в ближайшие дни, — сказал он, — то Орлов еще полезнее может оказаться в дальнейшем.

— Правильно! — раздались голоса. — Орлов не для завтрашних действий, ибо он не успеет доскакать — все тут у нас уже загорится!

Заговорили о необходимости известить обо всем Пестеля и Сергея Муравьева с тем, чтобы скорее перекликнуться с Южным обществом.

— Хорошо, если в две недели до них доскачешь, — горестно сказал Рылеев. — Между тем одновременность восстания Севера и Юга — такой залог победы!

Оказалось, что спешно едет из Петербурга на юг, к своим братьям Сергею и Матвею, третий, младший Муравьев-Апостол, Ипполит.

— Он только что произведен в офицеры, прапорщик квартирмейстерской части, и довериться ему можно. Я письмо Сергею напишу, — обещал Трубецкой.

* * *

Еще за несколько дней до выступления заговорщики, проверив свои силы, обнаружили: таких, на кого они твердо могли рассчитывать, — немного.

Трубецкому так и не удалось привлечь командира Семеновского полка, бывшего члена общества Союза благоденствия, а командир второго батальона Финляндского полка выразительно ответил на все предложения Николая Бестужева:

— Я не намерен служить орудием и игрушкой в руках других в таком деле, где голова нетвердо держится на плечах!

План привлечения артиллерии тоже был под сомнением.

Сейчас Трубецкой сидел у Рылеева, лежавшего в своем кабинете на диване, все еще очень слабого после болезни.

Охватив двумя руками голову, опершись на стол, заваленный книгами и бумагами, Трубецкой, не скрывая отчаяния, говорил:

— Зря, зря надеялись, что можно обойтись без кровопролития! Ведь поначалу я только хлопотал, чтобы войска не произвели «буйства», надеялся, что одним своим количеством они заставят правительство счи-

таться с ними, выслушать их волю. Ведь я только хотел вооруженного давления, а не боя!.. Неутешительный подсчет действительных сил восстания приводит меня к заключению...

Рылеев приподнялся, преодолевая слабость, глаза его гневно вспыхнули, он сказал с непреклонной твердостью:

— Неутешительный подсчет действительных сил должен привести к единственному выводу: успех может быть обеспечен только внезапностью нападения на дворец и крепость. Осуществить это надо тотчас после сбора войсковых частей. Сколько б ни было их — все во дворец! Застать врасплох, тогда и с малым количеством людей можно сделать большие дела.

Трубецкой нервно прошелся по небольшому кабинету, подошел к дивану, взял Рылеева за обе руки, сказал тихо:

— Лучше всего — отложить... Не отказаться, говорю, а только отложить! А меня Общество должно отпустить немедленно в Киев для связи со Второй армией.

Рылеев отнял руки:

— Вас? Хотите уехать из Петербурга? Сейчас?

Не сводя с Трубецкого удивленных глаз, он беспощадно вымолвил:

— Вы необходимы нам здесь. Ипполит Муравьев раньше вас передаст Южному обществу все, что надо. Он уже в пути. А нам всем — назад хода нет... Все корабли сожжены.

Трубецкой помрачнел:

— Вы полны мечтаний, я же, как военный, отдаю себе отчет в действительном соотношении сил. Мало

толку, если несколько офицеров поднимут несколько рот. Иное дело, как мы недавно мечтали, если бы солдаты целыми полками отказались присягать Николаю... Но надежды на это уже нет. Уговаривать их поздно, да и едва ли возможно.

Рылеев закрыл глаза, поморщился, как бы превозмогая боль.

— Нет, Трубецкой, не мечтанья я полон, — сказал он тихо. — Я чую истину, я знаю ее, несмотря на всю неблагоприятную видимость. Вы сказали: «Мало толку, если несколько офицеров поднимут несколько рот». Неправда! Очень много толку, даже если горсточка храбрецов выйдет на площадь и крикнет этой в веках проклятой царской твердыне: «Конец твоей власти! Ты будешь разрушена!»

Обессиленный волненьем, он откинулся на подушки дивана, но через миг снова тем же убежденным, но тихим голосом продолжал:

— Да, твердо верю, что если не нами, то другими эта злая власть разрушена будет. И надо гордиться, что мы первые начнем бой. Вот она, наша задача, если большей сейчас не поднять. Вот почему выступление с какими бы то ни было силами необходимо, как начало великой борьбы. Это начало — наша победа.

* * *

Сознание своей слабости перед большой военной силой, пусть недовольной правительством, но все еще крепко сколоченной законами привычной железной дисциплины, охватило не одного Трубецкого в решающие дни перед выступлением. Немало душевных сил и пла-

менных слов понадобилось Рылееву, чтобы окрылять и убеждать колеблющихся.

От Рылеева не отставал Александр Бестужев. Он как никогда был полон энергии, сверкающей жажды деятельности. По-прежнему в качестве адъютанта обедал он у своего герцога, ночью писал статьи для журнала, а рано утром, появляясь на пороге рылеевского дома, у Синего моста, кричал, заявляя боевую готовность:

— Переступаю через Рубикон, то бишь, руби кон, руби все, что попало!

Горячую уверенность Рылеева уже не могла поколебать никакая неожиданность: ни то, что поручик Финляндского полка барон Розен вдруг сказал, что вместо предполагаемого восстания всего полка он может ручаться только за тот стрелковый взвод, которым командует сам; а на ротных командиров, как дошло до настоящего дела, рассчитывать и вовсе нельзя...

Даже то отвратительное и неожиданное, что в самый канун восстания произошло на квартире Оболенского в Коломне, не лишило Рылеева необходимого присутствия духа.

Ростовцев, тот самый офицер Генерального штаба, которого, как все полагали, переубедил Оболенский и, торжествуя победу, уже принял в члены тайного общества, — оказался предателем. Он написал письмо Николаю, предупреждал о грозящей ему опасности, если не будут приняты меры, чтобы сорвать подготовленное восстание. Но имен Ростовцев будто бы не называл...

Он сам рассказал о своем поступке Рылееву и Оболенскому, пытаясь дать ему благородное толкование:

— Я хотел спасти вас всех от гибели, а отечество — от ненужного потрясения. Пока не поздно — откажитесь от вашего безумия!

Он говорил драматическим шепотом, по обычаю глядя не на собеседника, а куда-то вбок.

Рылеев и Оболенский молчали, ошеломленные. Ростовцев бегло скосил глаза на обоих и с вызовом добавил:

— Я поступил по совести, а вы, если хотите, вольны меня убить.

Оболенский побагровел от гнева, кинулся на Ростовцева, но тот с неожиданной юркостью увернулся и исчез.

— Как собаку его... — бормотал Оболенский, яростно выдвигая ящики письменного стола, расшвыривая бумаги в поисках пистолета.

Рылеев остановил его, взял за плечи.

— Брось, Оболенский, — сказал он с силой. — Вспомни, что вся энергия нужна нам сейчас на одно... Ведь уже выступаем! Вини самого себя, что, не разобрав, доверился подлецу. Впрочем, большого вреда он сделать не может. Царю и без него все известно...

Вошедшему Николаю Бестужеву рассказали о Ростовцеве, и он определил, не колеблясь:

— Ростовцев ставит свечку зараз и черту и богу. Николаю открывает заговор, а перед нами умывает руки «чистосердечным» признанием. Нельзя доверять его словам, будто никаких имен названо не было, как по честности своей склонен верить Рылеев, надо не пристрелить как собаку, что порывается сделать Оболенский, а надо, чтобы прочие члены тайного общества ничего не узнали об этом письме Ростовцева. Нам

должно всем этим пренебречь и выступать. Лучше быть взятым на площади, нежели в постели!

— Ты прав, — подтвердил Рылеев. — Нас могут схватить тайком, и никто не узнает, где мы, за что пропали. А наш выход на площадь правительство уже не сможет скрыть, замять, и весь мир узнает, что самодержавие имеет яростных и мужественных противников, что крепостные имеют своих заступников. Весь мир узнает, чего мы добивались для родины!

...Чем ближе подходил срок выступления, тем сильней задумывался Рылеев над целесообразностью другого плана: до того, как вывести войска на площадь, — негласно, без шума устранить Николая. Ему казалось, что тогда дальнейший путь возможно будет свершить и без кровопролития...

Эта мысль о необходимости цареубийства уже тесно связывала Рылеева с одним необыкновенным человеком, отставным поручиком лейб-гвардии гренадерского полка Петром Григорьевичем Каховским. Рылеев отметил в своей памяти Каховского, еще когда он, совсем юный, подобно Байрону, стремился сложить голову за освобождение Греции. Пылкость и решительность этого характера увлекали поэта, и он прозвал Каховского — «русский Занд», в память о том германском студенте, который в 1819 году кинжалом заколол шпиона К[illegible]цебу.

В глуши Смоленской губернии, где проживал, выйдя в отставку, Каховский, он познакомился с девицей аристократического круга — Салтыковой, ставшей впоследствии женой Дельвига, друга Пушкина. Начался роман, который для девицы был деревенским развлечением, для Каховского же ее отказ выйти за него замуж

оказался трагедией, заставившей его навсегда отказаться от личного счастья.

Но это крушение надежд юности не только не разбило волю Каховского, а, напротив, закалило ее, помогло Каховскому выйти из узкого круга интересов личных. Когда Каховский появился в 24-м году в Петербурге, он уже всецело был предан одному революционному движению. По своему умственному развитию он стоял наравне с первыми членами тайного общества, и Рылеев не только принял его в Общество, но в скором времени доверил ему все главные положения, скрытые от большинства. Между прочим, высказал и свои соображения о необходимости уничтожения царской фамилии. Из ответа Каховского Рылеев понял, что тот давно взлелеял такой же план.

— Это правильно, — сказал задумчиво Каховский, — ведь надо предотвратить междоусобную войну. И потому в устранении царя и его фамилии ради блага общего вижу не преступление, а только подвиг. Не вы ли, дорогой Рылеев, воспевши Брута, подняли подобный поступок до наивысшего самоотвержения, доступного человеку? От всего сердца согласен с вами!

Такой революционный пыл у невзрачного с виду поручика поражал всех. Люди только и замечали, что его смешно оттопыренную верхнюю губу, придававшую его лицу мальчишескую дерзость. Всем были известны его неудачное сватовство к светской девице, его нелады по службе, его крайняя бедность, и никто не догадывался о его беззаветной способности к подвигу...

Рылеева влекло к Каховскому, он сочувствовал ему, но вместе с тем держался с ним настороже: его пугала

какая-то исступленность, безрассудная решительность этого характера.

Каховский был самолюбив, хотел, чтобы на него смотрели как на избранника, чье самоотвержение, как светоч во тьме, поведет за собой вперед. Каховский отнюдь не страдал самомнением, нет, но он чувствовал себя выразителем высшей воли всего тайного общества. Он искренно верил в эту свою роль и потому требовал от Рылеева отчета во всех планах и начинаниях Думы. Могут ли быть секреты от человека, который ради блага всех обрек себя на бескорыстнейшую из жертв?

У Рылеева в досаде на неуместные претензии Каховского порой вырывались обидные слова:

— Зря ты возомнил о себе! Ты не более как рядовой член Общества. Для своих действий ты должен ждать указаний тех, кто тебя старше. Во всяком случае в решениях Думы ты еще не участник.

— Выходит, я на подвиг к вам напрашиваюсь, а вы прикидываете, как меня похитрее использовать? — оскорблялся Каховский.

— Через тебя мы соединимся с целым лейб-гренадерским полком. Мало тебе?

Каховскому этого было мало.

— Я не кинжал в твоей руке, — гордо заявлял он, — погибнуть добровольно за благо отечества — согласен, а быть превращенным лишь в слепое орудие убийства — нет...

Они то ссорились, то снова мирились. Только одно было неизменно: Каховский в своем бывшем лейб-гренадерском полку работал неустанно — расширял умственный горизонт офицеров, насаждал в их среде

вольные мысли и усердно принимал в члены Общества хорошо проверенную им молодежь.

И вот теперь наступил час, когда, по мнению Рылеева, подвиг жизни, намеченный себе Каховским, стал окончательно необходим для всего дела тайного общества.

Тринадцатого декабря, когда на последнюю ночь перед восстанием назначено было в квартире Рылеева большое собрание, предварительно сошлись в сумерках в его кабинете только ближайшие сподвижники Верховной думы: Пущин, Оболенский, Николай и Александр Бестужевы. Поодаль, на своем любимом месте у окна, сидел Каховский с трубочкой в руках.

— Последние часы нашей штаб-квартиры у Синего моста истекают, — сказал полушутя Александр Бестужев. — Завтра с утра — центром сбора уже будет Сенатская площадь.

— Под памятником великого Петра, — подхватил в тон ему Оболенский, — вот бы побеспокоился: слез с коня для правого дела и взял бы команду над войском...

— Ждешь поддержки от самодержца? — усмехнулся Рылеев и добавил уже серьезно и строго: — Трубецкой сумеет двинуть солдат куда и как полагается. Друзья, — обратился он к присутствующим, — не дадим сомнениям ходу! Я рад сообщить вам ободряющую весть: приезжие с юга подтвердили слухи, что у Южного общества точно имеется сто тысяч войска, готового встать! И еще я счастлив, — говорил, сияя глазами, Рылеев, — что сбывается заветная мечта Пестеля о соединении всех сил, поднявшихся на защиту и освобождение родины. Одна мысль о южных войсках — нам большая опора, а наш завтрашний выход на площадь

будет им сигналом для начала действий и могучей поддержкой...

— А сам Павел Иванович Пестель, — с горячим чувством подхватил Оболенский, — сам он как бы во главе всего нашего движения сделает первый, самый важный шаг, когда мы по его давнишней программе заставим сенат подписать и обнародовать «Манифест к русскому народу»!

— Да, именно так... — раздумчиво вымолвил Рылеев. — Но вот что мне покою не дает... Друзья, — повысил он голос, — меня терзает мысль, что мы имеем в руках верное средство предупредить всякое кровопролитие и междоусобие народное...

Все насторожились, с особым вниманием воззрились на Рылеева. Пущин и Николай Бестужев тотчас же прервали разговор, что вели между собой. Рылеев, взволнованный, вышел из-за стола, за которым сидел, прошелся по комнате, сбираясь с силами, и стал у окна, рядом с Каховским. Внезапно, обращаясь к нему, он вымолвил:

— Не арест царя, а полное истребление вместе с семьей, вот что нужно! Только после этого все партии поневоле объединятся, все войска двинутся, и дело наше наверняка победит! — Рылеев стремительно обнял Каховского и воскликнул:

— Открой нам путь. Убей императора!

Каховский, отбросив трубку, вскочил на ноги, и в эту минуту уже никому не казался невзрачным поручиком, хотя лицо его дергалось и он с трудом удерживал слезы.

Все кинулись к нему, выражали восторг перед его готовностью свершить подвиг.

— Передаем жизнь царя и удачу восстания в твои руки, — торжественно заключил Рылеев.

Ночью того же дня в квартире Рылеева собрание было многолюдно, и, как заметили сами участники его, все находились в каком-то лихорадочном состоянии, выражая крайнее напряжение душевных сил...

Вместо грозной силы намечавшихся к восстанию полков последняя проверка выявила одни разрозненные роты. Но напрасно Трубецкой попытался воззвать к отступлению, молодые беззаветно верили в удачу, увлеченные и очарованные пламенем Рылеева.

Бледное лицо Рылеева светилось чувством, похожим на восторг. Обводя присутствующих горящим взглядом, как бы собирая их в один общий порыв, он говорил уверенно:

— Важней всего нанести первый удар! А там замешательство неминуемо охватит всех сразу. Всех, кроме нас. Тут обстоятельства подскажут дальнейшие действия. Не репетицию же нам делать перед восстанием?

— Или победим, или умрем! — крикнул Александр Бестужев.

А Рылеев продолжал:

— Запомните, друзья, что самое главное в нашем завтрашнем событии даже не обилие восставших войск, не военная удача, а то, против чего мы выйдем на площадь, сколько бы нас ни оказалось. Друзья, наша история знает немало дворцовых переворотов, когда меняли одного неугодного царя на другого, но возмущения против власти всякого царя — до нас еще не было! В самый первый раз объявлена будет в России война царю и его произволу. И завтра это сделаем мы!

Молодые члены Общества, прерывая друг друга, голосами, дрожавшими от волнения, декламировали последние стихи Рылеева, которые писал он урывками, между двумя бурными совещаниями. Стихи дышали свежестью и высоким гражданским сознанием. Они восхищали, отпечатывались в сердцах, их повторяли от всей души, как собственное исповедание:

Нет, неспособен я в объятьях сладострастья,
В постыдной праздности влачить свой век младой
И изнывать кипящею душой
Под тяжким игом самовластья...

Разошлись по домам поздно ночью тринадцатого с тем, чтобы встретиться четырнадцатого утром уже прямо на площади. Расстались с восторженной верой в то, что царские войска, даже не подготовленные к принятию чувств и мыслей восставших, мгновенно присоединятся к ним, а если нет, то, во всяком случае, в своих стрелять не станут.

Твердо договорились, как и было решено раньше, на том, что Якубович и Арбузов с моряками должны поднять измайловцев и все вместе по Вознесенскому проспекту выйти на площадь. Пущину Михаилу надлежало присоединить к ним конно-пионерный эскадрон. Николаю Бестужеву и Рылееву — находиться при моряках роты Арбузова. Михаилу Бестужеву предписано было поднять московцев и вести их по Гороховой улице на площадь.

Братья Бестужевы — Николай и Михаил — вышли от Рылеева вдвоем. Им предстояло идти в разные стороны, но часть пути они решили пройти вместе. Братья

были дружны, а сейчас встречаться по-семейному им приходилось редко.

— Как прекрасен был сегодня Рылеев, — тихо сказал Николай. — Обычно он говорит негладко и лицом совсем нехорош, а вот как преображает его любовь к родине. Я не переставал любоваться им. Он был как бледный лик луны в бурных волнах моря, кипящего страстями. Я сидел рядом с Сутгофом, Рылеев во время передышки подошел к нам, взял нас за руки и сказал: «Мир вам, люди дела, а не слова! Вы не беснуетесь, как Якубович, но я уверен, что именно вы отлично справитесь».

— Я с ним совершенно согласен, — поспешно сказал Михаил Бестужев, — мне, знаешь, очень не по душе этот кавказец с огненными очами.

— В своем деле храбрец, говорят, — попробовал защитить Николай.

— Возможно, но каков он в государственных тайных делах, — кто же проверял? Почему-то и брат Александр про него говорит: «Завтра Якубович непременно придумает, как бы похрабрей нам изменить...» Да черт с ним, с Якубовичем, — отмахнулся Михаил. — О Рылееве моя забота. Знаешь, Николай, я гляжу на него, и все мне вспоминаются его стихи. Помнишь, когда я заболел и остался у него в квартире у Синего моста, он кончал свою «Исповедь Наливайки»?

— Отличная вещь, — кивнул Николай, — ну и что?

— А то, что однажды входит он сияющий, говорит: «Поздравь меня, Мишель, я окончил. Да прослушай хоть это»... И прочел мне строки. Вот о них все и думаю. Не оказаться бы им пророческими...

— Скажи, коль запомнил, — попросил Николай Бестужев.

И с чувством Михаил продекламировал:

Известно мне, погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа.
Судьба меня уж обрекла,
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной;
Я это чувствую, я знаю...
И радостно, отец святой,
Я жребий свой благословляю.

— Какая сила духа, — восхищенно прошептал Николай, — ведь если Рылеев отождествляет свой жребий с судьбой Наливайки — в победу нашего дела он верит!

Михаил шел задумавшись, щуря глаза на дальние очертания Невы.

— Я помню слова, — вымолвил он наконец, — которые Рылеев сказал, заметив, как потрясли меня тогда его стихи. Слова эти, несмотря на их страшный смысл, остались в сердце моем не как унылая обреченность, а как благородное знамя того дела, во имя которого мы завтра пойдем на Сенатскую площадь...

Братья замедлили шаги. Николай ждал, строго сдвинув брови.

— Я запомнил слова Рылеева совершенно точно и навеки, — повторил Михаил Бестужев и отчеканил: — «Если даже суждено нам погибнуть, нашей кровью мы должны добыть России свободу. Коль постигнет неудача, она — тоже необходимость для пробуждения спящих россиян».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Вторую половину ночи на четырнадцатое декабря, после ухода друзей и единомышленников, Рылеев долго еще сидел, задумавшись, в своем, вдруг непривычно затихшем, кабинете. И странным казалось ему глубокое безмолвие после споров и шума, еще так недавно наполнявших все вокруг. Только теперь почувствовал он, как сильно устал и как необходимо собраться с мыслями одному, без всякой помехи. Он перебрал в уме только что закрепленный план завтрашних действий, нашел, что все решено правильно и должна быть удача, если не явятся неодолимые препятствия. А сколько может быть непредвиденного?

Но чем бы завтра практически дело ни кончилось, Рылеева при одной только мысли, что войска самовольно, с оружием в руках выйдут на площадь, охватывало торжество. Впервые будет сделана русскими людьми попытка открыто заявить самодержавству свои человеческие и гражданские права.

Участие матросов в захвате Зимнего дворца не возбуждало у Рылеева сомнения. Сейчас ночует у Александра Бестужева, живущего в этом же доме, брат его младший, мичман Петр. Вчера пришел он на собрание с точным подтверждением, что в Морском экипаже все в порядке и решение выступать неизменно.

При воспоминании о братьях Бестужевых сердце Рылеева сжалось той особо острой тоской, какая охватывает при мысли об опасности, грозящей самым близким. Страшась этой тоски, последнее время он вовсе гнал от себя мысль о жене и дочке Настеньке, — тревога за них леденила душу.

Рылеев сжал голову руками, заставил себя думать о деле. Но перед глазами вдруг возникла мать Бестужевых. На днях у нее в уютной квартирке на Васильевском острове собралась к обеду вся семья. Позвали и его с Пущиным. Сыновья — все пятеро — сидели за столом рядом с тремя сестрами и матушкой. Какая гордость, какой покой на лице у матери! С какой любовью она переводила глаза с одного сына на другого и говорила: «Вот уже и прославился Александр, а по мне Николай умнее его и писатель не плоше, — про Голландию-то читали, как написал? А Михаил — этот в Исландии плавал...» Петра и Павла она считала еще детьми, а Петр уже член тайного общества, как и трое старших Бестужевых. И вот завтра все ее сыновья будут на площади, а все ли вернутся домой — неизвестно...

Неудержимо захотелось Рылееву взглянуть на жену и Настеньку, тихонько, чтоб не проснулись, — к чему лишние слезы?

Он так осторожно открыл дверь в спальню, что Наталья Михайловна, обычно спавшая чутко, даже не шевельнулась. Она очень измучилась за последние дни, когда друзья ее мужа, заговорщики, — это она давно поняла, — почти не покидали их дом, а муж, поглощенный своими тайными от нее делами, при редких встречах и в глаза не смотрел, словно не узнавал ее. У изголовья спящей жены лежала хорошо знакомая Рылееву книжка — его первые стихи... Он все понял и растрогался — Наташа читала и перечитывала посвященные ей строки:

Как счастлив я, когда сижу с тобой,
Когда любуюся я, глядя на тебя,
Твоею милою, любезной красотой,
Как счастлив я!

Настенька во сне улыбалась. Рылеев поспешно вышел из спальни, боясь выдать себя, вернулся обратно в кабинет.

...Всего пять лет тому назад он, отставной подпоручик конно-артиллерийской роты, стал женихом, а Наташа, единственная горячо любимая дочка своих родителей, — его невестой. Так недавно и вместе с тем так страшно давно, по всему пережитому. Пожалуй, только и было у Наташи счастья, когда жили с ней вместе первое время в деревне. Уже через год пришла к нему нежданная слава. Появилось его стихотворение «К временщику», которое вызвало всеобщее восхищение своею смелостью, принесло ему лавры признанного поэта, а бедную Наташу охватил трепет перед гневом и местью Аракчеева. Дальше пошли огорчения еще глубже; и вот уже Наташа часто в слезах — у нее нет прежнего внимательного мужа, нет семейной жизни: все его время, которое не отдано службе, забрали его товарищи, совещания с ними да споры все дни и ночи...

«Бедняжка, — подумал Рылеев, — как мало радости тебе было со мной, а что еще предстоит... Может, и в этом прав Пестель, не связавший судьбу свою с женщиной?»

Еще затемно осторожным стуком дал знать о себе Оболенский. Рылеев отворил ему сам.

— Я верхом, коня привязал к дереву у Мойки, — сказал Оболенский, — надеюсь, никто не уведет его. А впрочем, лучше выйдем вместе на минутку. Возьми ключ от входных дверей.

— Все равно уже не уснуть, — сказал Рылеев. Он быстро оделся и вышел с Оболенским на пустынную заснеженную улицу.

— Я заехал узнать, нет ли у тебя новостей. — Голос Оболенского звучал бодро. — Я спешу в конно-пионерный к Михаилу Пущину. Боюсь, что он не выведет свой эскадрон, все будет оглядываться на измайловцев, ведь они рядом...

— Иван Иванович Пущин ручался за брата своего Михаила, — сказал Рылеев, — но лучше, конечно, съезди.

— Какой тихий сейчас город, — сказал Оболенский. — Единственное живое и ночью существо — Нева — закована льдом. Замечаешь, как нынче похолодало... Морозец!

— Да, тишина, — сказал, поеживаясь от холода, Рылеев, — и никто не знает, что будет на этих площадях завтра...

— Вот езжу верхом и как бы прощаюсь со старым городом, — сказал Оболенский, — все в нем, мне кажется, завтра будет новое, иное.

— Будет, друг, — пожал ему руку Рылеев.

Оболенский ускакал, Рылеев вернулся к себе. Еще не входя в комнату, он встретил на внутренней лестнице жившего над ним Александра Бестужева. Вместе вошли в кабинет. Бестужев был бледен и расстроен.

— Случилось что-нибудь? — нахмурился Рылеев.

— Только что у меня был Якубович. Он наотрез отказывается вести моряков на площадь.

— Как?! — вскричал Рылеев. — Несколько часов тому назад не он ли клялся, что сумеет показать морякам, как стоять под пулями. Не он ли принял от Арбузова предложение возглавить восстание Экипажа?

— А в три часа ночи совсем другое, — развел руками Бестужев. — Якубович говорит: «Вернулся я с собрания у Рылеева в самом бодром и решительном состоянии духа и вдруг — необоримые сомнения и терзания совести! Ведь если мне с моряками брать Зимний дворец, их не остановить... В суматохе помнут и семью и самого царя могут прикончить. А мне Николай ничего худого не делал, личная месть у меня была не к нему, а к Александру...»

— А до пользы дела общего Якубовичу, конечно, не подняться? — разгневался Рылеев. — Да ты ему объяснил, что он с первых же шагов зачеркнул наш план?

— Только что не избил его, так был взбешен! Ничего не помогло: «Хоть убей меня, говорит, людей не поведу! Сам же на площади буду, и чему подвергнетесь вы, тому подвергнусь и я...» Да черт с ним, действовать надо без промедления!

С минуту помолчали, обдумывая положение, и решили: через лейтенанта Арбузова восстановить связь с моряками и все намеченное выполнить. Этот лейтенант только в начале декабря сблизился с Рылеевым, бывал у него на совещаниях, появился однажды и у Оболенского. Всем своим видом и поведением он внушал к себе доверие, и когда поклялся, что выведет на площадь человек четыреста, ему поверили. Арбузов разъяснил своим морякам необходимость восстания, передал им все, что постиг сам, и заручился их горячим сочувствием делу борьбы за свободу родины.

— Сам я, как штатский, никак не смогу взять команду над моряками, — печально сказал Рылеев.

Бестужев успокоил его:

— Я пошлю сейчас записку к брату Николаю с моим мичманом Петей. Хоть и недавно принял Петю в Общество, но ручаюсь за него головой...

Александр Бестужев привел сверху младшего брата, наскоро изложил ему дело, приказал предупредить в казармах Арбузова об изменении плана, найти старшего брата Николая и вручить записку с назначением его вместо Якубовича.

Петр, один из младших братьев Бестужевых, служил уже пять лет во флоте, отличался по службе, в жизни был молчалив, любил поэзию. Душа его жаждала подвигов героических. Братья хотели спасти его от участи, которая могла угрожать им самим, хотели сохранить его для матери, но он настоял на своем и накануне восстания явился из Кронштадта.

Петру удалось выполнить поручение: в Морском экипаже он нашел Арбузова, передал ему сведения о смене начальника, а старшего брата, Николая, встретил, едва вышел из казармы Экипажа. Николай уже шел от Рылеева, где узнал о своем назначении, и Петр дополнительно рассказал ему все, что мог приметить нового в Экипаже,— там, кроме Арбузова, он видел еще нескольких молодых офицеров. Все они говорили о том, что матросы рвутся в бой и проволочка недопустима.

Радуясь, что разрыва с моряками не произошло, Николай Бестужев спокойно вошел в казарму. Он знал: его приход не будет неожиданностью, раньше он был назначен только в помощь Якубовичу, но сейчас все полномочия перешли к нему, и теперь он являлся единственным офицером, ответственным за выход матросов на площадь.

Николай Бестужев посмотрел на часы. Девять часов и четыре минуты — таково было время, когда тускло взошло солнце четырнадцатого декабря 1825 года.

На рассвете, бледном и холодном, Рылееву суждено было пережить еще один удар. Каховский, который, как все полагали, ушел вчера с твердым решением убить Николая, — от этого своего решения тоже отказался.

Сам Рылеев не видал Каховского. Возбужденный до предела, Каховский забежал на минуту к Александру Бестужеву заявить о своем отказе и, минуя квартиру Рылеева, исчез. Бестужев рассказал, что за ночь Каховский опять пришел к тем же мыслям, которые вызвали осенью ссору у него с Рылеевым. Он повторял те же слова: «Собой я готов жертвовать, но быть превращенным в простой кинжал для убийства в чьих-то руках — решительно не желаю! Тем более, если при этом я буду выброшен вами из Общества...» У Рылеева был план — свершить уничтожение царя так, чтобы это приписано было руке неизвестного, кого-то, стоящего в стороне. «Каховский, мы от тебя отречемся, но дадим тебе средства бежать из России», — говаривал Рылеев.

— Ясно, что Каховский мог только временно пойти на это твое предложение, — волновался Бестужев, — он вчера, в минуту всеобщего пред ним восторга, растрогался сам и с готовностью обрек себя на жертву. Но сейчас одумался.

Рылеев глядел пасмурно.

— Большое осложнение, — сказал он раздумчиво, — брать дворец, когда там уже нет претендента, или брать дворец с живым царем и целой его фамилией.

Заглянул Трубецкой. Бестужев сразу же рассказал ему все о Якубовиче и Каховском. Рылеев не отрывал глаз от лица Трубецкого: ему показалось, что Трубецкой едва сдерживает радость.

«Неужто он струсит? — подумал Рылеев, и ужас подкрался к его сердцу. — Неужто Трубецкой изменит?..» Но вот появился капитан Финляндского полка и подтвердил свою готовность содействовать выходу солдат на площадь. Доверие к Трубецкому вновь вернулось к Рылееву, когда тот диктаторским тоном говорил капитану:

— Только скорее, не мешкайте. Сенаторы еще не присягали, но уже начался их съезд. Посудите, можем ли мы на них воздействовать, если площадь будет пуста, как сейчас? Когда соберутся войска — к ним приду и я.

* * *

Все существо Рылеева было проникнуто боевым восторгом: точно и быстро он отдавал приказы, рассылал с заходившими то и дело молодыми офицерами записки в ближайшие казармы и на Васильевский остров к барону Розену, полк которого стоял там. Всех пламенно сочувствующих командиров он призывал к немедленным действиям...

Проснулась Наталья Михайловна. Она одевала Настеньку и прислушивалась — кто у мужа в кабинете. Узнала голоса Пущина и Бестужева. Удивилась — что так рано? Или Кондратий Федорович совсем не ложился? А она-то спала беспробудно... Очень измучилась за эти дни. Кондратий Федорович так простужен,

так слаб, а они со своими вечными спорами. Вот и сейчас чуть свет пришли...

Наталья Михайловна, не в силах совладать с беспокойством, кинулась в прихожую, где уже все надевали шинели, готовясь выйти на улицу. В ужасе она схватила за руку Николая Бестужева.

— Не уводите моего мужа на погибель! Я ведь чувствую... Настенька! — бросилась она в детскую.— Моли папеньку не покидать нас!

Рылеев, с бледным лицом, подхватил на руки потерявшую сознание жену и бережно положил ее на диван, позвал горничную. Судорожно на ходу обняв недоумевающую Настеньку, которая молча, с выражением ужаса в голубых глазах, смотрела на него, он выбежал из дому, не оборачиваясь. Его спутникам тоже было очень тяжело: каждый в эту минуту подумал о своих близких, дорогих сердцу.

Рылеева и Пущина, как штатских, караулы не пропустили ни в какие казармы, и они вышли на Петровскую площадь. Она была все еще пуста. А из дверей сената то и дело выходили старцы в треуголках с плюмажем, в шинелях с бобрами.

— В этом здании только что решена или еще решается судьба империи, — сказал мрачно Рылеев. — Присягнут Николаю, и конец. Не помешали мы им!

Пущин широким взмахом руки обвел площадь:

— Хоть шаром покати. Придется обойтись без сената. Как явятся войска, пусть диктатор сразу ведет их всех на дворец.

Еще раз оглянув пустую площадь, Пущин и Рылеев направились в дом Лаваля, где жил Трубецкой. Это было совсем близко от сената, парадное крыльцо дома

с двумя каменными львами выходило на Английскую набережную.

На роскошной гранитной лестнице в коврах ранних гостей встретил степенный лакей и, ничего не спрашивая, видимо уже предупрежденный, провел их прямо в кабинет Трубецкого. Трубецкой поспешил навстречу и со смущенным видом объявил, что конная гвардия уже присягнула царю. Николай с ней особенно торопился, потому что шефом ее был Константин.

— А также и сенаторы...

Трубецкой протянул пахнущий свежей типографской краской манифест Николая о его вступлении на престол.

— Вот только что отпечатан в Сенатской типографии.

— Значит, манифест нашего Общества, адресованный через сенат народу, так и останется лежать в кармане у Штейнгеля? — спросил с раздражением Пущин.

— Все свершим и без сената, — сурово отрезал Рылеев, — когда войска возьмут Зимний дворец, обстоятельства сами подскажут, как нам быть дальше. Стоит сделать только первый шаг, он за собой потянет второй.

— Что можем мы предпринять, если взбунтуются всего две-три роты? — спросил вяло Трубецкой. И, глядя в сторону, словно думая вслух, забормотал: — Опоздали мы, вовсе опоздали...

— Трубецкой, теперь мы увидимся с вами на площади! — твердо, тоном приказа, сказал Рылеев, поклонился и заторопил Пущина идти навстречу войскам. — Проверим казармы, — я уверен, что многие роты в пути, если уже не на месте...

— Князь Трубецкой, — непривычно торжественно обратился к диктатору Пущин, — я полагаю... — он помедлил и, пронзительно глядя на Трубецкого, договорил: — Я полагаю, там, на площади, обязаны находиться и вы, избранный нами, членами тайного общества, диктатор?

Трубецкой хотел что-то ответить, но раздумал и только низко склонил голову; было ли это знаком согласия или выражением охватившего его уныния — Рылееву и Пущину разбирать было недосуг. Все силы, все внимание предстояло устремить на то, чтобы без промедления вывести на площадь как можно больше солдат.

— Моя надежда на братьев Бестужевых, — сказал Рылеев уже на улице, — эти не дрогнут...

Он был прав. В то время как Николай воодушевлял гвардейский Морской экипаж, второй брат, Александр, приехал в Московский полк.

«Только бы вывести войска на площадь, а там они уже и сами поймут, на что поднялись», — думал Александр Бестужев, отдавая солдатам приказ брать с собой боевые патроны.

Рота Михаила Бестужева двинулась первая, за ней — рота Щепина-Ростовского. Спохватились, что впереди нет полкового знамени. Вернулись за ним. Когда же со знаменем все вместе двинулись к воротам — уже появились полковой командир и бригадный. Они остановили солдат у ворот и пытались успокоить их и вернуть в казармы. Щепин, которого Михаил Бестужев всю ночь горячил своими речами о свободе, выхватил саблю и ударил ею полкового командира

Фредерикса. А другого генерала, принявшего участие в задержании войска у самого выхода из казармы, Щепин хватил плашмя пониже спины. Солдаты громко смеялись, когда грузный генерал, подняв руки, побежал с криком: «Меня убили!»

Наконец восемьсот человек вырвались на Фонтанку и с громким «ура» двинулись на Петровскую площадь. На Гороховой улице Бестужев с удивлением увидел, как внезапно возникший Якубович, тоже с криком «ура», побежал вслед за солдатами, высоко воздев головной убор на обнаженную саблю.

В Московском полку было много старых солдат, участников геройских боев двенадцатого года. Переименован он был в Московский за успех в подмосковных боях. В этом полку, когда он еще именовался Литовским, начинал свою военную службу Пестель. И то, что этот доблестный полк вдруг пренебрег окриком не только полкового, но и бригадного командира и, самовольно захватив знамена, непреклонно устремился на площадь, — произвело на военное начальство потрясающее впечатление. С выражением крайнего ужаса сообщил начальник штаба императору Николаю:

— Государь, Московский полк окончательно взбунтовался. Он двинулся к сенату...

Николай скомандовал:

— Немедленно вызвать конную гвардию!

Когда Московский полк подходил к Петровской площади, она была еще пуста. Александр Бестужев, идя впереди, своим острым взглядом писателя невольно отметил, как сейчас значителен великолепный памятник Петра, такой непривычно одинокий над Невой. Неистово вознесся чугунный конь на скалу и, словно

вздрогнув, внезапно замер, остановленный властной рукой всадника в лавровом венке, пронзающего очами века и пространства.

«Напрасно, великий самодержец, ты нас встречаешь распростертой дланью. Для боя мы вышли сюда с самодержавством». Такая мысль мелькнула у Александра Бестужева, когда он, вместе с братом Михаилом, выстраивал солдат вокруг памятника Петру боевым построением каре.

— Помнишь, Михаил, — мимоходом бросил он брату, — Павел Иванович Пестель прекрасно назвал по-русски эту возможность наступательных действий со всех четырех сторон. Вместо иностранного *«каре»* он предложил *«всебронь»*.

— Знаешь, — отозвался Михаил, — я тоже думаю о Пестеле. Вот кому бы сейчас быть вместе с нами, вот кому по праву быть диктатором.

Московцы заняли и въезд в сенат с Исаакиевской площади.

Выделили заградительную стрелковую цепь, команда над ней поручена была поэту Александру Одоевскому.

Настроение у солдат было бодрое, боевое. С шуточками заставили вернуться обратно генерала, которого Николай послал за конной гвардией. А другого генерала — Бибикова, стремившегося пробиться сквозь живую заградительную цепь, избили прикладами. Однако боевой порядок быстро восстановили офицеры, одетые как на параде — в мундирах, шарфах и киверах.

Александр Бестужев скинул шинель, бросил ее в сани, остался в мундире, белых лосинах, гусарских

сапогах, словно на балу. Лихим движением он выхватил саблю из ножен и принялся точить лезвие о гранит Петровой скалы.

— Хочешь набраться удали от героя Полтавского боя? — улыбнулся брат его Михаил.

— Ваше благородие, долго ль будем стоять? — спросил унтер-офицер с умными смелыми глазами. — Солдатики жалуются — морозец пощипывает.

— Ждем приказа князя, — ответил Александр Бестужев. — К нам примкнуть должны еще лейб-гренадеры, гвардейский экипаж, да и не только они...

Несколько дней перед четырнадцатым декабря стояла оттепель, накануне похолодало, а сегодня с утра держался крепкий мороз при ясном небе.

По городу ходили слухи о новой присяге, о каких-то необыкновенных событиях. Толпы народа еще затемно хлынули к казармам, с рассветом народ повалил к Сенатской и Дворцовой площадям. Люди переходили с одной площади на другую, собирались толпами, спорили, волновались. Город глухо бурлил, был как вулкан, готовый к извержению, а начальник города генерал-губернатор Милорадович все еще ничего не предпринимал для его успокоения. Этот генерал отличался храбростью в боях и необыкновенным легкомыслием и беззаботностью в делах управления столицей. Еще вчера, когда адъютант выразил ему свое опасение относительно волнений в войсках, Милорадович самонадеянно обрезал его словами: «Сам знаю все на свете!» И, хвастливо хлопнув себя по карману, добавил: «Здесь у меня шестьдесят тысяч штыков. Опасаться нечего...» Он ограничился только тем, что отдал распоряжение

об увеличении числа разъездных полицейских да об усилении дежурных в канцелярии.

Милорадович вышел из дому в полной парадной форме, с голубой андреевской лентой через плечо. Высокую грудь его покрывало множество орденов и звезд русских и иностранных.

— Неспокойно в городе, — доложил ему адъютант.

Но генерал-губернатор программы своего дня не изменил и прежде всего забежал к балерине Катеньке Телешовой, которой дал слово быть запросто на утренней кулебяке.

В одиннадцать часов утра, когда Милорадович появился перед Николаем на Дворцовой площади, роскошный мундир его был расстегнут, лента измята.

— Государь! — воскликнул он. — Это стрелковое заграждение мятежников привело меня в такой истерзанный вид, но сейчас я с солдатами поговорю! Я их усмирю. Я найду слова. Я...

Вскочив в первые попавшиеся извозчичьи сани, Милорадович приказал адъютанту стать на запятки и велел извозчику пробираться через Исаакиевскую площадь.

Но это было уже невозможно, — толпа народа стояла стеной. Объездом, по Вознесенскому, по Мойке, через Поцелуев мост, Милорадович с адъютантом подъехали к конногвардейским казармам. Адъютант побежал торопить конников, но у них проявилась подозрительная медлительность: ссылаясь на всевозможные предлоги, они оттягивали выезд. Прискакал командир полка Алексей Орлов со своим адъютантом, спешился на конном дворе, тоже требовал немедленного выхода конников, но полк оставался на месте.

Страшно выругавшись, Милорадович схватил у кого-то коня, сел верхом и умчался. За ним пешком убежал адъютант.

Однако, несмотря на свою неудачную попытку вызвать на площадь конную гвардию, генерал-губернатора не покидала самоуверенность. Он подъезжал к восставшему полку, стоящему в боевой «всеброне» вокруг памятника Петру, с убеждением, что у него хватит красноречия для усмирения солдат и восстановления порядка. С большим трудом продравшись сквозь толпу, Милорадович подъехал к правому фасу и остановился шагах в десяти от восставших. Он раз пять раскатисто скомандовал «смир-р-но», пока не добился того, что солдаты приготовились его слушать. Милорадович обладал убедительным даром слова, умел цветисто говорить, производить впечатление. Искусным ораторским приемом он вызвал в памяти старых солдат картины победоносных походов, пройденных с ним вместе. Речь его грозила поколебать их твердость.

Оболенский предложил Милорадовичу удалиться и, чтобы осадить назад его коня, ткнул его штыком, задев при этом и ногу генерал-губернатора. Однако Милорадович, уверенно взяв тон отца-командира, продолжал увещевать солдат и уже заставил многих сочувственно к себе прислушиваться. Тогда Каховский выстрелил в Милорадовича. Пуля пробила голубую андреевскую ленту и грудь, увешанную орденами. Милорадович свалился с лошади, подхваченный своим адъютантом. Никто из солдат ему не помог, адъютант один дотащил его до манежа и положил прямо на снег. Криком и пинками принудил он наконец четверых солдат поднять Милорадовича и донести его до конногвардей-

ских казарм. Здесь его положили в комнату уехавшего в отпуск офицера.

После Милорадовича Николай послал парламентером к войскам генерала Воинова. Воинов двинулся было верхом, но его стащили с коня у самого края площади. Испуганный примером и участью Милорадовича, он шел к солдатам медленной, неуверенной походкой, говорил невыразительно и тихо, словно дело шло о каких-то будничных пустяках. И когда ему из гущи солдат крикнули: «Извольте отойти, генерал, здесь вам не место!» — он жалобно отозвался: «Побойтесь бога!» — и тихонько ретировался. Однако кто-то из толпы ему вдогонку запустил полено, так что с головы генерала слетела шапка.

Николаю между тем стало известно, что на подмогу восставшим двигаются еще войска, и он срочно, как последнюю надежду, послал на площадь духовенство. Петербургский митрополит Серафим должен был разъяснить солдатам законность присяги Николаю, а не Константину.

Серафим в придворной церкви только что надел парадное облачение и уже собрался начать благодарственный молебен по случаю благополучной присяги императору Николаю Первому. С ним готовился служить и киевский митрополит Евгений, облаченный в пунцовую бархатную ризу. Но генерал-адъютант, как буря ворвавшийся в церковь с приказом царя, заторопил митрополитов идти на площадь.

— Скорее, время не терпит! Увещевайте...

Такая поспешность вызывалась страхом, чтобы к восставшим не присоединились другие войска. Николай полагал, что если митрополиты уговорят первых

пришедших на площадь, то повернет обратно в свои казармы и подоспевшая к ним подмога.

Подгоняемые духовные отцы собрались спешно, прихватив с собой двух дьяконов. Сели в карету, на запятки к себе принявшую генерала. Мятежное каре, шум толпы, уже несметной, грохот выстрелов устрашили престарелых отцов, и они повернули было обратно. Но Николай, сам испуганный насмерть, не допустил отступления и послал генерал-адъютанта с полицмейстером «слезно умолять владык свершить увещевание».

— С кем же я пойду? — озираясь на толпу, растерянно спросил Серафим.

— С богом, батюшка, с богом! — посоветовали из толпы.

Митрополиты вышли из кареты и двинулись к мятежникам.

Зрелище, по своей живописности, было необычайное: на белом снегу, запорошившем площадь, ярко расцвели облачения духовенства — зеленый и пурпурный бархат, засверкали на утреннем солнце золотые кресты с бриллиантами и парчовые стихари на дьяконах, сопутствующих владыкам.

Несмотря на все великолепие и внушительность картины, едва заговорил вышедший вперед митрополит Серафим, из солдатских рядов раздались крики:

— Не прежняя пора... не обманете!

Митрополит стал уговаривать «не лить кровь одноземцев». К нему быстрыми шагами подошел Каховский и гневно сказал:

— Нас правительство к тому вынуждает! Уговорите лучше царские войска не нападать на нас, и мы

спокойно выскажем все наши требования! Мы хотим порядка законного...

Митрополит пытался еще говорить, но его вовсе слушать не стали, глушили голос барабаном. Напирающая толпа угрожающе гудела.

Вдруг восторженное «ура!» раскатилось по площади: к восставшему Московскому полку подоспело подкрепление — это поручик Сутгоф привел свою роту лейб-гренадер прямо по льду Невы. Преодолев сопротивление царского войска, уже выстроившегося у реки, лейб-гренадеры при громком сочувствии огромной толпы народа примкнули к восставшим, подойдя к ним справа. Митрополиты с дьяконами заспешили влево, сквозь разломанную ограду — к Исаакиевскому собору...

Только у Синего моста, не помышляя о своей карете, духовные парламентеры нашли двух извозчиков и вернулись в Зимний дворец.

Придворные кинулись к ним за вестями: «Чем нас утешите, что там делается?»

— Обругали и прогнали, — лаконично и уныло ответили митрополиты.

Когда на площади появился бодрый, мужественный Сутгоф, Каховский торжествовал:

— Каков мой Сутгоф!

— Великолепно! — восхищался Оболенский. — Очень хорошо!

Он примкнул к Московскому полку, когда полк еще только вели на площадь двое Бестужевых и Щепин-Ростовский. Охваченный восторгом, Оболенский вступил в ряды солдат и дал клятву: при любом исходе борьбы — не уходить с площади.

Вскоре за Сутгофом на площади показался идущий с Галерной улицы гвардейский Морской экипаж во главе с Николаем Бестужевым.

Когда до моряков донеслись залпы ружей Московского полка, отбивавшего конную атаку, Николай Бестужев скомандовал:

— На площадь! Выручай своих!

Экипаж, со знаменем, в боевом порядке, без колебаний двинулся за ним. Придя к памятнику Петра, моряки выстроились в «колонну к атаке», между каре московцев и Исаакиевской площадью, двумя взводами: один — лицом к Адмиралтейству, другой — к манежу конной гвардии.

Рылеев стремительно подошел к Николаю Бестужеву, обнял его:

— Вот она, минута нашей свободы! Мы дышим ею. За один такой миг отдать можно и жизнь!

Арбузов, возбужденно смеясь, сказал:

— Я было приказал своим зарядить ружья, а у них уж без спросу заряжены...

Николай Бестужев обвел площадь глазами.

— Сейчас войск на площади тысячи две-три, — сказал он с уверенностью. — Можно, не теряя времени, начинать. Если сенат нами упущен, двинемся на дворец! Где наш диктатор?

— Удобные условия для появления войск в сенате и предъявления требований были, да сплыли, — ответил Александр Бестужев, — и во дворце сейчас уже не претендент, а царь, узаконенный присягой, Николай Первый. Да и времени упущено порядочно. На дворец сейчас уже надо идти, как на штурм вражеской крепости! Задача моя: привести вместе с братом Михаилом

первый революционный полк на площадь — уже выполнена. А сейчас, как добрый военный, я желаю подчиниться избранному нами военному диктатору. — Подчеркивая каждое слово, Александр Бестужев добавил:

— Полагаю, что в этом всеобщем подчинении диктатору — единственный залог успеха. Действовать должно по обстоятельствам, а распоряжения, во избежание беспорядка, могут принадлежать только ему.

— Но где же он? Где Трубецкой?

— Когда мы с Рылеевым были у него сегодня утром, — заметил Пущин, — он обещал явиться на площадь, едва соберутся войска. Только что бегал к нему Кюхельбекер и уже не застал его дома. Никто не знает, куда он скрылся. То войск не было — диктатор был, а сейчас — наоборот.

— Я пойду за ним, — решительно сказал Рылеев, — я ручаюсь, я уверен — он явится...

Всеобщее ликование охватило войска, когда на площади появился маленький ростом, худенький поручик Панов во главе двух партий лейб-гренадер, пришедших почти полным составом.

Панова обступили офицеры, выспрашивали, как ему удалось со своими лейб-гвардейцами вырваться из казармы.

— Порыв моих солдат ничто не могло ослабить, — рассказывал Панов. — Я с обнаженной шпагой вышел вперед. «Ребята, за мной!» — и мы опрокинули полувзвод, охранявший выход из казармы. Полковой командир Стюрлер был нами оттерт, и, как огненная лава, пронеслись мы сквозь двор Зимнего дворца. Я было подумал, что дворец уже взят нашими, и чуть

не попался: на враждебные войска наскочили. Царь крепкий караул приставил к главным воротам. Смяли его в рукопашном... У Главного штаба сам Николай кричать нам изволил: «Стой!» Кавалерия нас окружила. А я вперед выбежал, опять кричу: «За мной, ребята! Это не наши, колú!» Вот штыками и пробрались к вам.

Панова обнимали, жали ему руки...

* * *

Огромная толпа народа была истинным участником событий на площади. С самого того дня, когда пришло известие о смерти Александра, улицы и площади стали многолюднее. Особенное оживление вызвала в городе весть о том, что первая присяга недействительна, а состоится вторая присяга, — уже не Константину, а Николаю. Носились упорные слухи: в момент исполнения вторичной присяги объявлены будут всяческие льготы и сокращение срока солдатской службы.

К полудню все три площади — Адмиралтейская, Дворцовая, Петровская — и прилегающие к ним улицы были забиты людьми. Народу, казалось, было больше, чем солдат.

Исаакиевский собор строился. У его подножья лежали груды бревен, гранитные плиты. Народ взбирался на камни, на штабеля бревен, зорко наблюдал за необычным поведением войска и очень скоро понял сущность происходящего на площади.

События толковали по-своему:

— Волю дать народу полагается по завещанию Александра, а норовят утаить!

— Вестимо, обязаны волю дать за двенадцатый год. Чужой народ своим горбом освобождали, а домой раненые пришли — одно старое ярмо получили!

— Это господа офицеры, жалея народ, солдат против второй присяги ведут...

— А солдаты, которые с ними, многие в двенадцатом воевали; как им, родным, не встать за свое-то право!

Оболенский прислушивался к этим разговорам, вспоминал слова Лунина: «Наш народ мыслит, несмотря на свое молчание...»

Оболенского заинтересовало, из кого состоит толпа. Он обвел глазами нестройные, бурлящие ряды: много было рабочих, строивших собор, много дворовых, ремесленников. Немало было и крепостных, пришедших в город на заработки, простых женщин с ребятишками на руках.

И все они стояли вовсе не праздными зрителями, они были полны волнения и сочувствия.

В толпе шли споры, слышались крики и смех. Передавали друг другу, что одного и того же купца «за Николая» побили у дворца, а «за Константина» — у сената.

Полиция была бессильна перед этим стихийным наплывом народа и уже не пыталась навести порядок.

Тем временем по приказу Николая на Сенатскую площадь все больше стягивали правительственные войска.

План окружения мятежников подсказан был царю его генералами тотчас, как расположился вокруг памятника Петру Московский полк. Царь вызвал пехоту и кавалерию, а позднее и артиллерию. Роте, стоявшей на карауле во дворце, царь велел зарядить ружья и скорым шагом сам провел ее через дворцовый двор

к главным воротам. Однако вызванные войска все не появлялись, и страх подсказал Николаю театральный прием для психологического воздействия на толпу, которая все прибывала.

Он вышел на площадь, красуясь своей видной фигурой, и со всем унаследованным от матери актерством стал отчетливо и внушительно читать собственный манифест. Когда ему доложили наконец, что прибыл батальон Преображенского полка, он передал манифест в руки адъютанта и подошел к преображенцам.

Возглавив батальон, он сам повел его мимо заборов достраивавшегося дома министра финансов, к углу Адмиралтейского бульвара. Страх уже отпустил его: он увидел Алексея Орлова, который вел на площадь конногвардейцев. Под командой Орлова полк, обогнув Исаакиевский собор, выехал на Петровскую площадь, построился спиной к дому князя Лобанова. Отсюда Николаю легко было отправить конную гвардию дальше на площадь. Уже вполне овладев собой, он зычным голосом отдал приказ:

— Выстроиться так, чтобы пресечь мятежникам, елико возможно, сообщение с тех сторон, где их можно окружить!

Орлов приказал первым двум рядам конников ударить в атаку.

Рейтары рванулись вперед, но люди из толпы бесстрашно бросились к конникам, хватали лошадей под уздцы... Четыре раза эскадрон шел в атаку и четыре раза был остановлен выстрелами восставших и живой лавиной людей.

Николай подскакал к углу бульвара, хотел сам командовать. Из толпы ему крикнули с грубой руганью:

— Подойди-ка сюда, самозванец... Мы тебе покажем!

Николай поворотил коня.

И всякий раз, когда царь пытался приблизиться к монументу Петра, из толпы летели камни и поленья. Сломав палисадник напротив собора, люди вооружились кольями, смерзшимися комьями земли и снега.

Принц Вюртембергский, племянник старой императрицы, опасливо сказал, едва увернувшись от летящего камня:

— Чернь принимает близкое участие в беспорядках!

Толпа сочувственно переговаривалась с солдатами, просила дать оружие:

— Доброе дело!.. Кабы вы нам ружья — помогли бы и мы, одним духом переворотили бы!

А командующего восстанием, диктатора Трубецкого, все еще не было.

Восставшие войска, с утра стоявшие на площади в ожидании прихода других сочувствующих полков, попали в трагическое положение: они не могли двинуться с места и сейчас, когда на площади собралась почти трехтысячная армия, потому что военной команды некому было дать.

Не теряя последней надежды, строя всяческие предположения, оправдывающие отсутствие Трубецкого, ждали его с минуты на минуту.

* * *

Рылеев метался в поисках Трубецкого и сотни раз перебирал в уме все разговоры и решения последних дней. Как могло случиться, что именно на этого человека пал общий выбор? Да ведь он был одним из осно-

вателей Союза спасения и Союза благоденствия! Он — участник общества Северного. А его большие военные заслуги? Двенадцатый год, доблестное командование под огнем. Да, Трубецкой хорошо известен солдатам.

Но тут же рядом вставали, смущая, иные мысли; и только сейчас Рылеев понял, что они-то и есть важнейшие, они показывают неправильность сделанного выбора...

Трубецкой — ярый противник Пестеля. Осторожен до гражданской трусости: сам он не принял ни одного человека в тайное общество, не сделал для этого ни единого шага.

Его страшила республиканская закваска не только Пестеля, но всей отрасли Рылеева... И не была ли настойчивость Трубецкого — непременно начинать с обращения к сенату — желанием соблюсти и в восстании какую-то «законность»? Это была просто трусость, попытка переложить на сенат ответственность в деле, где все надлежало брать только революционной силой...

— Его нет нигде! Я диктатора не нашел, — как-то виновато сказал Рылеев шедшему ему навстречу Пущину. — Но я его найду... Я приведу его.

— Спрятался Трубецкой, воробьиная душа! — презрительно отозвался Пущин.

И действительно, Трубецкой не имел сил ни выйти на площадь, ни, также, далеко от нее уйти. Недвижимо, как зачарованный, пребывал он в двух шагах от восставших полков, но никому и в голову не могло прийти искать его тут. Он сидел в тоске и унынии в здании Главного штаба, прямо против Зимнего дворца, который, по его последнему, вчерашнему приказу, уже должен был находиться в руках восставших.

Князь Трубецкой все видел из этого обозревательного пункта и ожидал наступления на дворец с Сенатской площади, но наступления все не было. Наконец мятежников тесным кольцом окружили царская пехота и кавалерия.

Когда Трубецкой убедился, что вчерашний план восстания окончательно не удался, он отправился к своему свояку Лебцельтерну в Австрийское посольство, оставив навсегда в умах современников и грядущих историков недоуменный и грустный вопрос: почему он, доблестный и храбрый военный, не побоялся навлечь на себя страшнейшее из обвинений — в трусливой измене своему делу?

Между тем к мятежному каре Николай послал третьего парламентера — великого князя Михаила. Ему только что удалось привести к присяге оставшихся в казарме солдат Московского полка, и Николай питал надежду, что как шеф этого полка, составляющего главное ядро восстания, брат его будет иметь успех.

Николай подъехал к стоянке Михаила перед манежем, около канала, и приказал ему «увещевать» восставших солдат.

Михаил до московцев не доехал. Он остановился перед колонной моряков, которая стояла впереди каре, изготовившись к атаке. Михаил важно, но невразумительно заговорил о законности присяги Николаю. Его не слушали, солдаты намеренно заглушали его слова. Пущин, глянув на пистолет Кюхельбекера, сказал, указав на Михаила:

— Ссади-ка его!

Кюхельбекер выстрелил.

Пистолет дал осечку.

Каховский сказал стоявшим рядом с ним:

— А я и не стану стрелять, потому что это уже зря. Мы окружены.

Николай пустил в атаку не только конную гвардию, но кавалергардов и конно-пионерный эскадрон.

И удивительно было, что почти три тысячи отменных конников, испытанных в своем деле, оказались не в силах смять меньшее число пехотинцев, упорно сохранявших строй вокруг памятника Петру. Решающую роль здесь, конечно, играло неосознанное сочувствие к восставшим, а у иных, впрочем, оно было и сознательным.

— Дайте срок, стемнеет, мы все к вам перейдем!

— По своим стрелять не станем!

Солдаты все одинаково страдали от своего ужасного быта, и правы были члены тайного общества, когда говорили: «Можно надеяться, что солдаты поймут свою пользу и окажутся нашей опорой».

Теперь царские войска, быть может готовые слиться с восставшими, если бы они двигались в атаку, недоумевали, видя, что Московский полк, построившись на площади с одиннадцати утра, бездействовал до двух часов дня.

Они не знали, что восставший полк не мог выступать в одиночку, ему необходимо было ждать, чтобы на площадь подоспела подмога, чтобы стянулись все войска, сочувствующие борцам за свободу.

Вынужденное бездействие восставших, кроме того, что расхолодило тайно сочувствующих, дало силы врагам. Николай успел своими войсками как бы замкнуть восставших в кольцо.

После того, как Михаил уехал ни с чем, как смертельно ранен был командир лейб-гренадерского полка Стюрлер, слишком настойчивый в своем намерении восстановить порядок, Николай снова возобновил атаку конницей со всех сторон: от Адмиралтейства к Исаакиевскому мосту поскакала конная гвардия, со стороны манежа — кавалергарды. Началась атака и с угла сената, со стороны Невы, где был расположен конногвардейский эскадрон.

И все-таки мятежники выдержали этот натиск, хотя среди них росло и крепло волнение.

Рылеев же Трубецкого не нашел. Надо было срочно выбрать нового диктатора. Называли имя человека, вызывавшего глубокое уважение и любовь: Николай Бестужев! Кроме того, после Трубецкого, это был штаб-офицер, старший в воинском чине.

— Но ведь я моряк, — сказал скромно Бестужев, — на море я бы мог быть командиром, а вот на суше — понятия не имею.

Упрашивали Оболенского: как старший адъютант командующего всей гвардейской пехотой, он был солдатам очень известен. Его слушались беспрекословно: он остановил огонь против конно-пионерного эскадрона в момент его продвижения мимо заднего фаса каре. Он же скомандовал — взять на прицел ружья, чтобы защитить толпу народа от атаки конногвардейцев.

Оболенский тут же на площади попытался прежде всего собрать военный совет, но тщетно. Его товарищи уже считали положение безнадежным и не видели пользы ни в каких экстренных совещаниях. Все же Оболенский не уклонился от ответственности: на последнее предложение сдаться восставшие ответили

отказом и отвергли обещанное им помилование. И генерал Бибиков, которого солдаты Московского полка избили за его попытку пробраться сквозь заградительную цепь, доложил Николаю:

— Оболенский предводительствует толпой!

Николай лично ненавидел Оболенского. Кроме того, страх его и раздражение все возрастали. Ему чудилось, что тайным заговором охвачены все войска и ждут только наступления темноты, чтобы соединиться против него, завладеть дворцом, крепостью, городом.

Он уже давно послал гонцов за артиллерией, но она прибыла только сейчас, и как в насмешку — без снарядов, хранившихся в лаборатории.

«Нарочно задержали! — с ужасом подумал Николай. — Все они в стачке против меня!»

Измайловский полк пришел поздно. А Николай был шефом этого полка и весь день четырнадцатого декабря пребывал в его мундире. Он дал команду измайловцам зарядить ружья и стать в резерв к дому Лобанова. А последнему пришедшему на площадь полку — лейб-егерскому — просто выразил недоверие: поставил его совсем вдали, против Гороховой улицы, за пешей гвардейской артиллерийской бригадой.

Сумерки наступили как-то внезапно, солнце зашло уже в три часа дня. Погода стала невыносимой: пронзительный ветер леденил людей, так долго неподвижно стоявших на открытой площади. С каждой минутой все сильней забирал мороз, а снегу было мало.

С надвигающимися сумерками толпа все чаще делала активные попытки перейти к действиям. Множество рабочих — участников постройки собора, вооружённых

женных строительным материалом, все смелее метали в сторону Николая и его свиты палки, камни.

Полено угодило под ноги царской лошади так, что она шарахнулась в сторону.

— Бунт каждую минуту может перекинуться к черни... — дрожа от злобы и страха, сказал Николай.

— Ваше величество, здесь не обойтись без картечи! — угодливо подсказал Васильчиков, выражая затаенную мысль царя.

Николай решился:

— Пусть Сухозанет им объявит: сейчас сложить оружие, или — картечь! — сказал он твердо.

Сухозанета, начальника всей гвардейской артиллерии, в войсках ненавидели. Он не успел доехать до колонны моряков, как был встречен градом ругательств и ружейными залпами. Прильнув к лошади, он спешно ускакал. Следом за ним неслись перья его султана, сорванные выстрелом.

На повторное предложение Николая — сдаться, переданное по всей площади, восставшие дали один ответ:

— Стреляйте!

Голосом, чересчур твердым от волнения, которое он подавлял всеми силами, Николай наконец отдал приказ:

— Пальба орудиями по порядку! Картечью! Правый фланг, начинай!

Но выстрела не последовало, хотя приказ — «первая!» — был повторен командующим батареей. Солдат правого орудия не захотел положить запал.

— Ваше благородие!..

Офицер выхватил фитиль у фейерверкера и сам дал первый выстрел.

В ответ со стороны памятника Петру грянул ружейный залп.

Ранены были люди, лепившиеся на карнизах сенатского дома, вокруг колонн, на крышах соседних домов. Разбитые стекла со звоном летели из окон.

Стало совсем темно, и вспышки орудийного огня мгновенно, как молнией, освещали на снегу тела убитых, здания и памятник, окруженный все тем же, словно уже навеки от него неотделимым, каре восставших...

Всего было дано семь залпов картечью. В течение целого часа продолжалась пальба. Восставшие войска не выдержали наконец. Многие кинулись на лед Невы.

Михаил Бестужев тщетно пытался восстановить под огнем боевое построение войск. У него мгновенно вырос план: занять Петропавловскую крепость с Невы, обратить пушки на дворец и начать переговоры с Николаем. Построенная Михаилом Бестужевым колонна была почти готова, но вдруг раздались отчаянные вопли:

— Тонем! Помогите!

Картечью разбило лед, он в нескольких местах треснул. На реке под тяжестью ступившей на лед массы людей внезапно образовалась огромная полынья. Кое-кто выкарабкался на берег, многие побежали к зданию Академии художеств и только собрались укрепиться во дворе Академии, как налетел эскадрон кавалергардов.

Братья Бестужевы — Николай и Александр — тоже не сдались без боя: у узкого въезда на Галерную улицу они остановили несколько десятков человек, чтобы в

случае натиска конницы дать ей отпор и защитить отступающих.

Очищая площадь от трупов, полиция сбрасывала в проруби и мертвых и раненых...

Бенкендорф с шестью эскадронами конной гвардии отправлен был «собирать спрятанных и разбежавшихся». После облавы сгоняли пленников на Петровскую площадь и строили их рядами для отправки в Петропавловскую крепость. И оказались эти пленники у того же величественного памятника Петру, где только несколько часов тому назад стояли они же, полные мужества, великих надежд и жажды победы.

В Петропавловскую крепость пленных мятежников конвоировал Семеновский полк нового состава, заменившего тех, которые восстали еще в 1820 году и были раскассированы в армии.

В опустевшем Зимнем дворце, где-то на золоченом диванчике, сидели, «как монументы», по выражению Карамзина, два недавних сановника: министр юстиции престарелый князь Лобанов-Ростовский, откинув трясущуюся голову назад, как бы объявляя нечто преважное, застыл рядом с Аракчеевым, только что приехавшим из своего Грузина и никому здесь уже не нужным. Сидели совсем потерявшиеся — один от старости, другой от трусости...

А в своей опочивальне, окруженная плачущими невестками, старая императрица Мария Федоровна то падала в обморок, то билась в истерике с причитанием:

— Что теперь скажет про нас Европа? Какое кровавое начало царствования!

У Синего моста, в доме Российско-американской компании, в последний раз сошлись в квартире Рыле-

ева несколько участников отныне исторического четырнадцатого декабря.

Наталья Михайловна, пребывавшая в полном отчаянии, уже считая мужа погибшим, была несказанно обрадована внезапным его появлением.

Но радость ее была недолгой. Глянув в постаревшее лицо мужа, на его усталые, но полные странной силы глаза, она ни о чем спросить его не посмела и только бесшумно двигалась, стараясь угадать, чем можно ему помочь. Сразу поняла, что надо сейчас же растопить в кабинете камин. Не вызывая слуги, сделала это сама. Рылеев благодарно улыбнулся, поцеловал ее, хотел что-то сказать, она не дала:

— Я все понимаю, обо мне не беспокойся.

Вышла из кабинета и закрыла дверь.

Рылеев выдвигал ящики письменного стола, копался в тайниках, где хранились бумаги, которые сейчас могли быть опасны и ему и другим, жег их в камине.

Скоро зашел Штейнгель, за ним — Каховский, бледный, изможденный, нахохленный. Он забился в уголок, за оконным столиком, подергиваясь, нервно топорща верхнюю губу, рассказывал полусонному немолодому Штейнгелю, как он на площади сказал митрополиту Серафиму: «Мы явились сюда не для пролития крови одноземцев, а для истребования законного порядка от сената...»

Не в силах сдержать возбуждения, Каховский рассказывал без остановки, как стрелял в Милорадовича и в полкового командира лейб-гренадер Стюрлера, как ранил неизвестного ему свитского офицера. Протянув Штейнгелю свой кинжал, он крикнул: «Вот он, возь-

мите на память обо мне!» И, будто совершив последнее важное дело, глубоко задумавшись, умолк.

Рылеев был словно один в комнате. Ни на кого не глядя, ничего не слыша, он перебирал бумаги и жег их в камине. Вошел отставной штаб-ротмистр Оржицкий. Рылеев оживился:

— Вы немедленно поедете в Киев, — внушительно, как имеющий власть, сказал он, — расскажете Сергею Муравьеву обо всем, что произошло на Сенатской площади.

Это было самое последнее распоряжение Рылеева по тайному обществу.

— Павлу Ивановичу Пестелю, — добавил он, беря Оржицкого за обе руки, — мой братский привет. И еще...— он горестно вздохнул, — еще передайте, что во многом он был прав!

Этой своей последней заботой и мыслью о Южном обществе, упоминанием о Пестеле он, Рылеев, хотел, казалось, объединиться с ними последними планами, чаяниями, надеждами.

— Быть может, южане еще существуют...— Он хотел еще что-то добавить, объяснить, но не нашел слов и замолчал.

Оржицкий ушел. Наталья Михайловна внесла мелкие дрова для камина. Рылеев безмолвно кивнул ей, но не задержал, и она вышла, пряча слезы. Он продолжал пересматривать записные книжки, сжигать листки. Каховский ходил взад и вперед перед неподвижным Штейнгелем. Остановился, спросил нервно:

— О чем думаете, Штейнгель?

Штейнгель поднял глаза, удивившие Каховского спокойным выражением:

— Я думаю о том, как героически отбивало все атаки наше каре. Посчитать только — наших было всего-навсего тысячи три, а Николай выдвинул против нас девять тысяч пехоты и три тысячи сабель кавалерии. — Он помолчал, словно затрудняясь подвести итог, и, растягивая слова, не веря себе, вымолвил:

— Две-над-цать тысяч против трех! Да еще артиллерия...

Рылеев быстро обернулся. Лицо его, порозовевшее от камина, опять помолодело. Он гордо сказал:

— Да, мы не струсили!

Бросив каминные щипцы, он выпрямился, подумал и заговорил уже другим голосом, с большой горечью:

— Но сколько мы сделали ошибок! Да, гибельных для дела... Мы не решились начать атаку, что было, я вижу сейчас, необходимо. Что удержало нас?

Штейнгель молча кивал тяжелой головой. Каховский мрачно смотрел в окно.

— А что вышло из этой нерешимости? — звенящим голосом продолжал Рылеев. — Наша неподвижность парализовала сочувствующих, помешала им перейти к нам.

— Сочувствующих было очень много,— сказал, хмурясь, Каховский, — но ведь мы не могли допустить участия толпы, народа, новой пугачевщины, стихийность которой вырвала бы управление из наших рук и превратила бы революцию в обычный бунт.

Вдруг, спохватившись, он спросил:

— А где Бестужев, где Оболенский?

— Про Бестужева не скажу ничего, — ответил Штейнгель, — а Оболенский, я видел, примкнул к мо-

рякам, сохранившим строй и под картечью, и с ними ушел в казармы.

— Мы сделали, что могли, и сделали, как сумели, — сказал Рылеев, — может быть, это немного. Но самое главное — это начало! А есть начало — будет и продолжение и победа. В руки Южного общества передадим свои полномочия...

* * *

В те самые часы, когда в квартире Рылеева в последний раз виделись на свободе участники восстания, в залах Зимнего дворца начались первые допросы, и тут же установлено было, что штаб-квартира мятежников была у писателя Рылеева.

Царь вызвал флигель-адъютанта Дурново и приказал ему привезти сейчас во дворец «сочинителя Рылеева живым или мертвым».

Николай писал длинное письмо Константину, когда вошли с донесением, что на основании первых полученных показаний можно сделать вывод, что на Севере душою всему делу был Рылеев. Николай приписал:

«...у меня имеется доказательство, что делом руководил некто Рылеев — статский».

Глубокой ночью к дому Рылеева подъехал флигель-адъютант Дурново и потребовал, чтобы его впустили, ибо он прибыл по приказанию самого государя... В переднюю Рылеева вошел караул, сопровождающий Дурново, — шесть солдат Семеновского полка. Рылеев быстро оделся, обнял жену, дочь не велел будить. Он был так спокоен, что Наталья Михайловна не сразу поняла весь страшный смысл происходящего...

Когда Рылеев сел в сани рядом с Дурново, его вдруг охватило чувство необыкновенной легкости: что бы ни ждало его впереди, он уже свершил все, что надлежало свершить, — войска вышли на площадь против царя и его самодержавия. Начало положено!

* * *

Всю ночь горели вокруг дворца бивуаки, караулы заняли все мосты и проезды. Полиция чистила и скребла площадь, велела дворникам засыпать свежим снегом площадь, чтобы у нее был чистый, невинный, спокойный вид и ничего не напоминало бы кровавое начало царствования нового русского царя.

Николай дал также приказ срочно оштукатурить изрешеченные пулями стены сената.

Но один из современников отметил, что еще и 15 декабря на Сенатской площади было множество следов крови. Он устрашился записать это по-русски и начертал в своем дневнике на бесстрастной латыни: «Sanguinis multa signa».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Среди славян, после Лещинских лагерей и соединения их Общества с Южным, началась большая и серьезная работа по подготовке к восстанию. Особенно ревностно занимались привлечением солдат и разъяснением им необходимости революционного движения против самодержавной власти два ротных командира Черниговского полка — Соловьев и Шепило, Все сво-

бодное время они проводили в беседах с фейерверкерами и выборными из рядов о смысле и цели затеваемого Обществом государственного переворота.

Душа Славянского союза — Петр Иванович Борисов, по своей дальновидности, стал проверять состояние орудий и дал поручение особо преданному делу Общества Андреевичу, прикомандированному к Киевскому арсеналу, озаботиться, чтобы в артиллерийских ящиках произведена была замена негодных, старых зарядов новыми.

О том, что в Петербурге четырнадцатого декабря было начато восстание и на той же площади через шесть часов подавлено, — об этом важнейшем событии в жизни и судьбах всего тайного общества еще ничего не было известно на юге. До славян в эти дни дошло только одно письмо Бестужева-Рюмина из Киева, где он с обычным своим пафосом писал: «Нам скоро представится случай умереть за свободу отечества! Может быть, в феврале или марте 26-го года голос родины соберет нас вокруг хоругви свободы».

Однако события заставили поднять эту хоругвь свободы много раньше...

Дальность расстояния и плохая дорога на десять дней задержали известие о смерти Александра в Таганроге.

Вместе с этой вестью до Черниговского полка дошли и слухи, что в час чтения присяги объявлено будет царское завещание об отмене крепостного права и сокращении срока солдатской службы.

Черниговский полк стоял на зимних квартирах в городке Василькове, в тридцати верстах от Киева. Городок был небольшой: дома одноэтажные, с вишневыми

садочками, с нарядными, как дивчата в праздники, махровыми мальвами, с непросыхающими лужами и несколькими постройками в два и даже в три этажа, где размещались присутственные места и военные учреждения.

В доме, перед которым стояла черная с белыми косыми полосками казенная будка, укрывавшая во время дождя дежурного ординарца, жил командир полка — Густав Иванович Гебель. Он был из числа тех ограниченных службистов-немцев, которые отличаются большой тупостью ума и мелочно-придирчивым характером, особенно ненавистным русскому солдату. И полк не любил его.

Гебель только что получил из Могилева от командующего армией сентенцию, по которой двое провинившихся рядовых присуждались к наказанию кнутом. Одновременно пришла и бумага о приведении солдат к присяге императору Константину Первому.

Гебель решил для удобства выполнить оба эти предписания без ненужной проволочки, одно незамедлительно после другого. Не два же раза подряд собирать ему полк и звать священника с крестом!

Для парадов, торжеств и всяческих экзекуций была в городе и соответствующая площадь, утоптанная солдатскими сапогами. На ней не росло ни травинки, и в дни летних смотров и парадов столбом вздымалась легкая южная пыль. Здесь же, в сторонке, стояла деревянная «кобыла» для наказания кого кнутом, кого плетьми.

Сейчас, в начале декабря, на этой площади, чуть запорошенной снегом, выстроился Черниговский полк для принятия присяги новому царю.

Полковник Сергей Иванович Муравьев, командир второго батальона Черниговского полка, стоял в полной парадной форме пред своими солдатами. Сергей Иванович заметно осунулся за эти последние дни тревог и бессонных раздумий о том, что могли предпринять северяне, узнав о смерти Александра. Поодаль стоял полковой священник, сверкающий на солнце золотом креста и богатством ризы, недавно дарованной ему помещицей Браницкой. Эта помещица, несмотря на неслыханную скупость, время от времени, для спасения души, делала щедрые подарки — то на ризы духовенству, то на железо для цепей ссылаемых в каторгу.

«Тоже, по своему разумению, поддерживает государственный порядок», — подумал о ней Сергей Иванович и, переведя глаза на позорные столбы, вдруг увидел, что палачи уже привязывают к ним солдат, оголенных до пояса.

Муравьев понял, что священник находится на площади не только по случаю присяги. Ее предварит экзекуция...

Сергею Ивановичу всегда нестерпимо было это варварское наказание, свершаемое с благословения священника, под защитой церкви и приводившее солдат к увечью и даже к смерти.

Сейчас, когда наступил срок выступления против ненавистной тирании, это отвратительное ее проявление было особенно непереносимо.

Палачи, ожигающие плетьми голые спины, брызги крови, нечеловеческие крики терзаемых, а рядом сверкание золотых риз и креста — привели Муравьева в состояние страшной ярости. Казалось, он сейчас бросится вперед, схватит палача за руку...

Но железная дисциплина, ставшая таким же законом тела, как дыхание, удержала на месте. Бледный, с закрытыми глазами, Муравьев напряженно думал:

«Надо сберечь себя для восстания! Вот здесь, на этой самой площади, быть может этим самым священником, будет прочтен иной катехизис, созданный им, Сергеем Муравьевым. Этот новый катехизис рассеет, как солнце мглу, вековой туман. Замученные люди подымут головы, постигнут истину и возьмут свои права. Истина победит. Он, Сергей Муравьев, сам поведет вчерашних рабов...»

Он невольно сделал несколько шагов вперед, вдруг покачнулся и упал без чувств.

Сбивая строй, не повинуясь окрикам Гебеля, к подполковнику, распростертому на земле, бросились солдаты. Муравьев очнулся под их взглядами, все понимающими, полными сочувствия. Глубокой радостью забилось его сердце...

Между тем присяга новому царю, после некоторого выжидательного безмолвия, вызвала в солдатских рядах глухой, но грозный ропот: жадно ожидаемого объявления льгот по службе и отмены крепостного рабства вовсе не последовало.

* * *

Едва Муравьев оправился после этого случая, как получил от Пестеля через Крюкова второе письмо с извещением, что опасность обнаружения тайного общества растет, — надо бы повидаться...

Он стал собираться на это свидание, но, словно пламя по сухолесью, сжигая на пути чаяния и на-

дежды, пришла страшная весть: арестован Павел Иванович Пестель!

Сергей Иванович вдруг оказался в глубочайшем одиночестве, с сознанием необходимости немедленно действовать, но с неуверенностью — что именно предпринять. Он узнал о безуспешной попытке Александра Поджио поднять для освобождения Пестеля 19-ю дивизию при помощи Волконского, узнал о беспомощных восклицаниях Давыдова: «Если бы Пестель был с нами! Что мы без него?!» — и понял, что и Каменская управа прекратила свое существование.

В сочельник, 24 декабря, Сергей Муравьев отправился без промедления в Житомир, сказав, что он скоро вернется, только испросит у корпусного командира отпуск Бестужеву к умирающей матери. Бестужев, как бывший семеновец, а ныне штрафной, лишен был обычных отпусков.

На пути в Житомир Муравьева ожидало новое потрясение: от сенатского курьера узнал он во всех подробностях о событиях в Петербурге. Поражение северян вызвало у Муравьева такое волнение и ожесточение, что утраченная было твердость духа вернулась к нему с лихвой, мысли сразу приняли новое направление: для будущего России важен и этот первый шаг, пусть даже и неудавшийся... Если Рылеев и Пестель в тюрьме, а он, Муравьев, еще на свободе, то знамя восстания поднимет он.

* * *

Муравьев хотел немедленно отправить из Житомира в Петербург Бестужева — для связи. Сам же надеялся через знакомых поляков наладить связь с Пестелем,

который продолжал сидеть в тюремной келье Бернардинского монастыря в Тульчине под двойной стражей.

С представителем тайного «Польского патриотического общества» предстояло тоже очень важное свидание — разговор о совместном выступлении. В ожидании этого представителя Сергей Муравьев решил под видом хлопот по делу Бестужева пойти к своему высшему начальнику, командиру 3-го пехотного корпуса, Логину Осиповичу Роту, который питал к нему особое благоволение за его аристократическое происхождение и прекрасный французский язык. Этот Рот мог невзначай сообщить еще какие-нибудь новости о событиях в столице.

Генерал-лейтенант Рот, чистейший француз-эмигрант, служил у принца Конде и от него перешел в русские войска. У него был природный ум, но никакого образования, кроме светской выучки. Был он до крайности самолюбив, жесток и хвастун. Считая, что подражает в солдатском остроумии Наполеону, кричал на седого генерала, отпустившего длиннее, чем полагалось по форме, волосы:

— Буду приказывать постригать вас на барабане!

Или другому генералу грозился при солдатах:

— Буду садить вас на пушку!

Генерала Рота ненавидели и офицеры и солдаты. А он презирал всех русских, кроме высокорожденных, как Муравьев, напоминавших ему своей речью незабвенный Париж.

Случайно Рот был приобщен к секретным розыскам генерала Чернышева о тайных обществах. Через руки Рота еще 26 ноября Майборода представил пространный донос государю. Бумагу Рот переслал по назначе-

нию, не учитывая ее важности, и о содержании доноса настолько забыл, что, радушно угощая Муравьева изысканным обедом, с упоением передавал этому слушателю, способному оценить его французское красноречие, все подробности о дне 14 декабря.

Итак, Рот, командир 3-го пехотного корпуса, еще чуть ли не за месяц был извещен о том, что соучастниками «злонамеренных» являются некоторые чины 9-й пехотной дивизии, но, по свойственному ему легкомыслию, не только не учел всей важности полученных им сведений, но сейчас, наливая шампанское Муравьеву, самоуверенно хвастал:

— Я только что отправил письмо начальнику штаба генерал-адъютанту Дибичу. Я ему гарантирую, — он сделал широкий жест рукой, — да, я ему гарантирую полное спокойствие, повиновение, покорность войск моего Третьего корпуса. И по этой причине я совершенно уклонился от принятия каких-либо предохранительных мер против приснившихся им заговорщиков. Ха-ха-ха! Им грезится великая французская революция! В России? Но где, спрашивается, у них Мирабо? Где у них культура?

Муравьев машинально отодвинул бокал с шампанским.

— Отчего вы всё говорите «у них»? — резко прервал он. — Я понимаю, что в числе «злонамеренных» вы можете меня не считать, но все же я, как и вы, — русский офицер.

Слова Муравьева дышали достоинством, и Рот несколько сконфузился, но тут же нашел кучу других тем для разговора и, между прочим, стал с блеском доказывать, каким образом люди, вышедшие на площадь

14 декабря, могли бы взять дворец и захватить всю столицу, вместо того чтобы топтаться несколько часов на Петровской площади. Он распрощался с Муравьевым, весьма довольный собой.

Свидание с Мошинским, представителем «Польского патриотического общества», произвело на Сергея Ивановича удручающее впечатление: этот представитель уже знал все подробности разгрома восставших на Петровской площади, знал про арест Пестеля, Рылеева и многих участников заговора и крайне вежливо, но решительно от имени поляков заявил, что сейчас они выступать не станут, а займут выжидательную позицию.

— Вы должны понять, — сказал он с печальной укоризной, — что Польша рисковать зря не может. Нам надо или побеждать, или умирать.

Через Мошинского Сергей Иванович познакомился с сестрами католического ордена «Милосердие» и просил сестер доставить о событиях 14 декабря пространный отчет Пестелю в его келью-тюрьму Бернардинского монастыря в Тульчине. Сам же вместе со своим братом Матвеем покинул Житомир.

Едва Сергей Муравьев уехал, вечером, в тот же сочельник, все ротные командиры Черниговского полка, рассеянные со своими ротами в окрестностях Василькова, получили приказ от Гебеля — срочно привести эти роты в штаб полка для вторичной присяги другому императору, теперь уже Николаю.

Славяне собрали свои роты в полной походной и боевой амуниции и стали совещаться, не возмутить ли им тотчас солдат и не повести ли их, вместо Василькова, прямо на Киев?

Толчком к такому волнению послужило уже ставшее широко известным выступление Северного общества 14 декабря в Петербурге на Петровской площади.

— Наша честь обязывает также и нас сделать попытку восстания — доказать, что идеи тайного общества живы и в нас!

Так говорил Петр Иванович Борисов, и друзья поддерживали его. Но когда на другой день рано утром все роты Черниговского полка объединились в Василькове, первоначальную решимость славян сменило раздумье:

«А если в Киеве не встретим сочувствия? Не повредим ли общему делу, не расстроим ли план, уже составленный Тайной думой, тот общий план, который скоро будет известен и нам?»

И славяне решили не предпринимать самостоятельного выступления и дожидаться возвращения Сергея Ивановича.

Вторая присяга, так скоро последовавшая за первой, вызвала у всех нескрываемое отвращение. Солдаты стояли с мрачными лицами и не только не повторяли за священником слов присяги, но даже не слушали его. Офицеры негодовали открыто: «Сегодня одному присягали, завтра другому?» Недовольство стало всеобщим. Ждали событий необычных. Казалось, вековая твердыня царской власти, сковывавшая умы и волю, заколебалась.

Присяга Николаю свершена была в десять часов утра 25 декабря, и полк тотчас же распустили по квартирам. Члены общества сговорились остаться в Василькове. Солдат же после присяги отпустили на

праздники по деревням, наказав по первому зову явиться в полной боевой и походной амуниции. К большому моральному торжеству славян солдаты отвечали:

— Где укажете, там и объявимся! Будьте покойны, ваше благородие...

Вечером этого же дня, по случаю полкового праздника, полагался бал у полкового командира Гебеля. Им были приглашены все офицеры, знакомые горожане и помещики округа. Гостей оказалось чрезмерно много, потому что помещики явились на бал, прихватив с собою всех дочерей и домочадцев, а горожане — своих собственных друзей. Изо всех сил старался военный оркестр, без устали кружились и танцоры...

Всем хотелось забыться и вернуть былое и привычное настроение, те маленькие радости и понятную, добрую суету, которые составляли обычный фон провинциальной жизни. Со дня смерти Александра вопросы государственной важности заслонили дела и думы провинциального муравейника. Под нажимом событий привычное, покойное, будничное уступило место какому-то общегосударственному волнению, всем тягостному.

— Уж как стояла земля на трех китах, так бы и век ей стоять! — выражая общее мнение, говорила городничиха, смущенная повторной присягой, тревогами и толками.

Сейчас на балу у командира полка все хотели только веселья и полного отдыха от треволнений. В пляс пустились и молодые и старики. Не менее танцующих оживлены были и сидящие за зелеными ломберными столами, раскинутыми во множестве в диванной, соседней с залом.

Даже многочисленные члены Славянского общества, явившиеся на бал в парадной форме, во избежание подозрений, держались беззаботно и так же охотно, как васильковские городские щеголи, следили за тем, чтобы ни одна разряженная девица не сидела на месте. Побывавшие в столице подпоручики, соперничая со стариками, откалывали в мазурке замысловатые фигуры, страшно топая каблуками, звеня шпорами, вызывая всеобщий восторг.

Веселые гости не поверили собственным глазам, когда распахнулись двери и на пороге, как мрачные статуи, возникли две фигуры в шинелях и жандармских касках с гребнем. Оркестр продолжал греметь, никем не остановленный.

— Ряженые! — взвизгнула дородная дама в голубом.

— Ах, я, кажется, вас узнаю! — кокетливо шепнула жандарму другая.

— Не имею чести, — ответил коротко жандарм и, окинув вопросительным взглядом военных, строго спросил:

— Кто является командиром Черниговского пехотного полка?

— Это я, подполковник Гебель, — виновато отозвался с конца зала Густав Иванович, совсем как школьник, застигнутый врасплох на месте преступления.

Гости в смущении и страхе попятились к стенам. По блестящему, сразу опустевшему паркету Гебель неуверенно прошагал к жандармам. Члены Славянского общества, сгруппировавшись, стояли в молчаливом ожидании.

Старший жандармский офицер сказал Гебелю:

— Имею к вам секретное важнейшее дело.

Гебель сделал знак музыке, она на полутакте оборвалась. Наступила напряженная тишина. Оба жандарма вслед за хозяином проследовали в его кабинет.

Через некоторое время Гебель с теми же жандармами опять прошел через весь зал, в передней облачился в теплую шинель, и все трое умчались в санях на край города — делать обыск у Сергея Муравьева.

Как растревоженный грубою рукой улей, зал загудел от волнующей вести. Гебелю вручен был приказ об аресте самого видного офицера в Черниговском полку — Сергея Ивановича Муравьева.

Многие из гостей Гебеля уважали и любили Муравьева, окружные помещицы мечтали выйти замуж за столь видного жениха или выдать за него своих дочерей.

Раздавались возгласы:

— Какое счастье, что он уехал! Быть может, скроется за границу!

Члены Общества соединенных славян, бывшие на балу, не имели возможности предупредить Бестужева-Рюмина, ночевавшего в квартире Муравьева, чтобы он припрятал опасные бумаги...

* * *

Положение членов тайного общества было очень затруднительным: то ли идти без промедления на Киев, подняв сколько можно полков, — и будь что будет? То ли дождаться вестей об участи Муравьева?

Дня через два примчался из Киевского арсенала Андреевич и привез письма из Петербурга от очевидцев столичных событий. Славяне были удручены ужасными подробностями, которых еще не знали: новый император картечью бил солдат, побежавших по невскому льду, от чего лед проломился и потонули сотни людей.

Письма, адресованные Муравьеву, Андреевич хотел передать ему лично и, не отдыхая ни минуты, пустился по его следам в новый путь.

И вот по Житомирской дороге, в погоню за Муравьевым, помчались сани Гебеля, Бестужева-Рюмина, Андреевича...

А Сергей Муравьев подъезжал к местечку Любар, где находился со своими гусарами его двоюродный брат Артамон Муравьев, недавно получивший Ахтырский полк.

Сергей Иванович ехал вместе с Матвеем Муравьевым в тесном возке, зябко кутался в шинель, жался к плечу старшего брата. Колючий снег больно хлестал в лицо.

— Я на чудеса, Сережа, не рассчитываю, — говорил печально Матвей. — И не думаю, что наш кузен Артамон возьмет и подымет завтра свой полк. Да и сам Артамон не из героев...

— Не допускай, Матвей, чтобы сомненье заглушило жар твоего сердца, — сказал Сергей Иванович, — сомненье — смерть подвигу! Вспомни только, какой могучей силой в устах нашего Рылеева звучало одно слово — дерзай! Оно сейчас самое необходимое, только оно — условие победы.

— Хорошо помогло это одно слово нашим товарищам на Петровской площади под пушками нового царя! — горько усмехнулся Матвей. Но брат словно не слышал. Он крепко сжал его руку и сказал твердо, с глубоким убеждением:

— Мы должны как можно скорей поднять три гусарских полка. Они все тут близко. К Ахтырскому, конечно, примкнут и Александрийский и Алексопольский. Я двину полки на Житомир, и внезапно, пока правительство не успело спохватиться, мы арестуем всю корпусную квартиру...

Приехали в Любар. Возок остановился перед домом полкового командира.

Артамон Муравьев сам открыл двери. Он заметно осунулся, потерял обычную франтоватость. Лицо его, несколько пухлое, той слащавой красоты, за которую прозвали его «купидоном», поблекло, глаза испуганно бегали. Ни одна черта во внешности этого недалекого человека не обличала ни мужества, ни энергии.

Сергей Иванович глянул на него, словно увидал его впервые, и, опустившись в кресло, молча облокотился на стоявший рядом курительный столик. Матвей Иванович сел напротив и с угрюмой тоской смотрел, как поспешно Артамон кидает в горящий камин какие-то бумаги.

«Верно, для того и денщиков всех услал, то-то двери сам открывает, — мелькнуло у него в голове, — свидетелей боится. Поздние предосторожности!»

Наконец молчание прервал Сергей Иванович. Он заговорил каким-то не своим, строгим голосом:

— Ты, конечно, понимаешь, Артамон, с каким предложением мы к тебе приехали? Пробил час ис-

полнить обещанное. — И с жестом, отстраняющим всякие возражения, Сергей Иванович, встав с кресла, повторил: — Да, пробил час. Подымай немедленно твой Ахтырский полк! И вот две записки, — он протянул два листка, — Спиридову и Тютчеву. Они этого только и ждут. Сразу приведут своих. Посылай с верным нарочным...

Сергей Иванович тряхнул листками, настойчиво ткнул ими в грудь Артамона. Тот машинально взял их... Вдруг лицо его дрогнуло, он всхлипнул и бросил обе записки в камин.

— Я не могу! — завизжал он, закрыв лицо руками. — Я не могу вести людей на верную смерть! Четырнадцатое декабря открыло мне глаза на наше безумие!

Сергей Муравьев страшно побледнел, для чего-то взял в руки каминные щипцы. Матвей быстро шагнул к брату, зная, как бурно тот может вспылить. Но Сергей Иванович только с силой швырнул щипцы на пол и глухим голосом спросил Артамона:

— Как же ты столько раз обещал то, чего от тебя и не требовали, — хвалился быть первым? Говори, что собрался делать?

Артамон заговорил, захлебываясь словами, всхлипывая:

— Я еду сейчас в Петербург. Я все расскажу государю об Обществе... С какой благородной целью оно основано, чего мы хотели... Я уверен, узнав патриотические наши намерения, государь нас оставит при наших местах. И найдутся заступники в Петербурге... Четырнадцатое декабря все, все погубило...

Зарыдав, Артамон повалился на диван, а Сергей Иванович словно окаменел.

Матвей презрительно сказал:

— Мы обманулись в тебе, Артамон... Между нами все кончено.

Не прощаясь с Артамоном, братья Муравьевы уехали в том же самом возке.

Лошади мчались, взрывая снежную пыль. Сергей Иванович теперь сидел уже безмолвный — рухнула еще одна надежда, столь внезапно, столь грубо смятая оробевшим Артамоном.

Поднять Ахтырский полк, увлечь за ним Алексопольский и Александрийский, захватить врасплох всю верхушку Главной квартиры в Житомире и двинуться на Киев, а нарочных послать в Петербург и Москву — это был единственный безошибочный план. Надо, конечно, сейчас же заменить его другим... Но кто вернет упущенное время?

Однако, когда Матвей Иванович, для которого неравная борьба с правительством, уже победившим в Петербурге, была страшней самой смерти, сказал, обняв брата за плечи: «Сережа, надо понять — все, все потеряно! Начинать ли восстание, чтобы зря пролить свою и чужую кровь? Стоит ли? Давай лучше предварим нашу участь, застрелимся сами...», Сергей Иванович встрепенулся. Слова Матвея Ивановича вызвали вдруг совсем обратное действие. Человек, за минуту до того сломанный судьбой, воспрянул сразу духом, вновь наполнился восторженной энергией.

— Нет, Матвей, не умирать нам, а побеждать! — с таким счастьем сказал Сергей, что унылый брат его вздрогнул в испуге — не обезумел ли несчастный от

потрясения? Но Сергей Иванович твердо и разумно продолжал:

— Борьба, до последнего вздоха — борьба! И не может оказаться ни капли даром пролитой крови, как ты сказал, Матюша, потому что кровь, за правое дело пролитая в бою, — всегда победа. Если не сейчас, то в будущем. Ведь жизнь с нами не кончится. Так я верю, больше того — так я знаю. И ни слова малодушия!

Во тьме он заглянул в лицо Матвея, припал к его плечу.

— А сейчас, Матвей, надо спешить к моему Черниговскому полку. Он возьмет на себя роль полка Ахтырского, и предательство Артамона будет искуплено мною. Восстание подымем мы, черниговцы...

* * *

Этого призыва к восстанию с нетерпением ждали от Муравьева оставшиеся в Василькове офицеры и очень обрадовались, когда поздно ночью из деревни Трилесы, где стояла рота Кузьмина, явился рядовой этой роты с запиской поручику Кузьмину от Муравьева:

«Анастасий Дмитриевич, я приехал в Трилесы и остановился в вашей квартире. Приезжайте сами и скажите барону Соловьеву, Шепило и Сухинову, чтобы они тоже без промедления ехали ко мне в Трилесы».

Предположение, что Муравьев может быть арестован раньше, чем они приедут в Трилесы, заставило офицеров принять предосторожность: двое поехали большаком и двое — проселочной дорогой. Иного сооб-

щения, кроме этих двух путей, у Василькова с Трилесами не было.

Это местечко, куда устремились по вызову Муравьева черниговские офицеры, было большой деревней, верстах в пятидесяти от Василькова. От густых лесов, давших когда-то деревне название «Трилесы», сейчас и помину не осталось. Деревья вырубили, а новые сажать поленились.

Сюда Гебель недавно перевел пятую роту Черниговского полка, считая ее по состоянию солдат мятежной, а командира роты — поручика Кузьмина — и вовсе неблагонадежным. В такое беспокойное время, как последние недели, Гебель считал благоразумней держать его подальше от Черниговского полка.

Братья Муравьевы приехали в Трилесы вдвоем. С дороги Бестужева-Рюмина отослали известить полковника Пыхачева, командира артиллерийской конной роты, о начале восстания.

Братья спокойно расположились в хате Кузьмина. Она состояла из большой светлой комнаты и кухни, занятой караулом, при котором находился и его начальник, седоусый фельдфебель Михей Шутов.

Это был замечательный человек: он знал, что произведен в офицеры, что приказ об этом производстве уже находится в дивизионной квартире, и тем не менее принял самое деятельное участие в подготовке к восстанию, стал настоящей опорой офицеров Черниговского полка.

Многолетняя жестокая солдатчина не согнула его, не сломила. Дождавшись наконец вожделенной свободы и независимости, Михей Шутов сейчас добровольно отдавал их борьбе за свободу отчизны.

Сергей Муравьев очень любил Шутова и верил, что пятая рота будет служить опорной точкой восстания. Она, конечно, подымет Черниговский полк, и это будет начало. А доброе начало — половина дела.

В хате Кузьмина, ночью, в хорошем разговоре с Шутовым снова возникли надежды, доверие к собственным силам, вера в поддержку солдат. Повеселел даже Матвей Иванович, всегда склонный к сомнению.

Сергей Иванович в ожидании офицеров из Василькова заснул с легким сердцем, как в юности после удачного экзамена. Но сколь странно и неожиданно было пробуждение!

Ему приснилось, будто в лесу он завидел костер. Но только захотел подсесть к нему ближе, как вдруг, освещенный огнем, встал с земли полковник Гебель... Проснувшись в тот же миг, Муравьев увидел пред собою живого Гебеля, в теплой шинели, с зажженной свечкой в руке.

Муравьев со сна еще не успел сообразить, в чем дело, как Гебель поставил свечу на стол, взял лежащий тут же заряженный пистолет и, покрутив его, смахнул порох. Пистолет положил обратно и начальнически сказал:

— Здесь не место заряженному пистолету. Разбойников, надеюсь, не имеется?

Через минуту голосом построже торжественно возвестил:

— Подполковник Муравьев, вы и ваш старший брат по высочайшему повелению арестованы!

В хату вошел высокий жандармский офицер Ланг. Он приехал с Гебелем вместе, имея на руках предписа-

ние об аресте Бестужева-Рюмина. Зная о тесной дружбе Бестужева с Муравьевыми, Ланг не без основания решил начать поиски в соединении с Гебелем. «Где Муравьев, там ищи и Бестужева», — решил он.

Гебель, закуривая от сигаретки Ланга, подмигнул ему на своих арестантов и сказал самодовольно:

— Хотя по русская пословица отнюдь не рекомендуется двух зайцев поймать в один раз, мы с вами покажем совсем новый пример, потому что будем ловить этих зайцев сразу по три штука!

И захохотал.

Скоро Сергею Муравьеву стало даже интересно наблюдать, какие глупые ошибки свершает Гебель, не имеющий понятия об истинных отношениях своего арестанта с солдатами.

Гебель приставил к нему и к его брату Матвею караул из 5-й мушкетерской роты. Эти солдаты были предназначены для самой первой шеренги на случай восстания. А Михей Шутов, седоусый фельдфебель, поставленный Гебелем начальником всего караула, не хуже лучших членов тайного общества сознавал необходимость борьбы за свои права, жизнь готов был отдать за свободу. Ведь знал отлично, что в случае неудачи ждут его двенадцать тысяч палок да вековечная Сибирь, если после экзекуции выживет.

Вот каков был «надежный караул» под всеми окнами и перед дверями дома, где пойманы были и посажены под арест «государственные преступники».

Не подозревал Гебель и того, что еще до его приезда в Трилесы Муравьев отправил с черниговским офицером в Васильково записку с просьбой без малейшего промедления ехать к нему в Трилесы. Гебель был весьма

доволен, что приказ об аресте Муравьевых так благополучно выполнен, и спокойно расселся на диване, чтобы пить чай. Между тем Шепило и Кузьмин, первые из четырех офицеров, выехавших из Василькова, добрались до Трилес.

Подъезжая к своей квартире, увидев стражу, поставленную Гебелем, Кузьмин сказал:

— Так и вышло, как я предполагал. Гебель еще здесь, но и арестованные им, к счастью, тоже здесь...

— Убить этого Гебеля! — предложил Шепило, но Кузьмин остановил:

— Пока не приедут сюда Сухинов и Соловьев, необходима полная выдержка.

Гебель встретил обоих офицеров строгой нотацией. Кузьмина бранил за отлучку от роты, стоявшей здесь, а другого — Шепило — напротив, за то, что явился сюда непрошеный.

— Это есть безобразие, — выговаривал сердито Гебель, — делаю вам порицание!

Он смутно чувствовал что-то неладное и старался своей воркотней задержать офицеров у себя до прихода Ланга, посланного им поторопить лошадей.

Офицеры стояли перед Гебелем навытяжку, он их не приглашал садиться, сам медлительно тянул чай с ромом.

Чуть приоткрылась дверь, и рядовой роты Кузьмина, как было условлено, знаком показал ему, что приехали ожидаемые офицеры. Гебель не заметил, как Шепило выскользнул встречать прибывших, и перед ним в крайне почтительной позе остался стоять один только Кузьмин.

— Я начальником караула поставил вашего фельдфебеля Шутова, — сказал Гебель, подливая рому в чай. — Можете ручать за него головой?

Кузьмин, не моргнув, уверенно ответил:

— Как за себя самого, ваше высокоблагородие.

— Он уже есть почти прапорщик, — смягчился Гебель, — я видел бумага об его производство.

Пока Кузьмин, убаюкивая бдительность Гебеля, изобретал благонадежные аттестации унтер-офицерам и рядовым своей пятой роты, Шепило за воротами встретил Сухинова и Соловьева.

— Гебель собирается арестованных братьев Муравьевых увозить дальше, — сообщил он офицерам. — Уже лошадей заказал...

— А мы этого Гебеля самого — штыком, как собаку, коли понадобится, — в бешенстве сказал Сухинов и пошел к хате. За ним пошли и остальные.

Увидев офицеров, Гебель испуганно вскочил на ноги, но, чтобы не показать своей растерянности, стал грубо кричать, мешая русские ругательства с немецкими. Соловьев, Кузьмин и Сухинов, не обращая на него внимания, удалились на кухню, где стоял караул, чтобы объявить ему и страже о начале восстания. Гебель рванулся было за офицерами, но Шепило заслонил собою дверь и захлопнул ее перед самым носом Гебеля. Тот вдруг перестал ругаться и, уже не скрывая своего испуга, через дверь умоляющим голосом просил Шепило:

— О, любезный поручик Шепило, одумайтесь! Остановите ваших камраден, если они нечто плохо задумали. Я есть ваш командир, ваш военный отец. Если я вас браню, как детей, — это одна чистый польза.

На большой кухне, отделенной от первой комнаты длинными проходными сенями, три черниговских офицера объявили солдатам, что сейчас пробил наконец час поднять восстание, о котором им столько говорили, и начать его надо с ареста командира Гебеля.

— Давно пора его! — отозвались солдаты.

— Куда вы, туда и мы. Не отступимся!

Шепило и Соловьев вышли из кухни в длинный коридор, чтобы наскоро обсудить предстоящие действия, как вдруг из входных дверей показался жандармский офицер Ланг. Он спешил к Гебелю с докладом насчет лошадей.

Сухинов, решив, что он их подслушивал, схватил ружье и нацелился в жандарма штыком.

— Не убивай его, — остановил Соловьев, — довольно с него и ареста.

Ланг, перепуганный насмерть, ловко выскочил из сеней и побежал. Офицеры настигли его и при помощи рядовых заперли в подвале. Шепило, оставив Гебеля одного, вышел узнать, что происходит в доме.

Между тем Гебель принялся громогласно звать Ланга. Ответа не было. Тогда Гебель осторожно прошел из комнаты в караульню и наткнулся на Шепило и Кузьмина. Оба, разбив солдат на два взвода, отдавали приказания о начале действий...

Гебель пришел в ярость, стал было снова осыпать офицеров грубой бранью. Но тут Шепило уже не выдержал и всадил в него штык, а Соловьев свалил на землю. Сергей Муравьев, не теряя времени, разбил кулаком стекло и через окошко выпрыгнул во двор.

Бросив бесчувственного Гебеля, полагая его мертвым, офицеры Черниговского полка поспешили к солда-

там... В суете и шуме не заметили, как Гебель пришел в себя, дополз до дороги, где и был подобран проезжающими. Его отвезли в корчму, откуда немедленно переправили к лекарю для оказания ему скорой помощи. Даже нашлись охотники доставить израненного командира Черниговского полка в городок Васильков, на собственную квартиру.

Перед тем как лечь в госпиталь, Гебель собрал все силы и успел дать своему заместителю строжайший наказ — усилить в Василькове караулы и сажать под арест взбунтовавшихся, как только они покажутся в городе. Заместителем Гебеля был майор Трухин, знаменитый в военном мире своим пристрастием к вину. Трухин принял командование над Черниговским полком. Перепуганный насмерть, он перепугал и жителей тем, что удвоил городские караулы. Во все роты, рассеянные по окрестным деревням, он отправил приказ: собраться всем в Василькове.

Соловьев и Шепило, ехавшие по приказу Муравьева к своим ротам через Васильков, остановились у полкового квартирмейстера.

Трухин, узнав про это, взял отряд внутренней стражи, городничего и дежурного по караулам — поручика Быстрицкого, офицера, негласно приверженного делу тайного общества, и пришел в дом, где находились в ожидании свежих лошадей Соловьев и Шепило.

Вздернув кверху утиный красный нос, предательски обличавший его страсть к возлияниям, Трухин торжественно объявил:

— Поручик Быстрицкий, приказываю вам немедленно ехать в деревню и принять роту поручика Со-

ловьева! Вы замените его, как недостойного! Вы приведете его бывшую роту в Васильков, без промедления!

— Что нам и требуется, — прошептал Соловьев, но так, что Быстрицкий услышал и незаметно кивнул ему головой.

На главной гауптвахте, куда велено было посадить Соловьева и Шепило, от майора получили строжайший приказ: никого к арестованным не допускать, ни слова с ними не говорить и стрелять в них без промедления при первой попытке к бегству.

— Зачем бежать вашим благородиям? — усмехаясь, сказал один из стражников. — Как подойдет сюда полковник Муравьев, всем караулом и с вами вместе к нему и пристроимся.

И, обступив офицеров, караульные стали жадно расспрашивать о подробностях происшествия в Трилесах...

Муравьев в это время уже находился в деревне Ковалевке, в тридцати пяти верстах от города Василькова. Он призвал к себе фельдфебеля и унтер-офицеров второй гренадерской роты, чтобы узнать о намерениях и настроениях солдат. Когда получил ответ, что все единодушно готовы идти за ним, Муравьев приказал собираться в поход.

Послано было уведомление к славянам: приказ Муравьева, чтобы члены тайного общества 8-й артиллерийской бригады и 8-й пехотной дивизии тоже подняли оружие.

И в 17-й егерский полк, что стоял в Белой Церкви, направлен был толковый унтер-офицер Какауров с приказом, чтобы один из офицеров, член тайного общества, явился в Васильков для получения дальнейших распоряжений.

Михаил Бестужев-Рюмин приехал в Ковалевку. Он побывал в ближайших полках и заручился согласием многих командиров примкнуть, когда Муравьев кликнет клич.

Силы стягивались в Ковалевку. Пришел и поручик Кузьмин с частью своей роты. Он боялся оставить Муравьева без прикрытия и вот явился с солдатами, которые случились под рукой, не дожидаясь, пока вся его 5-я мушкетерская рота, рассеянная по деревням, окажется в полном составе. Перед уходом из Трилес Кузьмин призвал фельдфебеля Шутова, спросил:

— Приведешь остальную команду прямым путем в Васильков?

— Так точно, приведу, — с готовностью ответил Шутов.

— Самого черта встретишь — не сворачивай!

— Так точно, не свернем! — весело отчеканил Шутов.

Рано поутру 30 декабря Сергей Муравьев с 1-й гренадерской ротой и большей частью мушкетерской выступил из Ковалевки, намереваясь в один переход сделать тридцать пять верст, отделяющих его от городка Василькова.

Когда об этом узнал майор Трухин, он приказал бить тревогу и 4-й мушкетерской роте, стоявшей в караулах, приготовиться к бою. Население городка охватил ужас, все попрятались по домам, закрыли ставни. Город мгновенно вымер.

В три часа дня авангард войск Муравьева, никем не остановленный, спокойно вошел в город под командой поручика Сухинова и без всякой задержки достиг площади.

Веселый, миролюбивый вид восставших войск вернул горожанам мужество и возбудил сочувствие и любопытство. Все потянулись на площадь.

Трухин, для храбрости изрядно хватив вина, с вызывающим видом в сопровождении барабанщиков подошел к «мятежному авангарду» и с почтительного расстояния стал держать перед солдатами речь о необходимости повиновения только законному начальству.

Он и просил и грозил, но когда услышал в ответ смех — рассердился и подошел со своей назидательной проповедью так близко, что Бестужев и Сухинов, подшучивая над его пьяной важностью, втолкнули его в самую середину колонны. Настроение солдат внезапно изменилось. Нарушив строй, они подхватили Трухина, сорвали с него эполеты, стащили мундир, изорвали в клочья.

Плохо пришлось бы майору Трухину, если бы не подоспел Сергей Муравьев. Он остановил солдат и приказал отвести майора на ту самую гауптвахту, куда Трухин, незадолго до прибытия в Васильков восставшего полка, посадил черниговских офицеров. Майор совсем протрезвел от злости и изумления, когда в этот миг на его глазах 4-я мушкетерская рота, стоявшая на карауле, и 6-я, пришедшая к ней на смену, появились на площади под предводительством арестованных им, Трухиным, поручиков Соловьева и Шепило и при общем смехе и ликовании присоединились к Муравьеву.

Ошеломленного Трухина повели на гауптвахту.

К довершению радостей этого счастливого дня приехал из Белой Церкви подпоручик Вадковский, младший брат Федора Вадковского, который был предан унтер-офицером Шервудом.

Подпоручик этот доложил Муравьеву, что один батальон егерского полка готов, и сейчас он, как только вернется в Белую Церковь, приведет его сам в Васильков.

Муравьев беспрепятственно овладел всем городком. Он вызвал к себе на городскую площадь почетных граждан и объявил им цель и причину восстания, которое никак не угрожало их личной и имущественной безопасности. Уверил ласковой и благородной речью, что порядок и тишина в городке будут строжайше соблюдены, и просил доставить солдатам съестных припасов и водки.

Жители успокоились. Молодежь пришла в восхищение. Припасы доставляли без промедления. Солдаты разместились по квартирам, сперва окружив город военной цепью и обеспечив заставы сильным караулом.

Этот день первой победы завершен был еще одним радостным событием: в восемь часов вечера пришел в Васильков фельдфебель, седоусый Михей Шутов. Он привел остальных рядовых 5-й мушкетерской роты, оставленных на его ответственность поручиком Кузьминым.

Сергей Муравьев поражен был речью Шутова: такой гордостью звучал его голос, когда он стал рассказывать, что произошло с ним в пути.

— Так что, не доходя семи верст до Василькова, вдруг нагоняет нас генерал Тихановский, командир Девятой дивизии, ка-ак закричит на меня, да таково грозно:

— Стой! Куда идешь с командой?

— Так что, ваше превосходительство, отвечаем, идем к своей части в Васильков.

— А знаешь, что делается у вас в полку?

— Так что вполне знаем, ваше превосходительство. Потому именно туда и идем. На соединение, значит.

Генерал стал красный да ка-ак гаркнет:

— Поворачивай команду на дивизионную квартиру!

Седые усы Шутова дрогнули веселой усмешкой.

— Что же вы ответили Тихановскому? — любуясь старым солдатом, спросил Муравьев.

— А генералу Тихановскому ответ дали мы, ваше высокоблагородие, в таком смысле, что не можем нарушить обещания нашему уважаемому ротному, поручику Кузьмину, и опять-таки высокоуважаемому батальонному командиру, то есть вам лично, Сергей Иванович.

— А генерал?

— Увещевать стал, потом грозил, каждому по двенадцати тысяч шпицрутенов посулил, а мне уж — веревку на шею. Да не дрогнули солдатики. Все до единого пришли со мной в Васильков... Я, ваше высокоблагородие, — прибавил доверительно Шутов, — хотел было того генерала Тихановского арестовать, да не посмел, не имея на то приказания от вас.

Муравьев с минуту помолчал.

— А известно ли тебе, Шутов, — сказал он, и голос его дрогнул от волнения, — известно ли тебе, что ты произведен в прапорщики? Приказ о том, еще не объявленный, находится в дивизионной квартире.

— Так точно, известно, — бодро ответил Шутов, — приказ от третьего декабря 1825 года. Однако сейчас уж он будет без последствий, ваше высокоблагородие.

— А наказание какое понесешь в случае общей нашей неудачи, тоже знаешь? — тихо спросил Муравьев.

— Известное наказание — расстрел. А ежели по конфирмации закона будет замена, то не менее двенадцати тысяч шпицрутенов, как генерал хвалился...

Муравьев крепко обнял старика, потряс ему руку.

— Как же ты решился? Как ты себя не пожалел?

— А так же, как и вы, ваше высокоблагородие, — сказал простодушно Шутов и, словно стесняясь дольше задерживать на себе внимание командира, заторопился в роту по неотложным делам.

— Какой человек, боже мой, какой человек! — говорил офицерам Муравьев, с восторгом думая о старом фельдфебеле.

— Какие люди, вернее сказать, Сергей Иванович, — поправил Сухинов, — не один у нас Михей Шутов. Есть и Федор Анойченко, есть и Клим Аврамов и многие простые рядовые...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Бестужев присоединился к отряду Муравьева еще перед входом в Васильков, участвовал в занятии города и сейчас делал свой доклад на срочно собранном военном совете восставших офицеров.

Главный вопрос поставлен был так: идти ли немедленно на Киев или выполнять план первоначальный — двинуться на Житомир через Брусилов?

— В Брусилове стоит Кременчугский пехотный полк, его командир Набоков — старый семеновец, на него можно бы рассчитывать, — докладывал Бестужев на собрании членов Общества.

— Он тебе что-нибудь положительное обещал? — спросил Сергей Иванович.

Бестужев замялся.

— Собственно говоря, нет, — ответил он неуверенно, — все колеблется, сколь я его ни убеждал... Но вот Пыхачев, командир пятой конно-артиллерийской роты, — это гранит. И у него пушки. Вспомни только, как горячо он клялся летом в лагерях, что честь первого выстрела за свободу отечества принадлежит ему! Ужели все вместе мы не увлечем Набокова?

— Наконец, около Житомира Восьмая бригада, — сказал Муравьев. — А в Киеве нас встретит полная неизвестность. Необходимо предварительно разузнать все про Киев.

Все согласились с этим доводом, и Муравьев, не откладывая, предложил Мозалевскому ехать в Киев разведчиком.

— Возьмете с собой трех надежных людей, — приказал Муравьев, — переоденьтесь в крестьянское платье или, во всяком случае, снимите погоны. Письма, которые я вам вручу, доставьте по назначению. И разбросайте, где будет приметнее, вот это... — Он подал Мозалевскому экземпляры своего катехизиса, в чудодейственную силу которого продолжал верить всей душой. — И все восставшие роты киевлян должны вместе с вами явиться в Брусилов, — сказал он в заключение.

— Счастлив вашим доверием, — восторженно отвечал Мозалевский. Тут же решили, что он поедет в сопровождении трех верных делу рядовых и унтер-офицера.

Вечером тридцатого декабря Муравьев дал приказ, чтобы из квартиры полкового командира вынесены были знамена и переданы нижним чинам. Сбор всего войска назначен был на той самой площади, где совсем недавно принимали, одну за другой, две присяги двум царям.

Назавтра на этой площади войскам будет во всеуслышание прочитан новый революционный катехизис. Сергей Муравьев верил: каждому откроется вся праведность, даже святость начатой борьбы против правительства, в каждом вспыхнет тот неугасимый пламень, которым горело его собственное сердце. То, что Матвею Муравьеву казалось лишь прекрасной, но совершенно детской мечтой, для Сергея Муравьева было несомненной, осуществимой реальностью. А то, что происходило в эти дни в Василькове, — пусть еще не победа, но уже всеобщее несомненное торжество.

В самом деле: быстрый переход из Трилес в Васильков, где удалось собрать все присоединившиеся к восстанию роты, был хорошим началом воплощения смелой революционной мечты. И Сухинов оказался отличным помощником Муравьеву: он поддерживал в войсках строгую дисциплину, а приказ — не чинить обид жителям — неукоснительно соблюдался всеми: от населения города никаких жалоб не поступало.

Муравьеву было приятно сознавать, что он правильно выбрал Васильков местом сбора: отсюда пути открыты и на Киев, и на Белую Церковь, и на Житомир. И правильно, что послан в Киев Мозалевский узнать о революционных настроениях в гарнизоне и среди жителей, а главное — какие командиры назначены правительством против восставших. Это послед-

нее соображение Муравьев поведал зашедшему к нему вечером Сухинову.

— Я очень надеюсь на знакомых командиров, — сказал он задумчиво. — При встрече с нами они, конечно, заставят свои полки перейти на нашу сторону.

— Сергей Иванович, — сказал с упреком Сухинов, — вы все еще плохо понимаете: разве рядовые в нашем деле значат меньше командиров? Неужто вам мало примера Шутова? Да с такими людьми, как он, если вдруг командира снимут, ничего не изменится: что затеяли — солдаты выполнят сами. Но все это, заметьте, — в нашей Восьмой артиллерийской бригаде, где было влияние славян. Однако может оказаться совсем иное положение в других полках, если начальство снимет тех офицеров, которые с нами мыслят заодно, и вдруг заменит их новыми, враждебными нашей цели. Нам нельзя медлить...

— Завтра на площади назначено чтение революционного катехизиса, а затем мы выступаем на Мотовиловку, — сказал Муравьев. Не давая Сухинову что-либо возразить, он протянул ему заветные листки и просительно добавил:

— Вот изучите хорошенько, — мы вместе с Бестужевым написали. Завтра будете мне помощником и в этом. Кому не будет вразумительно, прошу вас — разъясните!

Сухинов отвел глаза, помолчал.

— Не осудите, Сергей Иванович, за правду, — сказал он наконец. — Мне самому ваш катехизис кажется не слишком-то вразумительным. Читал я...

— Что же именно в нем невразумительно? — по-детски растерянно спросил Муравьев.

— Сам-то я вас понял, — мягко улыбнулся Сухинов, и по засветившимся глазам его было видно, как сильно любит он Муравьева, — ведь вы хотели в немногих словах показать смысл всего нашего восстания. Все вопросы и ответы вашего катехизиса подчинены одной этой цели. Не так ли? Но что солдату до библейского царя Саула, до отношения самого бога к монархии, когда в первую голову ждет он прямого слова о сокращении своей каторжной службы и освобождении крепостных?

— Не представление о будущих выгодах должно двигать человеком, а неиссякаемая жажда свободы, сознание своих прав, — сказал Муравьев с такой чистой верой, что возражение замерло на устах Сухинова.

Ему Сергей Муравьев был не совсем понятен, но весь он выражал такую готовность к высокому подвигу, что Сухинов молча поклонился.

— Будьте покойны, Сергей Иванович, я солдатам разъясню, как сумею, — сказал он примирительно и унес с собой листки катехизиса.

Муравьев задумчиво поглядел Сухинову вслед, мысленно продолжая убеждать его:

«Русский солдат сильно привязан к религии, и для его освобождения надлежит не ослаблять, не разрушать это чувство, а только дать ему совсем противоположное направление, перевести его в революционное русло... Чтение библии с объяснениями, полезными делу, может внушить ненависть к правительству, это вода на нашу мельницу. Некоторые главы катехизиса содержат прямое — от бога — запрещение избирать царей и повиноваться им. Только надо разоблачить священников, которые все перекроили для своей выгоды и

в угоду царям. Надо только довести до сознания солдат истинное повеление божие, и тогда они, не колеблясь, поднимут оружие за свободу и против царя. Если я им доказываю, что религия не противна свободе, ведь этим я множу их силы, а не ослабляю. Сухинов и многие другие славяне считают, что никакой религии не надо. Но это может быть так — для них, а для солдат?»

Тут перед Сергеем Ивановичем вдруг возникло седоусое и вместе с тем молодое лицо Михея Шутова, вспомнилась его готовность арестовать самого генерала, если бы это нужно было для дела...

Сергею Ивановичу стало жутко при мысли, что он ошибся и, может быть, славяне верней, чем он, смотрят на просвещение солдат. И все-таки он не отменит своего намерения — чтение политического катехизиса завтра, перед выступлением в поход...

Ночь прошла в этих мыслях без сна. Под утро принесли бумаги, отобранные у двух арестованных на городской заставе жандармских офицеров. Один из них оказался Несмеяновым — тем самым жандармом, который омрачил веселый бал у полкового командира Гебеля, предъявив ему предписание об аресте Муравьева. В бумагах оказалось то же самое повторное распоряжение властей. Муравьев устало улыбнулся.

Офицеры Черниговского полка всю ночь с 30 на 31 декабря срочно готовились к походу. Добывали солдатам продовольствие, проверяли ружья, патроны, всю амуницию. С вечера дан был Муравьевым приказ — всем ротам собраться 31 декабря к девяти часам утра на площади.

Пять рот пришли в полной боевой готовности. Во главе их стояли все те же, преданные всем существом

делу восстания и лично самому Муравьеву, командиры Сухинов, Кузьмин, Соловьев и Шепило. Были на площади, разумеется, и Бестужев-Рюмин и старший брат Сергея Ивановича отставной подполковник Матвей Муравьев.

Сергей Муравьев в своем кабинете давал прапорщику Мозалевскому последние указания и письма киевским членам общества.

Во время сбора Черниговского полка на площади внезапно показались сани с Ипполитом Муравьевым в блестящем обмундировании: очевидно, он только что был произведен в офицеры гвардии. Матвей Муравьев, несмотря на радость встречи, побледнел от мысли, что и этот младший брат, последний в семье, должен будет разделить с ними все опасности похода, более чем вероятный разгром и ту страшную кару, которая не замедлит обрушиться на мятежников.

Но Ипполит был в состоянии полного юношеского восторга.

— Эта торжественная картина первого общего сбора восставших рот здесь на площади заставляет забыть даже провал четырнадцатого декабря в Петербурге! — говорил он Матвею. — Может быть, вам, южанам, удастся большее, чем северянам. Но знай, Матюша, если я обманусь еще раз в своих надеждах, я не перенесу этой второй неудачи. Клянусь честью, я готов вместе с вами победить или пасть мертвым на поле битвы! — говорил он, порывисто пожимая руки офицерам. Поручик Кузьмин весь вспыхнул:

— Клянусь и я, меня живого не возьмут! Свобода или смерть!

Ипполит бросился к нему на шею. Они крепко обнялись и как бы побратались, поменявшись пистолетами.

На площади появился Даниил Кейзер, молодой священник, только три месяца тому назад принявший сан и начавший свою службу в Черниговском полку. Сергей Муравьев сумел убедить его в необходимости всенародно прочесть революционный катехизис, «возмутительный», по позднейшему определению властей.

Наконец, верхом на коне, перед солдатами и офицерами предстал Сергей Иванович Муравьев. Строй по его команде выравнялся, каждое лицо выражало возбуждение, радостное ожидание.

«Бог создал всех нас равными, — начал Даниил Кейзер голосом, трепещущим от страха, — и Христос избрал себе апостолов из простого народа, а не из знатных и царей. Стало быть, бог не любит царей? Нет! Они прокляты суть от него, как притеснители народа. Отчего же русский народ и русское воинство несчастны? Оттого, что они покоряются царям!..»

Муравьев жадно следил за выражением солдатских лиц. И увидел: по мере чтения они становились казенно-почтительными, равнодушными — такими, какими бывают всегда при обычных церковных обрядах. Ризы священника, аналой, протяжная церковная манера произносить слова не доводили до их сознания новое, революционное содержание катехизиса. Иные кое-что поняли, но и на их лицах Муравьев прочел больше удивления, чем сочувствия.

«Сухинов прав, — подумал, опечалясь, Сергей Иванович, — нужны не эти слова и не в этой старой форме,

с которой у них прочно связаны совсем иные представления...»

С трудом сдерживая гарцующего коня, он обвел горячим взглядом собравшихся на площади и заговорил с таким вдохновением, которое с первых же слов захватило людей, наполнило лица восторгом:

— Ребята! Поздравляю вас с началом победного похода! Отныне прославлен вами этот маленький город, с которого началось великое дело освобождения нашей несчастной родины от тиранов, несправедливости, зла! Нас было всего две роты, когда мы выходили из Ковалевки. Здесь их уже пять. Черниговский наш полк подымет весь корпус, к нему пристанут несметные полчища. И вольность, которую мы сейчас провозглашаем, пронесется по всей России. Взойдет и засияет солнце свободы и горячими лучами испепелит позорные цепи рабства. Ребята, будьте же верны великому делу! Победа за нами!

И ответила площадь одним дыханием:

— До последней капли крови!

— Победа или смерть! — выкрикнул Кузьмин, за ним эти слова повторили Ипполит и многие молодые офицеры...

Войска двинулись в Мотовиловку.

К Сергею Муравьеву подошел начальник караула с вопросом, что же делать с арестованными жандармами.

— А черт с ними, выпусти, — сказал на ходу Муравьев, — не с собой же нам таскать их?

Жандармов освободили, и они прямехонько кинулись в Киев и были первыми вестниками восстания Черниговского полка.

Дорогой в Мотовиловку Ипполит рассказывал братьям про события в Петербурге, о первоначальном плане, который был сорван Якубовичем, и об отказе Каховского убрать Николая. Рассказал, дрожа от негодования, про то, как Трубецкой не пришел на площадь.

— Он трус и изменник...

— Нет, Ипполит, Трубецкого не надо называть столь позорным именем, — остановил Сергей Муравьев, — я знаю его близко. Видимость его поступка, не спорю, отвратительна, но он не изменник и не трус. Разберем хорошенько: если бы точно был трус — он мог бы еще до событий убежать при помощи австрийского посла Лебцельтерна, который ему родня. Он вовсе мог бы скрыться, а он пребывал где-то рядом и ждал, наступит ли минута, когда количества восставших будет достаточно, чтобы над ними взять команду и повести на штурм. Он только военный командир, а не революционный вождь. Велика его вина, но все же он не подлец.

— Сколько б ни собралось войск, он на дворец их все равно не повел бы! — сказал с гневом Ипполит.

— А разве он когда скрывал, что республики принять не может? — быстро возразил Сергей. — Виноваты те, кто, забыв про убеждения Трубецкого, избрали его диктатором!

— Но он должен был выйти на площадь, куда пришли его товарищи, солдаты и толпа народа, полная сочувствия к восставшим! — не уступал Ипполит.

— Успокойся, — мягко взял его под руку Матвей, —

зато здесь вышли мы! Да, Ипполит, Север и Юг — одна сила, одна воля. Как мечтал об этом дорогой наш Пестель! Ужели он не чувствует, что сбываются его мечты?

* * *

31 декабря, в два часа дня, Черниговский полк под командой Сергея Муравьева вступил в Мотовиловку — унылую деревню с обилием колодцев-журавлей. Пред ним выстроились пришедшие раньше, посланные сюда Муравьевым, две роты — первая гренадерская с капитаном Козловым и первая мушкетерская.

Здесь среди офицеров не оказалось ни одного члена тайного общества. Но Сергея Муравьева это не остановило. Он спешился, подошел ближе.

— Я надеюсь, — сказал Муравьев, — вы не оставите своих товарищей?

Солдаты молчали, смущенно поглядывая на Козлова. К Муравьеву подошел Шепило.

— Я уверен, — сказал он тихо, — что солдат отклонил от нас капитан Козлов. Он неизменный наш противник. Арестуйте его, и тотчас в солдатах произойдет перемена.

— Довольно насилия, — решительно заявил Шепило Муравьев. — В таком деле, как наше, принуждение унизительно. — И, повысив голос, глядя в лицо Козлову, отводившему глаза в сторону, добавил:

— Я угадываю ваши мысли, солдаты, вы не можете быть нашими товарищами. Возвращайтесь на свои места!

Гренадеры, возглавляемые капитаном Козловым, тотчас ушли, мушкетеры присоединились к восставшим.

В тот же день, 31 декабря, к полночи, загнав лошадей, прискакали в Киев отпущенные Муравьевым из-под ареста майор Трухин и жандармские офицеры.

Той же ночью прибыл в Киев и Мозалевский.

Все в городе было тихо, словно здесь и не знали о восстании черниговцев. Но едва Мозалевский успел повидать кое-кого по адресам, данным Муравьевым, как во всех частях города забили тревогу. Мозалевский кинулся в предместье Киева, Куреневку. Минуя заставы, хотел пробраться большаком в Брусилов. Но его все-таки схватили и как подозрительного человека привели к командиру 4-го корпуса князю Щербакову. Здесь, к удивлению своему, он увидел майора Трухина и тех самых жандармских офицеров, которые еще с 25 декабря гонялись за Муравьевым, чтобы арестовать, и сами угодили на Васильковскую гауптвахту. Мозалевского арестовали, отправили в Главную квартиру Первой армии.

Слабость Муравьева, освободившего из-под ареста врагов восстания, привела и к другим зловещим последствиям — бегству из Трилес штабс-капитана Ланга, посаженного в погреб без приставленного к нему караула. Весь обмерзший, явился Ланг в дивизионную квартиру, в Белую Церковь, и рассказал о «бунте Черниговского полка» начальнику дивизии, тому самому генералу Тихановскому, с которым повстречался Михей Шутов, шедший с солдатами мушкетерской роты в Мотовиловку к Муравьеву.

Тихановский послал курьера к генералу Роту в Житомир. И понеслись донесения дальше, от генерала к генералу, до города Могилева, прямо к командующему Первой армией.

Стоявший в Брусилове со своим Кременчугским полком Набоков получил от Рота приказ срочно привести полк в Житомир. И Набоков, хотя и сочувствовал восставшим, был все же рад, что ему теперь ни бунтовать вместе с Муравьевым, ни выступать против него не нужно: его полк был взят на подозрение.

Большие надежды, которые Муравьев возлагал на 5-ю конно-артиллерийскую роту Пыхачева, в конце концов тоже не оправдались. В Лещинском лагере этот Пыхачев на общем собрании Соединенных славян и Южного общества клялся во всеуслышание, что «никому не уступит первого выстрела в борьбе за свободу отечества!»

Генерал Рот направил Пыхачеву приказ: покинуть Брусилов и немедленно скорым шагом передвинуться в местечко Паволочь, где Пыхачев и был арестован.

Да, с Мотовиловки началась горькая расплата за все допущенные ошибки...

* * *

Дневка в Мотовиловке, на первое января, объявленная Сергеем Муравьевым, вредно расхолаживала солдат, но Муравьеву для дальнейшего движения необходимой казалась киевская разведка Мозалевского, а он все не возвращался...

Разве мог Сергей Иванович знать, что Мозалевский, не успевший сделать самого главного, уже арестован? что 17-й егерский полк выводят из Белой Церкви, что арестован Пыхачев? что жандармские офицеры и Трухин, выпущенные Муравьевым из-под ареста, сделали

свое дело раньше, чем он собрал свои военные силы? что не дремал и Ланг, легко выбравшийся из погреба?

Муравьев ничего этого еще не знал и всеми силами старался поддержать бодрое настроение в войске. Он сам много говорил с солдатами, с большой заботой расспрашивал об их нуждах и делал все возможное, чтобы снабдить в поход теплой одеждой и продовольствием.

Когда Сергей Муравьев проверял караулы, его окружил народ, шедший в праздничных нарядах из церкви. Крестьяне, казалось, чувствовали все благородство намерений и бескорыстие восставших. Муравьеву со всех сторон говорили волнующие слова:

— Да поможет тебе бог, избавитель наш!

Внимание Муравьева привлек высокого роста пожилой крестьянин военной выправки с черной повязкой на одном глазу. У него, видимо, было какое-то свое дело к Муравьеву: он старался протиснуться сквозь густую толпу, окружавшую Сергея Ивановича, и что-то говорил находившемуся с ним рядом фельдфебелю Михею Шутову.

Наконец Шутов пробрался к Муравьеву.

— Ваше высокоблагородие, Сергей Иванович, — сказал он тихо, — тут один человек важный вопрос до вас имеет. — И указал на одноглазого крестьянина. — Он к нашей роте привязался еще в дороге, как проведал, что мы к вам в Мотовиловку идем. От своих мужичков будто послан, белоцерковских...

— Любопытно, — заинтересовался Сергей Иванович, — приведи-ка его сейчас ко мне на квартиру.

Как только Муравьев перешагнул порог дома, денщик сразу же доложил о приходе Шутова с неизвестным дядькой.

— Зови обоих!

Одноглазый человек по-военному отдал честь и отрекомендовался: «Осип Карпенко».

— Они партизаны двенадцатого года, — почтительно добавил Михей Шутов и скромно вышел.

— А ведь я про тебя, Карпенко, уже слышал от поручика Горбачевского, — сказал ласково Муравьев, — ты ведь жил у него, приехав от Ивана Дмитриевича Якушкина. Не так ли?

— Так точно, — козырнул бывший партизан. — А от поручика Горбачевского уехал я к родственникам под Белую Церковь, в одну из экономий графини Браницкой. Тут по всей округе эти экономии разбросаны, несметны богатства сей помещицы! Вот я от тамошних мужичков к вашей милости...

Муравьев подтолкнул партизана к стулу.

— Ты усаживайся, усаживайся. До меня дошли слухи, — сказал он, — что в какой-то экономии Браницкой управляющий вооружил палками мужиков против нашего полка, ложно их осведомив, будто наши черниговцы поднялись для грабежей. Так ли?

— Было такое, да только я не зевал, — с добродушным самодовольством сказал партизан, — мозги людям прочистил. Давно уж разъяснил я мужичкам, Сергей Иванович, что вы все против рабства идете, за их мужицкие права. Многому-то они не верят, от дворян ведь не густо добра видели, а помещица у них — сущий зверь! Однако есть мужики, которые с пониманием: вот с ними мы сговорились встать против помещицы Браницкой. Допекла она их. «Жизни, говорят, не пожалеем, только б ей досадить!» Огромная сила эти крестьяне, ежели встанут.

Сергей Иванович остановился перед партизаном и, ясно глядя в его единственный, горящий умом и энергией глаз, спросил:

— А ты, Осип, можешь за них поручиться, что если встанут, то прежде всего не сожгут барской усадьбы?

— Обязательно сожгут, — с удовольствием сказал партизан. — А неужто жалко? Нельзя же им, чтобы душу не отвести. А уж как примкнут к войску, заодно с вами пойдут. Мужик-то ведь — он умный. Большая от него подмога будет, Сергей Иванович, вашему делу.

— Наше дело — не грабеж, — сухо ответил Муравьев и помрачнел. — Сила, которая может перейти в голую месть дворянству, вместо защиты тех идей вольности и равноправия, за которые встали мы, — плохая нам помощь. Удержать в ней порядок нам будет труднее, чем сражаться с царскими войсками.

— А пожалуй, не больно-то много придется сражаться, — сказал с грустью Осип, — у вас всего близко к тысяче штыков, а у царя — дивизии да корпуса. Не сегодня-завтра задушит он вас! Вот ежели опорой возьмете деревню да мужичкам объявите волю — все встанут, все пойдут... А коли податься на военные поселения — как порох от искры взорвутся! Старое вытопчут, новина вырастет. А без мужичков, скажу тебе прямо, Сергей Иванович, не имеется у вас и надежд на победу!

За окном послышалась музыка, крики «ура». К Муравьеву вбежал Кузьмин и, сияя радостью, объявил:

— Быстрицкий ведет к нам вторую роту!

Муравьев и партизан поспешили на улицу и сразу попали в поток людей, двинувшихся навстречу солдатам. День выдался солнечный, с голубым небом, небольшим морозом. И от этого бодрящего дня еще

праздничнее, веселее казалась входящая с другого конца местечка вторая рота во главе с очень юного вида подпоручиком, румяным от быстрого движения. Немного позади шагал всем знакомый унтер-офицер — Клим Аврамов.

Недавний командир этой роты барон Соловьев, отставленный Трухиным за «мятеж», кинулся к своим. Он был вне себя от радости и торжества, обнимал унтер-офицера, солдат. Втайне он все-таки опасался, что рота не будет приведена Быстрицким, еще даже не членом тайного общества. Тяжелый пример измены таких старых заговорщиков, как Артамон Муравьев с его Ахтырским полком, а на Севере история с Трубецким, Якубовичем породили сомнения, подозрительность...

Сергей Муравьев велел хорошо угостить роту, а с собой увел Быстрицкого, унтер-офицера Аврамова и Осипа Карпенко.

В квартире Муравьева Быстрицкий рассказал, как, прежде чем решиться на выступление, он опрашивал всю роту, готовы ли они действовать заодно с восставшими? Кроме того, говорил вот с ним, с нашим любимым Аврамовым, — и он пожал унтер-офицеру руку.

— Помнишь, Клим, спросил я тебя, можно ли решиться на такое дело?

— Не только можно, но и должно, сказал я его благородию, — бойко глянул на Муравьева унтер-офицер. — Стыдно нам будет, говорю, в таком деле отстать от товарищей.

— Откуда известна тебе цель нашего восстания? Кто посвятил тебя? — спросил Муравьев. Аврамов взглянул на него с упреком:

— Да наши же, члены Славянского общества. Вся рота знает, за что встали. И ручаюсь вам головой за своих.

Муравьев молча обнял Аврамова и, повернувшись к партизану, сказал:

— Вот видишь, какова она, помощь? Привели всех в порядке, в строю. И все вместе пойдем за благо и право народа. А кровопролития хотим избежать. Но времени лишнего у нас нет, чтобы установить такой порядок и в мыслях ваших и во всей массе справедливо возмущенных людей и направить их гнев на общее дело. А если включить в наше войско, как ты хочешь, твоих крестьян, — что внесут они, кроме зверств и развала, в наш строй?

Партизан покачал головой.

— Эх, барин, — сказал он с укоризной, — повторяю тебе, народ наш умный, он и сам разберет, что к чему... Ну вот, хочешь я хоть из нескольких экономий соберу мужиков, сколочу их военным строем, как, бывало, в двенадцатом году сколачивал, и приведу к тебе? Те же солдаты окажутся, только что в домотканых свитках да в лаптях.

— Будь по-твоему. Только мало привести их строем, надобно еще и удержать в строю, — улыбнулся Муравьев.

Партизан поднялся с места, крепко пожал протянутую ему руку Муравьева.

— А ты заместо палок нам всем ружьеца припаси... Значит, Сергей Иванович, до свидания в Белой Церкви?

Быстрицкий с Аврамовым тоже потрясли руку Карпенке, отозвались в один голос:

— В Белой Церкви!

* * *

Не получая никаких известий от Мозалевского, Муравьев все не решался идти к Киеву. Зная, что от первой встречи с врагами, от последствий этой встречи зависит все дальнейшее, он повел своих солдат туда, где победа казалась ему возможной, — к Белой Церкви. Там, надеялся Муравьев, еще квартировал 17-й егерский полк, без помощи которого, знал он, ему не пробиться к славянам.

Второго января в девять часов утра Черниговский полк вышел из Мотовиловки.

Теперь у восставших уже не было того победоносного, бодрого вида, с каким они совсем недавно вступали в Васильков. Надежды на присоединение полков и дивизий рассеялись, и все поняли: сил у противника неизмеримо больше. Снижало боевой дух и то, что выбирать маршрут пришлось с унизительным расчетом, избегая встречи с вражеской артиллерией. У восставших ее не было вовсе...

И все-таки Сергей Муравьев ехал впереди своих рот браво, ловко сидел в седле, и когда оборачивался — солдаты видели на его лице ободряющую, добрую улыбку. А на сердце у него скребли кошки, терзали мысли о совершенных ошибках, об упущенных возможностях: «Если бы Черниговский полк сразу двинулся на Житомир, арестовал корпусную квартиру раньше, чем генерал Рот узнал о восстании, противодействие правительственных войск на время было бы парализовано. И главное — удача первой атаки укрепила бы дух солдат, ободрила сомневающихся, а внезапное соединение со славянами в Житомире превратило бы этот город в опорный пункт восстания».

Сергей Муравьев все еще не знал, какой последний удар грозит его планам: 17-й егерский полк был в эти дни уже перемещен, а подпоручик Вадковский, через которого налажена была связь, — арестован.

В четыре часа дня второго января Сергей Муравьев занял деревню Пологи. Попозднее, когда уже совсем стемнело, Сухинов, составив небольшой конный отряд из самых надежных солдат, отправился в Белую Церковь — на разведку.

За полторы версты до усадьбы Браницкой он наткнулся на эскадрон казаков, которых помещица выпросила у губернатора для охраны ее экономий: уже по всей округе был пущен слух, что Муравьев со своими ротами идет на разграбление.

Сухинов пустился на хитрость. С ним было всего несколько человек, перед ним — эскадрон отлично вооруженных врагов. Сухинов со своими людьми спрятался в чаще кустарника и, когда казаки подошли близко, внезапно выскочил, выхватил саблю и бросился вперед с криком: «Ребята, за мной!»

Казаки рассеялись, одного же Сухинов прихватил с собой.

Его доставили к Сергею Муравьеву.

— Чего это ты сдуру против своих воевать пошел? — спросил его Муравьев. — Слепой ты человек!

Он приказал унтер-офицерам толково разъяснить казаку причину и цель похода, выспросить, что он знает. Казака хорошо накормили, еще лучше — напоили, и казак рассказал все, что знал. Рассказал и про то, что связанных веревкой мужиков заперли в амбаре помещицы. Была у них с казаками стычка, во главе мужиков оказался некий одноглазый человек — Осип.

Дозорщики выследили, как он, крадучись задами, возвращался из Мотовиловки. Управляющий приказал казакам схватить его. И хотя Осип оборонялся как черт — двоих ножом уложил на месте, самого его в свалке пристрелили.

— А ведь наш это партизан, Осип Карпенко! — сразу догадался Михей Шутов. — А мужички, видно, те самые, что он военным строем привести к нам хотел...

Всё, что узнали от казака, доложили Муравьеву.

Подавив сердечную тревогу, он заставил себя верить в самую последнюю надежду — в славян.

* * *

Весть о событиях 14 декабря пришла в Новоград-Волынский только двадцать шестого. Горбачевский и Борисов с общего согласия решили: в ожидании Сергея Муравьева готовить ему солдат — основное ядро, надежную опору, на которую можно до конца положиться.

Вербовка людей началась с 8-й бригады, где служили Борисов и Горбачевский. На их призыв откликнулись и другие войсковые части. Связь со всеми, пожелавшими стать участниками восстания, держал старший брат Петра Ивановича Борисова — Андрей Иванович, отставной поручик.

Солдатам, теперь уж не только фейерверкерам, но и простым рядовым, объясняли необходимость переворота и вслед за переворотом — немедленного осуществления насущных задач: свобода крепостным, сокращение срока солдатской службы.

В разговорах, перекличках, сборах провели четыре дня. Муравьев все не появлялся. Забеспокоились...

Известие, что в Трилесы за Муравьевым отправлена погоня, заставило славян изменить свои планы. Они решили собраться и выступить самостоятельно.

Если бы славяне могли узнать, как отчаянно чувствовал себя Сергей Муравьев в Мотовиловке, если бы знали, как необходима была ему помощь в эту пору, они без всякого промедления кинулись бы к нему в Мотовиловку.

Но расстояния создали роковую невозможность быстрого общения. И предоставленные самим себе, стремясь поступить всего разумнее, славяне бросили все силы не на Мотовиловку, а на Старо-Константинов. Ночью со второго на третье января они решили двинуться в этот городок для связи с полками — Пензенским и Саратовским.

Основания для такого решения были немалые: из-под Житомира Петр Иванович Борисов получил от брата Андрея записку: «С нами пойдет почти весь Пензенский полк. При мне послали за патронами».

Пришло известие, что и Саратовский полк с нетерпением ожидает сигнала к восстанию, а в Тамбовском принято в члены Общества пять ротных командиров.

Обращались к Петру Борисову и не члены Общества. Один поручик сетовал: «Я несчастлив, что не заслужил вашего доверия. Я не член вашего Общества, но будьте уверены, что при первом указании я поведу свою роту...»

* * *

Правительственные войска между тем не дремали. Получив сведения, что Муравьев взял направление на Брусилов, генерал Рот, не теряя времени, выступил на рассвете с шестью эскадронами гусар «для искоренения возникшего возмущения».

Не вникая в причины этого «русского бунта», он был задет больше всего «коварным лицемерием Муравьева», которого так недавно угощал обедом и шампанским, развлекал известиями о происшествиях четырнадцатого декабря.

— Совершенно независимо от оценки этого прискорбного происшествия, я просто как француз-стратег высказывал при нем возможность победы мятежников, а этот Муравьев мог молча слушать! — восклицал Рот. — Муравьев не был тронут моей доверчивостью!

Кроме того, что Рот был возмущен Муравьевым лично, он хотел отличиться, хотел первым изловить преступников, чтобы прекратить толки, возникшие в Главном штабе, о попустительстве бунту.

* * *

В четыре часа утра, в полной еще темноте, Муравьев вывел роты из деревни Пóлоги и к одиннадцати часам привел их в деревню, показавшуюся ему странно знакомой. Когда он увидел старую церковь с долговязой колокольней, домики с яркими ставнями, у него защемило сердце. Он понял: «Боже мой, да ведь это Ковалевка! То самое местечко, откуда шесть дней тому назад начался поход восставших рот. И вот мы опять вернулись туда, откуда вышли...»

Вокруг него солдаты и смеялись и роптали: «Как овцы, на одном месте кружили!»

Однако мужество и на этот раз не покинуло Муравьева.

В полдень он двинул солдат в дальнейший поход. Для сокращения пути Муравьев выбрал дорогу прямо через степь и опять не рассчитал: если бы роты пошли по лесистым холмам, правительственным войскам было бы много затруднительней их преследовать. А тут, по открытым полянам, роты Муравьева двигались прямо на жерла вражеских пушек.

Но Сергей Муравьев ехал впереди колонны — спокойный, гордый сознанием, что он вместил в себя чаяния, веру, революционный дух Пестеля и Рылеева, самоотвержение лучших членов тайного общества и этих вот героев солдат, идущих за ним, несмотря на все невзгоды.

Муравьев думал: «Там, в Петербурге, горстка почти безоружных вышла против царских войск и картечи, а здесь вышли мы... Ну что же, достойная перекличка! Что бы ни ждало нас дальше, благодаря Северу и Югу над Россией, как вихрь, возникло дыхание свободы».

Повернувшись к седоусому фельдфебелю Михею Шутову, он сказал:

— Запомни, Михей, первое выступление против самодержавной власти свершено!

* * *

А правительственные войска тем временем подходили с трех сторон, с пушками, заряженными картечью.

Когда раздались первые выстрелы, Муравьев,

а за ним и все его люди еще упорствовали в сознании, что это идут свои, которые, встретившись лицом к лицу, станут в единую шеренгу и повернут дула своих пушек против общего врага.

Войска Гейсмара подошли совсем близко, завизжала картечь. Муравьев, на мгновение оцепеневший от горького разочарования, сразу же построил своих в каре и, взяв ружье наперевес, сам пошел прямо на орудия. Соловьев, также стремясь подать пример солдатам и вдохновить их своей храбростью, показывал явное презрение к смерти: он становился под самые картечные выстрелы, призывал солдат к стойкости. Но все уже было тщетно — люди, побросав ружья, кинулись кто куда...

А Муравьев все еще хотел верить в победу.

Когда кругом стали падать на землю его солдаты, сраженные картечью, когда один из рядовых крикнул ему яростно: «Нас обманули!» — Муравьев и тут все еще не понимал, что это конец. Даже когда свалился, раненный в голову осколком картечи, облитый собственной кровью, он, уже теряя сознание, не понял, всеобщее ли это поражение или только ранен он сам, а его роты победили?

Все до конца осознал Сергей Муравьев только в Трилесах, в большой низкой комнате корчмы, лежа на соломе, — сюда гусары по повелению Гейсмара свезли пленных и раненых.

Рядом с собой он увидел Матвея Муравьева, в углу сидел страшно бледный поручик Кузьмин. Сергей узнал обоих. Хотел спросить, где младший брат Ипполит, хотел заявить всем как можно громче, что сейчас нельзя отчаиваться, сейчас надо доказать врагам последнее —

что действовали они не как мальчишки и, если не победили сами, — другим дали пример...

Однако ни одного слова не удалось ему произнести внятно. Отчаянная боль в голове сковала его речь, помутила сознание. Он успел только услышать звук выстрела, показавшийся ему громовым ударом. Это пулей из припрятанного пистолета размозжил себе голову Анастас Дмитриевич Кузьмин, не найдя в себе силы пережить поражение.

А Ипполит Муравьев, даже не успев измять в бою своей нарядной, только что надетой гвардейской формы, лежал мертвый в сарае, в двух шагах от корчмы: он убил себя в ту минуту, когда понял, что правительственные войска победили.

В том же сарае рядом с Ипполитом лежал поручик Шепило, зарубленный самим Гейсмаром. Лицо Шепило и сейчас хранило печать мужества. Пальцы, сведенные на эфесе сабли, гусарам так и не удалось разжать.

Кузьмина, Ипполита Муравьева и Шепило зарыли в общую яму...

В девять часов утра пленных отправили в Белую Церковь.

По дороге из расспросов гусары отряда Гейсмара поняли истинную причину восстания Черниговского полка, сразу изменили свое обращение с мятежными ротами и очень жалели, что не узнали правду раньше, а поверили в версию, будто бы Муравьев повел свои роты на грабеж, на бунт.

Сергея Муравьева и Бестужева-Рюмина охраняли порознь. Матвея и прочих офицеров — вместе. Нижние чины размещены были в избах. Всех заковали

в кандалы: сто пудов железа пожертвовала на это дело графиня Браницкая — не пожалела.

В ночь с одиннадцатого на двенадцатое января Муравьев и другие офицеры в железах, по предписанию начальства, отправлены были в город Могилев.

Горькое сознание неправильности многих действий так сокрушало Сергея Муравьева, что он совсем не мог спать, рана его не заживала и болела мучительно. Недоумевая, страдая, досадуя, он сотни раз спрашивал себя: почему 25 декабря в Трилесах не прикончили Гебеля, этого гнусного командира Черниговского полка? Сколь удачно попал он в руки восставших вместе со своими жандармами! Кого упустили, кого освободили? Злейших своих врагов, которые без промедления нанесли великий вред всему делу. Непостижимая, преступная мягкость, сентиментальность... А пьяница Трухин, а Ланг и другие? Так легко можно бы убрать всех их с дороги!

И только одно известие просочилось к Муравьеву истинным бальзамом: через стражей, через товарищей случайно узнал он о молодом Быстрицком, до конца не изменившем своему благородству.

Его тоже привезли в Могилев. Начальник штаба генерал Толь, разбирая дело о роте, приведенной Быстрицким в Мотовиловку к мятежникам, сказал ему:

— Вы могли поступить иначе. Не приводить солдат, куда им идти было не след, а, напротив того, — удержать их в законных границах. Тогда вместо предстоящей вероятной каторги вы заслужили бы себе большую награду.

— Ваше превосходительство, — ответил Быстрицкий, — я, быть может, могу сделать глупость, но подлость — никогда!

Так ответил этот молодой офицер с румянцем на щеках, как у девушки.

Узнав о поведении Быстрицкого, Муравьев впервые за эти тяжелые дни улыбнулся, посветлел. «Добрые семена, упав в землю, не гибнут. То, что посеяли мы, даст в свое время великий урожай», — подумал он с гордостью.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Через десять дней после ареста, еще в Тульчине, Пестель по тридцати девяти заданным ему вопросам понял, что правительство очень многого не знает о тайном обществе, и ответил:

— Я никакому тайному обществу не принадлежу, ни о каких членах ничего не ведаю, а следовательно, не могу ничего объяснить, что касается их преднамерений, действий и соображений.

Третьего января Пестель был привезен в Петербург. Николай собственноручной запиской генералу Сукину, коменданту Петропавловской крепости, отдал приказ посадить Пестеля в Алексеевский равелин, в знаменитую тюрьму, про которую издавна было известно, что из нее люди не выходят, а их выносят. Побег из равелина был невозможен: глубокий ров с подъемным мостом и высокой каменной стеной являлись надежной охраной. Караулов полагалось здесь много, и на каждом шагу стояла стража, неусыпная и беспощадная.

Первые недели в равелине были особенно ужасны сознанием своего бессилия перед государственной машиной, перед холодом и безмолвием могилы, наступившими раньше действительной смерти.

Но мало-помалу, как после зимы в природе вновь воскресают замершие жизненные силы, так и человек, скованный потрясением, как бы оживает, становится способным к борьбе и вдруг находит себя самого возродившимся, собранным. В нем вновь вспыхивают чувства и мысли. Так бывает с сильными духом, так было с Пестелем.

Когда внезапно открывалась дверь его каземата, на пороге появлялся безносый плац-майор Подушкин с двумя сторожами и, завязав Пестелю глаза носовым платком, уводил его на очередной допрос Следственной комиссии, Пестелю казалось, что он должен перед началом какой-то ему неизвестной, новой жизни заново пережить собственную биографию, глубже осознать ее и сделать выводы. Жизнь Пестеля так тесно была слита со всеми этапами развития тайного общества, что думать о них — значило думать о себе.

Давая свои показания, Пестель так ярко вспоминал прошедшие годы, будто переживал их вновь. Вот начало 17-го года; им заложен первый кирпич Общества — написан «Устав истинных и верных Сынов Отечества». Но едва он по делам службы уехал с графом Витгенштейном в Митаву, как члены Общества, втайне с ним несогласные, перекроили революционный устав. Три поездки Пестеля в Петербург с целью связать воедино разбросанные силы тайного общества — сейчас превращены Следственной комиссией в грозное обвинение. Собрание, на котором ему пришлось по просьбе членов

Общества делать доклад о сущности двух правлений — монархического и республиканского, Комиссия уже именует «известным заседанием у Глинки», где, оказывается, Пестель, словно по волшебству, превратил всех собравшихся, против их воли, в республиканцев!

Узнав в процессе допросов о показаниях ряда людей, Пестель с горечью и досадой убеждался в том, что кое-кто немало растерялся. С глубоким уважением вспоминал он Владимира Федосеевича Раевского, гордого, сильного человека, который уже пять лет томится в крепости Тирасполя и никого не оговорил, ничего не выдал. А как он пламенно чувствовал, как хорошо все понимал! Сам Пушкин позавидовал его стиху:

Как истукан, немой народ
Под игом дремлет в тайном страхе,
Над ним бичей кровавых род
И мысль и взор казнит на плахе...

Где-то он сейчас? Ведь его первого мечтал Пестель освободить в случае удачи...

Пестель знал, что арестованы и ближайшие друзья — Юшневский, Барятинский, Волконский, — и все сидят здесь же, в крепости... А где Лорер? Показал ли он, что «Русская правда» сокрыта? В памяти всплыло открытое лицо Лорера с весело искрящимися глазами... Нет, этот не выдаст.

Лорера привез в Петербург сам генерал Чернышев четвертого января на рассвете, когда в окнах уже светились огни. Как нарочно, карета проехала мимо дома дядюшки Лорера — князя Цицианова, где молодой Лорер немало повеселился. Знакомый подъезд, у которого Лорер уже не мог остановить карету, и то, что Черны-

шев перед явкой во дворец запретил Лореру побриться собственноручно, были первыми острыми ощущениями утраченной свободы...

Когда Лорера привезли на главную гауптвахту в Зимний дворец, он сразу начал бушевать в караульной. Столько раз он, бывало, сам дремал здесь, развалившись в кресле, как сейчас этот дежурный офицер, принявший его — арестанта!

Когда фельдъегерь, вбежавший с испуганным лицом, завопил: «Арестанта к государю!» — и вокруг Лорера выстроился конвой с саблями наголо, он вспыхнул и сказал тоном приказа:

— Ни шагу с конвоем! Пока я еще майор и ношу мундир. Стыдитесь, вы из дворца сделали съезжую!

Начальнический окрик даже со стороны человека, бесправного в эту минуту, оказал свое магическое действие: Лорера без конвоя впустили к генералу Левашову в эрмитажную комнату, торжественно освещенную.

Левашов немедленно заявил Лореру, что государь недоволен его упорным молчанием, и почтительным жестом указал на дальнюю дверь, из которой шествовал сам гневный царь. Николай был в измайловском сюртуке, застегнутом на все крючки и пуговицы, смотрел оловянными мертвящими глазами.

— Знаете, какая участь ждет вас? — закричал он и, не ожидая ответа, объявил сам: — Смерть!

Он красноречиво обвел рукой вокруг собственной шеи.

И все-таки никаких показаний Лорер не дал, вследствие чего вызванному фельдъегерю вручен был пакет с черной печатью, и Николая Ивановича весьма быстро примчали к крепостным воротам,

Под аркой ворот арестованного встретило глухое эхо, в котором ему почудился единый вздох всех жертв, доставленных сюда до него. В каземате, когда захлопнулась, скрипя на ржавых петлях, тяжелая дверь, Лорер огляделся: убогая койка, привинченный к стене столик, отвратительная «параша». Изношенный халат и огромные туфли, чтобы шлепать в них три аршина в длину и три в ширину, лежали на койке. Окошко — маленькое, очень высокое — было так замазано мелом, что даже в полдень свет в камеру проникал с трудом.

Как-то ночью явился в каземат плац-майор Подушкин со сторожем, несущим форменную тюремную одежду. Лорера с крепко завязанными глазами вывели во двор. Он шел как слепой, жадно глотал свежий воздух. В ярко освещенном зале квартиры коменданта крепости с лица Лорера сняли повязку.

Этот переход из мрачного каземата к торжественному великолепию орденоносного судилища, состоящего из двадцати генералов, почитался властями хорошей психологической мерой для устрашения узника. Однако Лорер нимало не устрашился. И когда его грозно спросили: «Где же «Русская правда» полковника Пестеля?» — он гордо повторил свое:

— Долг чести и клятва, данная товарищу, не позволяют мне открыть это.

Со всех сторон генералы хором вскричали:

— В колодки его! В железá!

Лорера увели.

Только на самом последнем допросе, когда Чернышев с раздражением протянул Лореру документ, написанный, несомненно, почерком самого Пестеля, где тот говорил о передаче «Русской правды», с целью ее

сокрытия, поручику Крюкову и штабс-капитану Черкасову в присутствии майора Лорера, Николай Иванович подписал: «Действительно так».

Из-за нежелания выдать «Русскую правду» попал, между прочим, в Алексеевский равелин и человек, не отягощенный никакой другой крупной виной, — Николай Васильевич Басаргин, старший адъютант Киселева.

И его, как Лорера, из темного каземата с окошком, замазанным мелом, привели с повязкой на глазах в ярко освещенный зал, наполненный генералами в орденах. Басаргин обстоятельно запомнил порядок, в котором они сидели.

Посредине восседал президент Татищев, налево от него — Голицын, начальник штаба граф Дибич, Чернышев, Бенкендорф. А направо — Левашов, Потапов, Адлерберг и другие. Делопроизводство вел Дмитрий Блудов, былой остроумный член «Арзамаса», достаточно известный своим свободомыслием. Облокотившись на спинку его стула, стоял великий князь Михаил, бездумно щуривший глаза на огни люстры. В глубоком кресле у мраморной колонны дремал генерал Павел Кутузов...

Чернышев, бывший особенно не в духе, бесцеремонно наскочил на Басаргина:

— Что знаете о «Русской правде», только без отговорок!

— Ничего не знаю.

— Вас заставят говорить. У нас есть средства... Вас закуют в кандалы!

Крик Чернышева заставил пробудиться захрапевшего было генерала Кутузова, и со сна он угрожающе зашамкал: «Да, да, в кандалы...»

— Ваше превосходительство, — сдерживая возмущение, сказал Басаргин, — вы были так утомлены, что уснули, и, значит, не можете судить, о чем меня спросил генерал Чернышев, между тем разделяете его гнев. Справедливо ли это?

Великий князь Михаил, после фрунтовой выправки всего более ценивший остроумные положения, усмехнулся. Генерал Дибич недовольно сказал Чернышеву:

— Нельзя же всех заковать в кандалы! Тем более что, может быть, поручик Басаргин говорит правду.

— Вам пришлют вопросы, — крикнул Басаргину несколько смущенный Чернышев, — ответите письменно!

* * *

В тиши томительного одиночества заключения, неослабно думая о своей «Русской правде», Пестель решил наконец, что она, лишенная надзора загнанных в Сибирь членов Общества и при всеобщей затравленности оставшихся на свободе, окажется, пожалуй, сохранней в подвалах государственного архива, чем похороненная где-то в земле. В этом государственном архиве «Русская правда» и долежит до более счастливых времен. На основании этих соображений Пестель и дал свои показания...

Теперь в часы допросов Пестель испытывал порой внутреннее торжество, доходящее до восторга. Это случалось, когда ему приходилось давать подробное изложение своего плана государственного устроения, пронизанного столь истинным демократизмом, какого и вообразить себе не могли представители власти. Сейчас

по должности они были обязаны выслушивать речи непостижимые и пугающие.

— Изъясните чистосердечно перед Следственной комиссией, чего, собственно, вы домогались вашими вольнодумными прожектами? —каменным голосом спрашивал генерал Левашов, издавна знакомый Пестелю как командир лейб-гусар и знаток лошадей. — Извольте изложить...

И Пестель излагал. В залах Эрмитажа, под картинами Сальватора Розы и Доменикино, торжественно звучали неслыханные здесь слова:

— Я хотел полного равенства граждан. Я хотел наибольшего благоденствия всех и каждого — вот основная идея моей «Русской правды»!

Свои речи Пестель неизменно сопровождал столь официальной подчеркнутой учтивостью, что она уже походила на издевательство: «Если уважаемая Комиссия примет к сведению... Если уважаемой Комиссии угодно меня выслушать...»

И после этого любезного предисловия он произносил слова, пугающие судей непримиримой твердостью:

— Всякое постановление, нарушающее равенство всех перед законом, я почитаю за нестерпимое зловластие. Всякое зловластие должно быть уничтожено, ибо оно ведет к жестокой несправедливости против наибольшей части народа.

С особой силой нападал Пестель на крепостное право, прямо глядя в тупые, бездушные лица придворных, творивших над ним суд и расправу, придворных, владеющих многими тысячами рабов. Свои собственные обвинения и приговор предъявлял он каждому, как бы пригвождая к позорному столбу:

— Рабство — это постыдно, противно человечеству, закону, противно самой религии, которую исповедуют крепостники.

И как естественную и разумную истину спокойно излагал свое знаменитое положение о земле:

— Земля — собственность всего рода человеческого, а не частных лиц, а посему не может быть в полном владении некоторых людей...

Внутренне остолбеневшие, но сохраняющие привычную важность члены Следственной комиссии внешне бесстрастно выслушивали речи о новых условиях существования русского государства. И единственным путем к переустройству русской жизни оказывался военный переворот с целью предоставления власти Временному правлению для свершения необходимых реформ. Наказом этой власти, охранной грамотой, ее советчиком и являлась «Русская правда».

Пестель опять чувствовал себя сильным и крепким, словно помолодевшим, ему казалось — он отлично сдает экзамен перед всей родиной.

«Да, все так, все было намечено правильно, оставалось только выполнить! Но уж, разумеется, ни одно из его слов не отложится убеждением в мозгу вот этих людей».

Пестель обводил глазами членов Следственной комиссии, придворных, задерживал взгляд на благообразном лице Адлерберга, товарища по Пажескому корпусу. В корпусе Адлерберг шел первым, пока поступивший на последний курс Пестель не отодвинул его на второе место. Сейчас этот Адлерберг был его судьей... Он присутствовал на заседаниях и допросах государственных преступников не как член Комиссии, а как ближайший

личный друг Николая. Раньше всех официальных докладчиков он рассказывал царю все, что угадывал, слышал, видел: был ли допрашиваемый трепетен или дерзок, раскаивался или упорствовал, как злодей, в своем нежелании быть искренним.

У судей и властей впечатление о Пестеле было единодушным. С каждым допросом Пестеля выяснялось, что он неколебимый, глубокий враг самодержавия. Стойкость его убеждений и богатство ума выделяли его из числа обвиняемых. Отсюда проистекал прямой вывод: Пестеля первого необходимо предать смертной казни. Разве может найтись какое-либо снисхождение для этого человека после всего, что он высказал хотя бы здесь, перед лицом Следственной комиссии? Разве не признал он, что настаивал на необходимости именно республики, а не ограниченной монархии на том основании, что перед его глазами стояли столь недавние примеры вероломного восстановления абсолютизма в Испании и Португалии? И дальше, развиваясь по пути железной логики, мысль этого человека приводила к неизбежности цареубийства, более того — к истреблению всей августейшей фамилии...

Странная запись о личности Пестеля составлена была протоиереем Мысловским, священником, приставленным для «духовной связи» преступников с властями:

«Пестель есть отличнейший в сонме заговорщиков, как по данному ему воспитанию, так и по твердости духа. Быстр, решителен, красноречив в высшей степени. Математик глубокий, тактик военный превосходный... Никого из подсудимых не спрашиваем в Комитете более его, никто не выдержал столько очных ставок. Везде и всегда он равен самому себе. Ничто не

колебало гордости его, казалось, он готов один вынести на плечах своих тяжесть двух альпийских гор. Комиссии он всегда отвечает с видимой гордостью, с каким-то самомнением».

* * *

Однажды на допросе Пестель невольно вздрогнул, когда судьи предъявили ему показание Александра Поджио, которое стало фундаментом обвинительного сооружения: Поджио, член Южного общества, смелый человек, настолько преданный Пестелю, что, не задумываясь, пытался организовать освобождение его из Бернардинского монастыря, вдруг, неизвестно по каким причинам, рассказал Комиссии о том, что происходило только между ними, с глазу на глаз. «Уж не пытали ль его?» — промелькнуло у Пестеля.

— Вы хладнокровно, по пальцам, перечисляли имена царской фамилии. Дойдя до числа тринадцать, вы привели Поджио в ужас, помедлили и с жестоким злорадством продолжали этот ваш счет по пальцам...

Генерал Левашов говорил с верноподданническим гневом вместо обычного бесстрастия. Щеки его дрожали. Сидевший рядом член Комиссии тонким голосом повторял присказку из добродетельной повести:

— Признавайтесь чистосердечно!

С печальным недоумением Пестель сказал:

— Да, так я говорил с Поджио, когда в сентябре двадцать четвертого года он был у меня, однако без всяких театральных жестов, мне не свойственных. И не жестокость и злорадство руководили мною, а необходимость вести начатое дело до конца, сохраняя сколько

возможно жизнь народу. Я же лично никого не ненавидел. Но я люблю свою родину и до последней капли крови хотел ей служить. Честь имею доложить: я имел намерение приносить родине только благо. Я видел, что благоденствие и злополучие народов зависят всецело от существующего правительства. Это сознание родило во мне склонность к наукам, которые об этих предметах толкуют и указывают правильный путь к моей цели.

О своих планах и действиях Пестель на допросах говорил много и подробно. Относительно же других — был скуп на слова. На коварный вопрос Комиссии о принадлежности к тайному обществу «вышних лиц» решительно отрицал связь с Мордвиновым, и со Сперанским, и с кем бы то ни было.

Между тем до Николая уже дошло, что Сперанского и Мордвинова члены тайного общества прочили во Временное правление. Больше того — царю донесли, будто Сперанский, которому намекнули об этом проекте заговорщиков, загадочно улыбнувшись, сказал: «Такие вещи можно предполагать лишь *после* несомненной удачи свершения».

И вот по проекту императора именно Сперанский должен был создать Пестелю вину «особую, вне всяких разрядов состоящую».

* * *

В свое время попытка Сперанского ввести в государственное управление ряд важных реформ вызвала возмущение в среде старого дворянства. Карамзин разрешился таким афоризмом по адресу Сперанского:

«Министр есть только рука венценосца, а рука не более головы». И еще прошелся насчет неприятных ему нововведений Сперанского: «Он шьет нам кафтан по чужой мерке, новая форма его законов чужда русским».

Труды Сперанского в те годы были встречены в штыки. Придворная знать кричала, что он хочет будущее ввести в настоящее. Она не могла понять, что реформы Сперанского — лишь политика малых уступок и малых поправок во имя сохранения привилегий того же дворянства, во имя предотвращения революции. А сам Сперанский в докладной записке о предполагаемых реформах выразился так: «К 1811 году Россия восприимет новое бытие и совершенно во всех частях преобразится».

Но вышло иначе...

Ненависть к Сперанскому, как к выскочке, не имела пределов среди знати, но еще большее число врагов прибавили ему два указа, направленные против безделья и безграмотности чиновников, которых он заставил, невзирая на возраст, заново держать экзамены.

До мнительного Александра доведены были все язвительные на его счет слова, сказанные якобы Сперанским. Тщеславие царя было так уязвлено, что он не стал особенно защищать своего неблагодарного статс-секретаря от обвинения его в измене и в тайных сношениях с Наполеоном.

Сперанского, ославленного изменником, Александр решил убрать подальше, и вчерашний советчик царя, полновластный статс-секретарь, отправлен был сначала в Нижний Новгород, а позже — в Пермь.

Даже в те славные дни, когда Наполеона изгнали из России и отечество торжествовало победу, опальному вельможе было отказано в его просьбе вернуться в Петербург к горячо любимой единственной дочери. Более того, его вдруг назначили генерал-губернатором Сибири, где пришлось ему в труднейших условиях, в борьбе с лихоимством чиновников, провести года два и совершенно расстроить здоровье.

Александр в измену Сперанского никогда не верил, даже говорил, расписываясь в своей слабохарактерности: «Но я же не мог противостоять силам, заставившим меня расстаться с ним».

Чтобы вернуться в столицу, Сперанскому оставалось поклониться Аракчееву, все прибравшему к своим рукам. Он поклонился и был возвращен. Но прежняя близость к Александру уже не возобновилась...

Сейчас Сперанский опять понадобился. Новому царю нужен был его гибкий ум и великая опытность знаменитого статс-секретаря прошлых лет, чтобы придать несправедливому, беззаконному делу форму какой-то законности. Когда же Николай узнал, что имя Сперанского значилось чуть ли не первым в списке членов предполагаемого заговорщиками нового Временного правления, он и вовсе не стал церемониться со Сперанским.

Царь вызвал его к себе, недвусмысленно дал ему понять, что пришло время доказать на большом государственном деле свою преданность венценосцу и что царская воля относительно декабрьского мятежа такова: самое пристальное изыскание вины подсудимых, самые строгие отсюда выводы о необходимости высшей кары.

И Сперанский нового царя понял и дал свое согласие вести это дело. За плечами у него уже был тяжелый опыт царской немилости, разбитое ссылкой здоровье, и новая разлука с дочерью казалась непереносимой. К тому же, в случае отказа, ввиду особых надежд на него со стороны членов тайного общества, сам Сперанский немедленно из обвинителя превратился бы в обвиняемого.

Работа в Следственной комиссии жестоко угнетала Сперанского. Тем более что многих заговорщиков он знал лично, дружил с их семьями, сами они чуть не с детства бывали в его доме.

В эти мучительные месяцы от непрерывных душевных терзаний Сперанский превратился в собственную тень, и дочь неоднократно слышала, как он по ночам рыдал в своей спальне. А днем, послушный и верноподданный чиновник, он изыскивал тяжелую вину Пестеля, которого юридически было труднее всех прочих подвести под высшую кару, ибо он не был, как другие, схвачен с оружием в руках, на площадь не выходил, а уже 13 декабря без всякого сопротивления арестован у себя в Тульчине.

Но Следственная комиссия работала неустанно, и нужные обвинения для состава особой вины Пестеля накапливались...

Сперанский свел все дело к распределению подсудимых по разрядам согласно степени их виновности. Избранная для этого специальная «разрядная» комиссия под его руководством принялась измышлять материалы для определения глубины преступления каждого. И когда дело приняло привычную канцелярскую форму, Сперанскому стало легче.

* * *

23 февраля 26-го года Иван Борисович Пестель выбрался из своей Смоленской губернии в Петербург, но свидания с сыном добился не сразу. Через пастора Рейнбота, который как лицо духовное имел свободный вход в казематы, он узнал подробности о сыне. В своей наивной манере, трогательно стараясь хоть немного рассеять великое горе жены и дочери, старик написал им: «Павел Иванович находится в 13-м номере Алексеевского равелина... Не в пример прочим, его комната большая и светлая, хотя и с решеткою перед окном. Воздух в ней чист... На Павле Ивановиче был шелковый летний халат, у стены стояла кровать с опрятной и приличной постелью, стол, стулья... На постели лежал другой, ваточный халат. Сам он был выбрит, казался здоров. Пастор Рейнбот не заметил никакой перемены в его наружности».

Этот Рейнбот, давнишний друг старика Пестеля, пользуясь правом входа в казематы, помогал узнику воссоздать картину происшествий, участником которых Пестель не был и очень мало мог о них узнать ввиду своего раннего ареста. Пестелю теперь стало возможно воссоздать в своем воображении и день 14 декабря и черниговское восстание...

* * *

Многих товарищей повидал Пестель на очных ставках и горестно убедился, сколь изменило их одиночное заключение.

Предстояла очная ставка с Сергеем Муравьевым,

Этот человек, взятый «с оружием в руках», оказавший правительственным войскам безумно дерзкое сопротивление, после которого для него и сомнений быть не могло в роковом приговоре, сохранил и в тюрьме все свое благородное достоинство. Сколько его ни донимали в Следственной комиссии, умело выпытывая показания против Пестеля, Сергей Иванович коротко и просто говорил одно:

— Я и он, мы больше всех прочих членов Общества имели влияние своими речами.

Встреча в тюремных стенах с Муравьевым-Апостолом потрясла Пестеля. Сергей Иванович стоял перед ним худой, очень бледный, с головой, еще затянутой бинтами, но глаза его смотрели все так же честно и бесстрашно.

Пестель во время очной ставки, когда Левашов что-то долго разъяснял какому-то генералу, воспользовался минуткой и шепнул Муравьеву одними губами:

— По-братски соединим наши участи, дорогой друг!

Сергей Иванович светло улыбнулся, чуть кивнул забинтованной головой.

* * *

Басаргина поместили в такой сырой каземат, что он вскоре заболел. Следственная комиссия, боясь, чтобы кто-либо из подсудимых не умер под следствием, перевела его в каземат посуше. Здесь соседом его оказался Бестужев-Рюмин, и Басаргин стал невольным свидетелем последних недель его жизни.

Бестужева держали в цепях, бороду брить не дозволялось, и он так густо оброс волосами, что сейчас ему

никак нельзя было дать его двадцати трех лет. Он был просто страшен, когда, гремя цепями, шел по коридору. Его то и дело водили на допрос, забрасывали вопросами, мучили очными ставками... По впечатлению Басаргина это был мягкий, добрый, даже простодушный юноша. Весной, когда следствие близилось к концу, над Бестужевым уже навис смертный приговор. Его стали выпускать на прогулку, как и всех, в крошечный садик и однажды предложили побриться. Он добродушно удивлялся, почему вдруг стали проявлять такое внимание к нему, — мысль о смертной казни ему совсем не приходила в голову вследствие ложных, но утешающих слов, расточаемых протоиереем Мысловским. Император был заинтересован, чтобы весь разбор дела о восстании 14 декабря протекал и завершился как можно глаже.

Бестужев предполагал, что его увезут куда-нибудь в заточение, и мечтал об одном: остаться неразлучным с дорогим ему Сергеем Ивановичем. Он так и говорил Басаргину:

— Хоть на всю жизнь, но только неразлучно!

* * *

Перед самой «сентенцией» несколько ослаблен был надзор за узниками. Они обменивались записками через старого ефрейтора или просто один выбегал в коридор в ту минуту, когда другого выводили на прогулку.

Бестужев-Рюмин нашел случай сказать Басаргину:

— Прошу вас, если увезут меня в заточение на всю жизнь, дайте знать обо мне друзьям и родным. Оправдайте меня перед теми, о которых я должен был

что-то говорить на следствии. Вы ведь знаете, как измучила меня Комиссия.

К концу следствия сторожа перезнакомились с заключенными и до такой степени расположились к ним, что один из сторожей — Соколов умудрялся приносить из Милютиных лавок превеликое баловство — свежие фрукты: апельсины, груши, лимоны. За это угощение он не желал брать денег, уверяя, что продавец не принимает от него и четвертака, узнав, для каких «господ заключенных» в крепости предназначается этот гостинец.

В каземате совсем рядом с Пестелем сидел мало ему знакомый офицер Михаил Бестужев, тот, который первым вступил 14 декабря на Сенатскую площадь со своим батальоном Московского полка. Неустанно думая о своем старшем брате Николае, Михаил Бестужев стал как-то насвистывать его любимую песенку, и велика была его радость, когда в соседней камере мотив был подхвачен таким же свистом. Немедленно влетела озабоченная стража. Братья умолкли, но связь была установлена, они обнаружили друг друга и стали усиленно перестукиваться. Николай Бестужев — умница, всесторонне талантливый человек — скоро изобрел такую простую и легкую азбуку, что братья, выбрав подходящий час, ежедневно вели длинные разговоры при помощи легчайшего стука и великолепно понимали друг друга.

Николай рассказал брату про свое любопытное свидание с царем:

— Привели меня со столь туго связанными руками, что веревки буквально впились в тело. Я только из гордости не кричал, но со злостью сказал самому: «Ваше

величество, если вы хотите, чтобы развязался мой язык, прикажите прежде всего развязать мне руки и дайте мне поесть, я двое суток не ел». — К изумлению Николая Бестужева, ему был дан придворный обед с шампанским.

Михаил Бестужев, выслушав рассказ брата, расхохотался.

Смех этот возбудил подозрение стражей, и пришлось отложить продолжение разговора до завтрашнего вечера. Михаил с гордостью думал о брате, был уверен, что и на самого «льва», как и на всех, он произвел неотразимое впечатление своей твердостью, спокойствием и прямотой.

И, вероятно, так оно и было, потому что вечером следующего дня, когда братья возобновили перестукивание, Николай рассказал необыкновенные вещи. Царь неожиданно сказал ему: «Как самодержавный государь, я на себя одного могу взять решение судьбы любого из моих подданных. Могу казнить или помиловать. И если я буду иметь уверенность, что отныне ты станешь мне верным слугой, я тебя помилую. Отвечай!»

Дежурный, глядя в глазок, обеспокоился и постучал в стеклышко. Михаил выскочил из своего «переговорного угла» и зашагал по камере, с волнением думая о том, что мог ответить царю его брат. И как, должно быть, царь, когда делал ему свое предложение, упивался безграничностью своей власти, уподобляющей его самому господу богу! В ту минуту он, вероятно, действительно готов был на милость, ожидая великой благодарности, и, уж конечно, в ответе не сомневался...

— Говори скорей, что же ты ответил царю? — постучал Михаил брату, как только опять стало возможно разговаривать.

— Государственный преступник Николай Бестужев обманул августейшие ожидания,— иронически выстукал старший брат, — он сказал «льву» с укоризной: «Ведь мы как раз на то и жалуемся, что у нас государь может все, для него нет закона. Поймите, судьба всех людей не может зависеть от ваших капризов или минутных настроений».

— Горжусь тобою, Николай, горжусь... — зачастил в стенку Михаил. — А дальше что?

— А дальше то, что Николай Бестужев, не заслужив царской милости, попал в Алексеевский равелин, рядом с братом своим Михаилом с одной стороны и Сашей Одоевским — с другой.

— А еще кто здесь близко? — спросил Михаил.

— Кондратий Рылеев. Надо нам до него достучаться, хотя бы через Одоевского.

Но все усилия обучить Одоевского перестукиванию оказались напрасными. Он так бурно и непонятно громыхал в ответ, что пришлось прекратить общение с ним, тем более что Одоевский, видимо, не знал наизусть и подряд все буквы русской азбуки.

А как важно было достучаться до Рылеева! Товарищи, глубоко его уважавшие и любившие, опасались, чтобы он, в своей безмерной доверчивости, не попался на хитрую удочку Комиссии, и главное — самого царя.

Николай Бестужев ломал голову, как связаться с Рылеевым, но счастливый случай помог ему увидеть его самого.

Посреди безмолвного кладбища равелина, в самой середине его, был крошечный треугольный садик с чахлой березой и кустами черной смородины. Туда государственных преступников по очереди водили гулять. Рылеева — всегда почему-то во время ужина. И вот однажды ефрейтор, унося столовую посуду от Николая Бестужева, открыл дверь в ту самую минуту, когда Рылеев проходил мимо.

Они бросились друг к другу, но едва успели обняться, как насмерть перепуганные сторожа схватили Бестужева, втолкнули обратно и захлопнули за ним железную дверь.

Горько рыдал всегда сдержанный Николай Бестужев, не мог сдержать слез и Михаил, когда брат поздно ночью отстукал ему про эту встречу, про то, как сильно исхудал Рылеев, как потухли его глаза, когда-то так ярко горевшие.

Оба глубоко любили Рылеева и очень страдали, убеждаясь по ходу допросов, что, по существу, он всю вину берет на себя. Одного себя делает источником всех «преступных действий». За себя он бы не испугался, если бы ему грозила даже смертная казнь! Но, по счастью, казнь не грозит никому... Так думали почти все заключенные в крепости.

Один только Пестель не сомневался, что расправа предстоит лютая. Очень скоро он угадал настоящее решение Николая по их делу. Тупая уверенность царя в своем божественном праве на власть и вытекающие из этой уверенности готовность, необходимость, даже священный долг покарать людей, злоумышлявших цареубийство, диктовали царю единственное решение: смертная казнь всем посягнувшим на царский трон.

Кроме унаследованного от отца коварства, у молодого императора оказался недюжинный собственный дар — умение актерствовать и интриговать.

Боясь упустить нити заговора, не доверяя никому при охватившей все его существо подозрительности, Николай сам добровольно сделался во время процесса над государственными преступниками их следователем, тюремщиком и судьей. Он входил в мельчайшие подробности следствия, кому присуждал «давать чай», кому «выдавать табак за мой счет», кому «железа́, и содержать как последнего злодея». Для того чтобы выжать признание, он не стыдился надевать разнообразнейшие маски.

Какие находил он актерские способы обхождения! От отеческой сердечной взволнованности, как это было при допросе Каховского, он переходил к грозному, устрашающему окрику, как, например, при первой встрече с немолодым уже, солидным бароном Штейнгелем:

— И ты среди них? Знал и не сказал?

— Я не мог дать право назвать себя подлецом, — ответил Штейнгель.

— А теперь... как мне тебя называть?!

Или с Якушкиным, на которого кричал особенно грубо, раздраженный его выдержкой и достоинством:

— Если не хотите, чтобы с вами обращались как со свиньей, забудьте ваше мерзкое честное слово, данное товарищам. — И наконец царское раздражение переходило в неистовый крик: — Заковать так, чтоб и шевелиться не мог! В ручные! В ножные железа! Содержать как последнего злодея!

Он определял вину не по поступкам, а больше по выражению лица узника, по его независимому поведению, по отсутствию верноподданнического трепета.

Иных подсудимых, людей мягкого характера, можно было поймать на удочку царского великодушия. Сами доверчивые, благородные, они не могли не поверить сердечным словам царя... И Николай, глубоко скрыв свою ненависть и отвращение к арестованному, умел превосходно играть благородную роль человека, который горит жаждой служения родине и ждет от своих узников помощи и совета, как ему, царю, лучше выполнить великий долг.

Этой своей искусной игрой Николай добился того, что иные члены тайного общества поверили ему, а поверив, тут же решили, что прямой их долг — спасти товарищей, предупредить дальнейшие действия: милосердие и благородство царя казались несомненными...

— Но где же еще замышляется восстание? Кто эти несчастные, ослепленные? Кому надлежит скорей, по-товарищески открыть глаза? Пусть узнают, что на троне ждет их искренний друг, а не враг. Я жду союза с ними, но с кем же именно? — вкрадчиво дознавался император.

Из старых доносов Шервуда, Майбороды, Ростовцева, из данных следствия он уже знал многое и не скрывал этого от допрашиваемых, добиваясь подтверждения имен и фактов, вылавливая новые нити.

И нашлись доверчивые, не искушенные во лжи и притворстве души...

Поняв по вопросам отечески озабоченного царя, что он уже осведомлен о движении на Юге, Рылеев не счел нужным прятать правду.

— Я долгом совести и честного гражданина почитаю открыть, — говорил он со своим честным взором и вдохновенным лицом, — что около Киева в полках действительно существует тайное общество. Трубецкой может назвать главных.

И Трубецкой называл...

В ответ Николай сердечно заверял, что наказания просто-напросто не будет, что ему, горящему одной любовью к родине, важней всего узнать как можно скорее ее раны, чтобы стать ее лекарем.

Свои благородные речи царь как бы подтверждал и некоторыми примерами. Он выпустил из крепости сыновей генерала Раевского, вовсе не арестовал молодого Витгенштейна, Шипова. Помиловал генерал-майора Орлова, помиловал, то есть сделал то, от чего столь надменно отказался Николай Бестужев...

Некоторые заключенные видели при въезде в крепость Михаила Федоровича Орлова. Он сидел у окна в одной из комнат, расположенных над воротами, курил трубку.

Брат его, Алексей, командир Конного полка, показал себя 14 декабря ярым приверженцем Николая, и царь считал себя обязанным ему навеки. Алексей Орлов многократно умолял Николая простить Михаила Федоровича. Имея свободный вход к брату в камеру, Алексей Орлов диктовал ему соответствующие ответы на вопросы Следственной комиссии. Наконец он выбрал удачный момент, когда Николай шествовал к причастию. Алексей Орлов пал в ноги царю и снова запросил прощения брату. Император ощутил прилив державного великодушия и помиловал генерал-майора Михаила Орлова. Глубокой ночью к крепости подкатил закры-

тый возок, остановился у офицерского помещения, и два сторожа, униженно кланяясь за щедрое «на чай», подсадили в возок именитого узника, плотно запахнувшегося в шинель с бобрами. Орлов тотчас уехал в предписанное ему пожизненное изгнание — в собственное имение, к собственной семье.

Оставшиеся в крепости говорили о нем без всякой зависти, но с большой горечью и удивлением. Особенно раздосадован был Иван Дмитриевич Якушкин.

В последний раз он виделся с Михаилом Федоровичем в памятный вечер, когда в Москве собирали совещание о том, как бы успешнее поднять московские войска на помощь Петербургу. Получено было взволновавшее всех письмо Пущина с такими словами: «Нас назовут подлецами, если мы сейчас не поможем». И все готовы были, если даже помощь Петербургу опоздала, выступить, чтобы до конца выполнить обещание, данное тайному обществу и товарищам.

Внезапно стало известно, что в открытых санях, прямо от Николая, примчался к генерал-губернатору гонец с эстафетой: «У нас только что потушили пожар, примите меры, чтобы у вас не случилось подобного». Тотчас в Успенском соборе Филарет вынес из алтаря золотой ящичек с судьбой России — завещанием Александра в пользу Николая. Вся Москва присягнула тогда Николаю. Вслед за этим у членов московского тайного общества сразу возникли сомнения: следует ли теперь генералу Фонвизину подымать войска в Хамовнических казармах? Нужно было принять по этому поводу решение, и Якушкина послали пригласить на собрание генерала Михаила Федоровича Орлова, который жил близ Донского монастыря...

Орлов оказался в парадной форме — с лентой и при звездах, и можно было подумать, что он только что вернулся от присяги, если бы он не поспешил заявить: «Ни на какое собрание я ехать не могу, я сказался больным, чтобы не присягать. Берите-ка с собой на собрание вот его, — и он указал на приехавшего только что Муханова, — он знает лично всех деятелей четырнадцатого декабря...»

Муханов — рыжий, неприятных манер человек, доселе не знакомый Якушкину, показался ему легковесным хвастуном, когда развязно объявил:

— Надо сейчас же ехать в Петербург и убить Николая. Можно в эфесе шпаги заложить совсем маленький пистолет и выстрелить в упор...

Якушкину, строгому и прямодушному, очень все это не понравилось, и с невольной иронией он, поклонившись, сказал Орлову:

— При теперешних обстоятельствах связь со мной может подвергнуть вас опасности. Я обещаю никогда вас не посещать...

Сейчас Якушкин, оскорбленный тайным освобождением Орлова из крепости, невольно противопоставил ему Михаила Сергеевича Лунина, которого недавно привезли сюда же. Уже все знали, что великий князь цесаревич Константин настоятельно предлагал ему уехать за границу, сам принес необходимый паспорт и снабжал средствами, но Лунин отказался наотрез, сказав: «Я разделяю убеждения моих товарищей и сейчас, когда они в крепости, разделю их участь».

Между тем император, продолжая свою расчетливую и коварную игру, всеми хитроумными мерами старался возбуждать в узниках чувство доверия и благодарности.

Проявления царской милости носили самый разнообразный характер. Жене Рылеева, жившей в нужде, он послал от себя лично две тысячи рублей, а императрица подарила дочери Рылеева Настеньке на именины — тысячу. Оболенскому, обожавшему своего старого отца, измученному отсутствием от него вестей, внезапно передано было письмо. Но всего совершеннее удалось царю сыграть свою роль перед Каховским. Николай изучил и усвоил его речи, понял романтическую натуру. Он говорил с Каховским как истый друг и единомышленник. В заключение, проливая кроткие слезы, обнимая Каховского, Николай вымолвил: «А ты... а вы... всех нас хотели зарезать?»

Сердце Каховского дрогнуло, и он, как и многие другие, поверил, что молодой монарх живет готовностью стать слугой родины, отцом своих подданных.

На самом же деле у Николая не было и тени великодушия, ни малейшего сомнения и колебания по поводу приговора всем обласканным им узникам. Императрица-мать к тому же торопила принять самые крайние меры, дабы надежно искоренить революционные настроения.

И Николай не медлил. Уже шестого мая он набросал черновик приказа об учреждении Верховного уголовного суда, а двадцать девятого мая военный министр Татищев сообщил Сперанскому: «Государю императору благоугодно, чтобы ваше превосходительство прибыли в Царское Село, дабы представить бумаги по Верховному уголовному суду».

Еще до начала деятельности этого суда Николай бесповоротно решил завершить процесс смертною казнью главарей заговора. Жестокой кары требовало и

его собственное самодержавное достоинство, столь сильно оскорбленное на Сенатской площади 14 декабря.

Третьего июня, когда еще никаких официальных приговоров не было, Николай пишет брату Константину: «В четверг начался суд с десяти утра до трех пополудни, затем наступит казнь. Предполагаю произвести ее на эспланаде крепости...»

Все действия и выводы Верховного уголовного суда оказались строго предопределенными. Даже председатели ревизионной комиссии были поставлены в точные рамки. Членам суда запретили вступать в объяснения с подсудимыми, а ревизионная комиссия должна была предложить каждому подсудимому только три одинаковых для всех вопроса и добиться получения на них утвердительных ответов. Вопросы были такие: «Рукою ли самого подсудимого написаны его показания?», «Добровольно ли они подписаны?», «Была ли предоставлена очная ставка?»

Юридический фундамент под эти распоряжения Николая измыслил и подвел Сперанский. Его же рукой написаны были черновики всех судебных актов и рескриптов самого Николая.

* * *

По данным допросов, учиненных Пестелю и другим членам тайного общества, и очных ставок воздвигли обвинение, необходимое для осуждения на смертную казнь. В окончательном виде виновность Пестеля предстала примерно в такой форме: «...беспрерывно и ревностно действовал в рядах Общества с самого его появления до своего арестования. Он не только самовластно

управлял Южным обществом, но имел решительное влияние на дела и Северного. Он господствовал над сочленами своими, обворожил их обширными познаниями, увлекал их словами. Намерением своим полагал преступно разрушить существующий образ правления, ниспровергнуть престол и лишить жизни августейших особ».

Словом, Пестель был главой Общества и основной пружиной его действий.

Установив одиннадцать разрядов степени виновности каждого, Верховный уголовный суд выделил вне всяких разрядов пятерых: Пестеля, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина, Рылеева и Каховского.

Между тем узники Петропавловской крепости все еще не ведали об этом. Заседания Следственной комиссии велись теперь все реже, и самое последнее время придворные судьи держались с оттенком как бы отеческого добродушия.

Один из членов Комиссии сказал как-то Лореру:

— Согласитесь, майор, все ваши вольнодумства вы почерпнули из вредных книг. А вот я за всю жизнь ровно ничего не читал, кроме святцев, — то-то и ношу на груди целых три звезды!

Случилось даже так, что один из подсудимых развеселил всю Комиссию, когда, утомленный однообразием допроса, воскликнул, обратясь к старым генералам, украшенным орденами:

— Были бы вы сами сейчас поручиками, непременно оказались бы в числе членов тайного общества!

Словом, настроение узников стало много бодрей. Надзор стражи, привыкшей к своим заключенным, силь-

но ослабел. Сторожа теперь сами переносили записки и слухи из камеры в камеру. Из города в крепость, кем-то измышленная, долетела и такая радужная весть: судить будут в сенате, при открытых дверях!

Даже и те, которые не поверили этой новости, ободрились. Никто не сомневался в том, что на суде будет, конечно, дано право защищать себя. Так много сделал Николай для укрепления версии о его милосердии, которым он посулил «удивить Европу».

И действительно удивил...

Как-то утром под окнами казематов послышался необычный шум — топот коней двух жандармских эскадронов. Мигом взобравшись на свои окна, защищенные решеткой, узники сквозь замазанные стекла с трудом разглядели вереницы карет с сенаторами и духовенством, которые величаво двигались к подъезду комендантского дома.

Терялись в догадках — что бы это могло означать. Вскоре открылись двери одиночных камер, и сторожа, предводительствуемые неизбежным безносым плац-майором Подушкиным, внесли арестованным их собственные одежды. Затем, обычным порядком, узников повели в дом коменданта. Там, в небольшой комнате, куда их вводили поодиночке, один из сенаторов, предъявляя каждому запись его собственных показаний, вежливо предлагал расписаться в их подлинности, ибо «государю благоугодно проверить беспристрастие действий комитета».

Узников оказалось более сотни, сенатор торопил, расписывались, не перечитывая документов, тем более что сенатор не выпускал «дело» из своих рук и можно было только наскоро перелистать его.

И никому из заключенных не пришло в голову, что эти подписи — последнее, чего от них домогались получить перед объявлением приговора.

* * *

Пятерых «внеразрядных» суд приговорил к четвертованию, а подсудимых, отнесенных к первому разряду, — к отсечению головы.

Причина подобного решения была определена следующими словами:

«Превосходя других во всех злых умыслах силою примера, неукротимостью злобы, свирепым упорством, хладнокровною готовностью к цареубийству, они стоят вне всякого сравнения».

Судьи не додумались бы до столь жестоких казней, но им сверху дано было понять, что «царю желателен приговор самый крайний по строгости, дабы, смягчив его, он тем явственней мог проявить свое милосердие».

Председателю Верховного уголовного суда князю Лопухину было передано письмо, где ясно выражалась воля государя: его величество, оказывается, «не давал соизволения» ни на четвертование, ни на расстреляние, ни на отсечение головы — словом, ни на какую смертную казнь, «с пролитием крови сопряженную».

Не беря пера в руки, не касаясь бумаги, через своего генерал-адъютанта Николай проявил обещанное милосердие: четвертование заменено было повешением, а отсечение головы — каторгой навечно. Остальным десяти разрядам только незначительно сокращены были сроки ссылки.

Таков оказался приговор, вынесенный узникам без всякого суда, без всякой защиты и самозащиты, по одному лишь произволу царя.

Первыми должны были выслушать смертный приговор пятеро, поставленные вне разрядов...

Пестеля, Рылеева, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина и Каховского, окруженных вооруженной стражей, медленно повели по всему ряду комнат комендантской квартиры — к большому залу, где до сих пор происходили заседания Следственной комиссии.

Дверь зала была плотно закрыта. Когда узники подошли близко, два чиновника с преднамеренным расчетом эффектно распахнули перед ними дверь.

Глазам вошедших представилось торжественное зрелище: в длинной комнате стоял «покоем» огромный стол, празднично покрытый красным сукном. В центре сидели четыре митрополита с бриллиантовыми сверкающими крестами на белоснежных клобуках. По обеим сторонам — члены Государственного совета и генералы в орденах и регалиях. Вокруг стола, кроме того, сидели сенаторы. На красном сукне горело золотом и радужно переливалось неизбежное «зерцало». Окна в старинном зале с низким потолком были закрыты наглухо. Июльское солнце пекло, и генералы задыхались в своих парадных мундирах.

Подсудимых выстроили в шеренгу, лицом к сенаторам и духовенству. Рылеев оказался между Пестелем и Сергеем Муравьевым. Радость встречи захватила их так сильно, что помешала услышать первые слова читаемой вслух бумаги.

Муравьев чуть коснулся руки Бестужева и посмотрел в его постаревшее, измученное полугодовым заклю-

чением лицо с такой любовью, словно передавал ему свою силу и бодрость. В эти тяжелые минуты он стал мощной поддержкой своему юному другу: глаза Бестужева-Рюмина, совсем было потухшие, опять, как прежде, засветились отвагой.

Каховский стоял сумрачный, полный гнева и горечи. Он не переставал тяжко переживать весь ужас актерского коварства царя, наконец ему раскрывшийся. Он негодовал на себя: как мог, словно разнеженный отцовской лаской юноша, дать завлечь себя в подставленную ловушку и с полной откровенностью рассказать все, что знал! Как искренно поверил он царю, что эта откровенность была необходима для блага родины! Царь же все выведал, ограбил его душу и бросил палачам.

Глазами, измученными бессонницей, Каховский угрюмо смотрел на большой пюпитр — как аналой, вынесенный в церкви для молебна. Пюпитр был установлен впереди стола, за которым восседали блестящие мундиры. Казалось, лиц над этими мундирами вовсе не было.

На судейском аналое лежала огромная книга. Белокурый щеголеватый чиновник раскрыл ее театральным жестом и стал читать тот самый приговор, который, по воле царя, Верховный суд вынес обвиняемым без всякого судебного разбирательства.

Щеголеватый чиновник, как актер перед большой публикой, поглощен был только тем, чтобы отменно сыграть свою роль. С многозначительными паузами, с пафосом оглашал он все виды преступлений каждого из стоящих перед ним подсудимых...

— ...Рылеев Кондратий умышлял цареубийство и назначал к совершению сего члена тайного общества...

Каховский дернулся, поднял голову. Казалось, он сейчас крикнет: «Неправда! Сам я вызвался. Никто меня не назначал. Я полагал свершить подвиг, высший подвиг гражданина, а не разбойничий акт по приказу Рылеева!»

Но, окинув горящими глазами всех сидевших вокруг стола, он ничего не сказал и только до крови закусил губу. Лица высшего духовного сана и сенаторы привставали с мест, чтобы лучше разглядеть «преступников», — сверкавшее на столе «зерцало» слепило глаза, мешало смотреть. А белокурый чиновник, голосом выражая крайнее возмущение, читал о причинах, заставивших суд выделить пятерых в особый список.

— ...Превосходя других во всех злых умыслах силою примера, неукротимостью злобы, свирепым упорством, хладнокровною готовностью к цареубийству, они стоят вне всякого сравнения. Суд приговорил их к смертной казни...

Осужденные стояли молча, не проявляя никакого потрясения. Казалось — они не слышали ни одного из этих мертвящих слов.

Рылеев даже улыбнулся, шепнув Пестелю: «Теперь уж вместе!»

Пестель улыбнулся в ответ, а Муравьев словно присоединился к обоим, глянув на них глазами, засиявшими глубоким чувством.

Щеголеватый чиновник, помедлив, с особым удовольствием договорил, растягивая слова:

— Приговорены к смертной казни — че-твер-то-ва-ни-ем.

Генералы, судьи, сидевшие амфитеатром, и духовенство зашевелились. Кто-то охнул...

Осужденные стояли, не дрогнув. Они, казалось, недоумевали — так нелепо прозвучало странное слово, прочитанное чиновником. Разум отказывался принимать смысл и значение этого приговора. Просто — *это* их не касалось.

Бестужев-Рюмин вспомнил вдруг Емельяна Пугачева: ведь вот его приговорили к четвертованию! Вспомнил, что палач пожалел народного героя и, вместо страшного длительного мучения, отхватил ему вмиг буйну голову... Тот палач пожалел, а эти?

Чиновник выждал паузу для вящего впечатления и торжественно провозгласил:

— Решение о смягчении приговора, сообразуясь с высоким монаршим милосердием, следующее: Пестеля Павла, Рылеева Кондратия, Муравьева-Апостола Сергея, Бестужева-Рюмина Михаила и Каховского Петра присуждено *повесить.*

Пестель подумал об отце, старом вояке: надо, чтобы он не узнал про уготованную его сыну виселицу. Старику легче было бы узнать про расстрел... Муравьев крепко сжал руку Бестужеву, молча призывая его к полному самообладанию. Каховский презрительно глядел в сторону. Рылеев задумчиво рассматривал картину на стене...

Поведение приговоренных не доставило никакого удовлетворения судьям. Ожидаемых рыданий, обмороков и мольбы о пощаде не последовало.

Без всякого дела остались и медики, предусмотрительно вызванные тюремными властями, по высочайшей инструкции обязанные сохранить в целости здоровье государственных преступников, дабы не нарушился порядок и ритуал казни, обдуманный самим царем.

Пятерых «внеразрядных», пребывающих внешне в совершенном спокойствии, стража отвела обратно в казематы.

Дверь зала закрылась за ними. Через небольшой промежуток времени она с новым эффектом распахнулась на обе половинки, чтобы впустить теперь большую группу осужденных по первому разряду...

Еще стоя за дверью в ожидании, когда их впустят в зал, они успели поговорить.

Якушкин оказался рядом с Бестужевым-Марлинским и Кюхельбекером и не мог удержать веселой улыбки, когда эти два друга, связанные литературной работой в «Полярной звезде», крепко обнялись: Кюхельбекер был и сейчас в своем изодранном полушубке, в меховой шапке и валенках, его взяли зимой в Варшаве. Бестужев-Марлинский, адъютант принца Вюртембергского, оказался здесь в новом парадном мундире. Все дружно обрадовались Пущину, отрастившему себе огромные усы.

За него товарищи боялись: в казематы просочились слухи, что Пущиным особенно раздражена Следственная комиссия, которой он не только отказывался назвать, кто именно принял его в общество, но еще издевался над судьями, измышляя какие-то несуществующие имена.

Сейчас, дорожа выпавшими на их долю минутами свидания, торопились расспросить друг друга обо всем самом главном.

— Надеюсь, Пушкина нет в казематах? — испуганно прошептал Кюхельбекер.

— Только о том и думаю, — взволнованно отозвался Пущин. — Ведь накануне декабрьских событий я написал ему в Михайловское, чтобы он тайно приехал

в Петербург. Он ведь там под надзором, в изгнании... Но, к счастью, что-то ему помешало приехать, не то, конечно, он вечером тринадцатого попал бы к Рылееву на последнее наше собрание и четырнадцатого вместе со мной оказался бы на площади, а значит и в крепости... Впрочем, в крепость-то он, к сожалению, еще может попасть, — с грустью заметил Пущин. — Мне Басаргин давеча сказывал... Его каземат рядом с казематом Бестужева-Рюмина. Им последнее время удавалось перекинуться словом, и Бестужев рассказал, какой у Комиссии большой материал против Пушкина. Пытают всякого — откуда, от кого идут подобные вольные стихи...

— Я знаю, что на следствии особенно интересовались «Кинжалом» Пушкина, как особым оружием членов Южного общества, — прервал Кюхельбекер. — Ну, такой услуги царь Пушкину вовек не забудет!

— А знаете, какой с «Кинжалом» курьез вышел у поручика Громницкого, члена Славянского общества? — вмешался Якушкин. — Когда Громницкий узнал, что царь приказал изъять из «дела» вольные стихи, он, словно сдуру, на вопрос о том, что̀ «вольнодумное» он читал, написал на опросном листе, не указывая автора, этот пушкинский «Кинжал» целиком. Приказ изъять его оказался невыполним: молодой наш товарищ расположил стихотворение на оборотной стороне своих показаний.

Все засмеялись.

— Навек закрепил!

— Закрепил не только бессмертные стихи поэта, но и бессмертную глупость властей, — добавил Кюхельбекер. — Военный министр, зачеркнув пушкинские стихи, приписал: «С высочайшего соизволения *помарал* военный министр, председатель Следственной комиссии,

Татищев». Себя и помарал, а из памяти русских людей пушкинского стиха не вымарал!

— Меня пугает, к чему могут приговорить Пестеля, Рылеева и Муравьева? — тихо спросил Пущин.

Но Якушкин успокоил его — он был убежден священником Мысловским, что смертная казнь если и будет кому объявлена, то, несомненно, фиктивно.

Уверенность Якушкина заразила и других, и «первый разряд» спокойно вступил в большой зал, только что покинутый пятерыми «внеразрядными».

Из уст того же щеголеватого чиновника узники вдруг узнали, что приговором Следственной комиссии они присуждены к смертной казни — отсечению головы:

— Капитан Якушкин за то, что умышлял цареубийство...

— Капитан Никита Муравьев за то, что участвовал в подобном же умысле...

Почти все «перворазрядники» осуждались за разные варианты того же «умысла» или «приуготовления к мятежу».

Затем, после многозначительной паузы, в тех же торжественных тонах была объявлена «милость» царя первому разряду — замена отсечения головы вечной каторгой...

Николай Бестужев, когда чиновник окончил чтение, вспыхнул гневом и, как всегда смелый и гордый, выступил вперед с вопросом:

— На каком юридическом основании произнесен этот приговор? Ведь над нами и суда еще не было!

Судьи на него замахали, зашикали. Подскочила стража, надерзившего поспешно увлекли вон из зала. За ним вывели прочих.

Пока «перворазрядников» вели из зала коменданта обратно в крепость, они могли еще немного поговорить.

— Своим жестоким приговором правительство только послужит успеху нашего дела, — сказал Пущин. — Оно сделало нас в глазах народа страдальцами за наши убеждения. Это возбудит всеобщее к нам сочувствие и двинет благородные сердца по нашему пути.

— Наше дело не замрет, его теперь уже не задушат. Оно войдет в историю, — подхватили голоса.

— И первым запомнят имя Павла Ивановича Пестеля, — с волнением сказал Лорер. — Я счастлив, друзья, я успел его обнять...

— Когда? Где?

— Вы заняты были разговором о Пушкине, а дверь приоткрылась в другую комнату, и я на миг увидел их всех пятерых. Я кинулся к Пестелю, успел сказать ему: «Я дал показание о вашей «Русской правде» только после того, как увидал ваше собственное признание. Верьте, иначе я молчал бы». «Верю, друг», — ответил он мне.

* * *

После объявления приговора узникам переменили жилье. Павел Иванович Пестель вошел в свой новый каземат, обвел глазами сырые, в подтеках, стены и крохотное окно под самым потолком.

«Пока шел допрос, надо было беречь мое здоровье, а теперь уже все равно, скоро конец, — подумал он с усмешкой и почти облегченно вздохнул. — Вопросов больше не зададут, не потащат на очные ставки. Силы беречь незачем... Бедная мать, сестра Соня...».

Больше месяца тому назад у Пестеля было свидание с отцом. Горе скрутило старика, он одряхлел... Только привычная военная выправка еще держала его.

Отец стал вдруг жалко хорохориться при коменданте, этом непременном свидетеле всех тюремных свиданий. Не утерпел, сказал с гордостью:

— Моего сына в столице жалеют, как наидостойнейшего!

Однако, прощаясь, ослабел и расплакался.

Пестель был разбит видом отца и решил, что свиданий этих не нужно. Самое желанное из дома было при нем: отец передал листок, исписанный дрожащей рукой матери. Вот он, всегда на груди...

— Дар, самый дорогой для сердца, — прошептал Пестель, целуя записку, в которой были только любовь и благословение.

Пестель хотел сейчас написать матери, но непривычные слезы заволокли глаза. Он встал, начал ходить по каземату, сильно прихрамывая на одну ногу. От тюремной сырости давно болела старая рана.

«Это теперь тоже недолго», — подумал Пестель и перенес мысли на человека, давшего ему в заточении большое утешение. Это был денщик его, Степан Савченко.

Жена Юшневского, через своих польских родных, нашла возможность передать ему письмо еще в Тульчине, когда Пестель сидел в келье Бернардинского монастыря. Письмо было о показаниях, которые дал на допросе денщик Степан, арестованный вслед за Пестелем и привезенный тоже в Тульчин.

«Уж конечно, с тем глуповатым видом, который он любил принимать, когда хотел кого-либо одурачить», —

подумал Пестель, вспоминая текст письма. Этот необыкновенно сметливый и преданный ему человек докладывал на допросе, что все бывавшие на квартире его полковника неизменно говорили по-французски. Язык этот он, Савченко, ничуть не понимает. И только однажды за обедом господа офицеры говорили по-русски. Он запомнил этот разговор слово в слово и может привести в своем показании. «Офицеры очень сожалели покойного государя, когда собрались на обед к полковнику после присяги. А полковник Пестель сказал, так в голове у меня и засело: «Аж дышать от горя не могу, прослышав о кончине их императорского величества!»

Пестель улыбнулся с нежностью: «Плохо помогла нам обоим твоя наивная дипломатия».

Растроганный мыслью о Савченке, простом русском солдате, Пестель подумал о многих тысячах таких же, как он: «Когда-нибудь они поймут наше дело, дорастут до него и уже сами примутся за свое освобождение. Тогда и будет победа...»

Успокоенный, с просветленной душой, Павел Иванович сел писать свое последнее письмо матери:

«...До какой степени я любил вас всю мою жизнь... И ваше благословение — истинное утешение для меня. История моей жизни заключается в нескольких словах: я страстно любил мое Отечество, я желал ему счастья. Я искал этого счастья в замыслах, которые и привели меня...»

Пестель оборвал письмо. Он не мог написать матери, что заветные мысли и чувства привели его к виселице.

Просидев несколько минут в глубочайшей задумчивости, он заставил себя дописать письмо: «Смерти я не боюсь. Смерть я даже почту за счастье в сравнении с вечным заключением».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

12 июля 1826 года во всех частях столицы раздалась барабанная дробь, и наряд от каждого гвардейского полка двинулся к Петропавловской крепости.

Войскам было свыше предписано присутствовать при церемонии «исполнения сентенции» над членами тайного общества, осужденными на каторжные работы навечно и на различные сроки. После выполнения этой церемонии те же солдаты должны были оцепить площадку, на которой стояла виселица с пятью веревками.

По соизволении царя палачам, привезенным из Финляндии, на этих веревках предстояло повесить пятерых «внеразрядных».

Обряды для первой церемонии — «исполнение сентенции» и второй — «смертная казнь через повешение» — Николай измыслил сам, о чем и написал начальнику штаба барону Дибичу собственноручную записку с добавлением:

«Я хочу, чтобы казнь произошла около пяти часов утра, дабы они успели выслушать раннюю обедню».

* * *

Первые лучи июльского солнца еще не разогнали предутренний невский туман, и крепость со своим бесконечным шпилем казалась лишь легкой тенью.

Призраками казались и люди, выводимые стражей из их камер. Узников вели через мост, отделяющий Алексеевский равелин от крепости. Лица их поражали бледностью и болезненным истощением.

Обросшие бородами, друзья, впервые встретившись за время заточения, не сразу узнавали друг друга. Долговязый Кюхельбекер, от худобы казавшийся еще длиннее, приглядевшись близорукими глазами к неясным в сумраке фигурам, вдруг узнал Александра Бестужева и тотчас с восторгом кинулся его обнимать.

Бестужев-Марлинский в своем блестящем мундире странно выделялся в толпе осужденных и особенно подчеркивал всю нелепость фигуры Кюхельбекера: последний так до самого июля и остался в рваном меховом полушубке и в стоптанных валенках.

Узники не успели перекинуться и словом, стража повела их на площадь к собору, месту окончательного сбора всех осужденных.

Александр Бестужев пристально оглядывал площадь. Здесь в прошлом стояла при гауптвахте деревянная лошадь с острой спиной, а рядом с ней — столб с цепью. Вокруг столба земля утыкана была спицами. Провинившихся солдат сажали на лошадь либо заставляли стоять на спицах. Отсюда за этой площадью надолго сохранилось веселое название «плясовая». Бестужев с Рылеевым хотели написать «веселую» песенку про эту площадь. Так и не собрались тогда с Кондратием... Но где он? Что с ним сделали?

Тоска охватывала Бестужева все сильней, по мере того как стража приводила сюда, на площадь, новых и новых заключенных из прочих куртин крепости, а Рылеева все не было...

Узников оказалось гораздо больше, чем каждый мог предположить. Многие лица были и вовсе незнакомы Бестужеву. Встреча с другими оказалась полной неожиданностью.

Избегая бдительных стражей, они осторожно продвигались друг к другу.

Михаил Бестужев, все еще румяный, не сводя восхищенных глаз с брата, говорил ему тихо:

— Надо полагать, Саша, ты не попадешь, как мы, в тайгу. Будешь, наверное, рядовым на Кавказе, и хоть спалит тебя тамошнее солнце, да талант твой спасен! Ты должен еще много сделать, Саша...

— Едва ли успею, — ответил мрачно брат, — уж царь позаботится, чтобы вышло со мной по пословице: «Хрен редьки не слаще»! Одного я опасаюсь: с тобой и братом Николаем не разлучили бы. Однако сейчас не моя судьба меня занимает. Все отступило перед ужасной мыслью: что ждет Рылеева, Пестеля, Муравьева и тех двух?

— Мне угрызения совести не дают покоя, — сказал Михаил. — Подумать, что за несколько дней до восстания жизнь Николая была в моих руках!

— Как так? — удивился Александр. — Ведь мы накануне четырнадцатого всей семьей обедали у маменьки... в последний раз в жизни, — добавил он про себя, — а ты ничего не рассказал.

— Не до того было. Сейчас слушай. Я был дежурным во дворце, охранял покой насмерть перепуганного Николая. Ему уже донесли о заговоре, и он приказал, чтобы дежурный офицер сам производил смену часовых у его дверей. Коридор темный, без света — тусклая лампа в самом конце. Один часовой должен сойти

с круглого матика, а другой взойти. Впотьмах ружья скрестились, курки ка-ак звякнут! «Сам» так и выскочил неодетый. Испуга скрыть не может, от страха язык заплетается: «Кто это... курком щелкнул? — Однако узнал меня: — Бестужев, будь начеку!»

Тут я подумал: он вовек не простит, что я его трусом видел. И впрямь, на первом же моем допросе выбежал злой, кричит Чернышеву: «Видишь, как молод, а уже совершенный злодей! Без него такой каши не заварилось бы. Но, всего лучше, именно этот меня караулил в самый канун бунта!» Схватил клочок бумаги и написал про меня коменданту: «В железа́».

Александр сжал руку брата и с мукой в голосе сказал:

— Ищи Рылеева, я близорук... Он должен, должен быть здесь. Не хочу, не могу верить ужасным слухам.

— И правильно, — отозвался доселе молчавший Якушкин, — священник Мысловский меня клятвенно убеждал — не верить даже собственным ушам, если о смертном приговоре услышим. Ведь нам, первому разряду, тоже посулили спервоначала отсечение головы, однако произвели замену...

Якушкин помолчал. Пытаясь укрепить собственные, дрогнувшие от сомнений, надежды, добавил:

— Возможно, эти негодяи протянут моральную пытку пятерых до самой виселицы, но казни... нет, казни не будет.

Туман растаял, словно его и не было, и с беспощадной отчетливостью обозначились изможденные лица узников, маскарадное разнообразие их сборных одежд.

Никита Муравьев взял за руку своего двоюродного брата Лунина.

— Такие, дорогой, слухи пущены, — сказал он, понижая голос, — будто сам Константин убеждал тебя уехать за границу. Известна его особая к тебе склонность, да и страх, верно, был у него за собственную шкуру. Не торопился ведь он с отречением...

— Уж не знаю, из каких побуждений, но цесаревич действительно настаивал на моем побеге, — ответил Лунин, — сам принес мне готовенький паспорт и дружески прохрипел: «Убирайся подобру-поздорову. Братец мой так вцепился в российскую корону, что всем посягателям — карачун!»

— Ты отказался от паспорта? — Никита не сводил глаз с лица Лунина, невольно подумав, что про него справедливо говорят друзья: «писан кистью Ван-Дейка».

Лунин вымолвил с обычной для него простотой:

— Разделяя убеждения арестованных моих товарищей, я считал необходимым разделить и их участь. Паспорта я не взял, но испросил отпуск на три дня, под честное слово, что к сроку вернусь... ну и поохотился напоследок! Вернулся, как обещал, минута в минуту. Константин даже говорил: «Спать, мол, в одной комнате с ним опасно — зарежет, а слову его верить можно».

— Узнаю тебя, — засмеялся Муравьев. — Только бы нам быть неразлучно, где ни придется...

— Царь уж найдет, куда нас запрятать, — отозвался Лунин. — Из всех Романовых этот, оказывается, самый лютый. Константин хоть звероват, да отходчив, а у Николая глаза медузы, и любит, чтобы перед ним каменели, а то в порошок сотрет. Но куда б он нас ни загнал, если с тобой вместе, Никита, мне бы истинное счастье. Ты один — кладезь мудрости, целая академия! Кстати,

что ты ответил на идиотский вопрос Следственной комиссии: «Где получили воспитание вольных мыслей?» Я на этот вопрос написал им: «Свободный образ мыслей сложился во мне с тех самых пор, как я начал мыслить».

Никита усмехнулся:

— Иными словами, свободолюбие и мышление между собой неразлучны для всякого, у кого не дурья голова! А я придумал взбесить самодержца, сказав с наивным видом, что виновник моих либеральных идей — не кто иной, как покойный Александр с его выступлением в Варшаве и посулами конституций.

— Рассадник вольнодумства, выходит, сам царь. Ну и ловко!

Подошел старый приятель Никиты Якушкин, крепко стиснул руки ему и Лунину.

— Вот уж не думал вас увидеть, Михаил Сергеевич. Радовался, что хоть вы с Тургеневым спаслись от когтей самодержца.

— Тургеневу, конечно, глупо было бы возвращаться, раз уж он живет за границей. А мне от опасности удирать не к лицу. И на охоте не плоховал перед вепрем.

— А ты что надерзил на допросе? — спросил Никита Якушкина. — Мне сторожа доложили по секрету, что по царской записке приказано коменданту содержать тебя как «самого злодейского злодея».

— Ничего я не дерзил, — сказал с усмешкою Якушкин, — допрашивали меня в Эрмитаже, в огромном зале, где портрет папы Климента. В углу ломберный стол, за ним — генерал Левашов, старый знакомый, «лошадник», что учил нас еще в манеже. Вежливо пригласил

сесть, просил назвать имена: «Еще кто из товарищей присутствовал, когда вы в восемнадцатом году самолично вызвались нанести удар? — Покрутил усы, добавил: — На то есть у нас пытка. Заставим назвать». — «Тем более, говорю, не заставите». Вызвали в другой зал, где «Блудный сын» Сальватора Розы, век его не забуду. Ну и мечтал я, взирая на чудесную добрую корову, что на переднем плане: «Скрыться бы за ее тушей — и в лес!» Угроза пытки меня, признаюсь, устрашила... Однако вызванный вновь перед лицо царево, пылавшее каким-то ледяным гневом, я, не смутясь, повторил то же самое и даже не опустил век под его оловянным взором. Это, верно, и взбесило царя. Он неприлично затопал ногами и закричал: «В железá его! И чтобы шевельнуться не мог!»

— Участь наша хоть и плачевна, но все же ясна, — сказал Лунин. — А вот что ждет дорогих наших — Пестеля и Рылеева?

Он вдруг вздрогнул и стремительно кинулся к стражам, которые в эту минуту привели на площадь самую последнюю партию арестантов. Среди них оказался Николай Иванович Лорер. У него было такое бледное, гневом и болью искаженное лицо, что Лунин резко спросил:

— Что еще случилось?

Лорер безмолвно указал на гласис крепости.

Два здоровых молодца в красных рубахах стояли на помосте у врытых в землю столбов. Вверху этих столбов была перекладина, и с нее свисали пять толстых веревок. Молодцы, словно балуясь, повисли вдруг на веревках, быстро крутясь.

— Прочность веревок пробуют... — оцепенело вымолвил Лорер. — Из Финляндии палачей привезли,

у нас подходящих не нашлось. Мой сторож все знает...

— Палачи ряженые! — гневно воскликнул Якушкин.

— Р-равняйсь! — скомандовал плац-майор и сделал знак сторожам плотнее окружить узников. Их повели дальше — на луг, где против крепостного вала шеренгой стояли войска.

Направо, в самом конце Троицкого моста, бушевала, стремясь проникнуть ближе к крепости, толпа народа, которой преграждал путь кордон солдат.

Царь так боялся большого скопления людей при церемонии «исполнения сентенции», а особенно при свершении смертной казни, что приказал распустить слух, будто все это произведут на Волковом поле. Туда и двинулись объятые ужасом люди.

А здесь собрались лишь немногие, близко живущие, приметливым взглядом усмотревшие необычное движение в размеренном крепостном быту.

На лугу, окруженном войсками, солдаты разложили большие костры и неослабно поддерживали высокое пламя.

И странно было осужденным думать, что совсем рядом, за высокой крепостной стеной течет Нева, что на другом ее берегу стоят великолепные дворцы, где приходилось им часто бывать на блистательных балах, а чуть подальше, на Фонтанке, в особняке братьев Тургеневых, — собираться по делам тайного общества. Какой короткой оказалась дорога от дворцов в эту крепость!

Войска стояли, как полагается, окаменелые, зажав в руках ружья. За ними надзирало начальство. Грозно

хмуря густые брови, стараясь придать важность своей незначительной фигуре, объезжал луг новый военный генерал-губернатор Голенищев-Кутузов, заменивший Милорадовича.

Солдаты подтягивались, ели глазами начальство, но, когда генерал отъезжал, переводили взгляды на пеструю толпу узников — в блестящих мундирах, черных фраках, халатах, и лица их становились суровы и печальны. Крепко стиснутые зубы выдавали внутреннее волнение. Многие из осужденных офицеров были им знакомы, иные горячо любимы как добрые начальники, освобождавшие их от порки, стоявшие грудью за солдатские интересы.

«Почему они против нас с ружьями, когда в глазах у них сочувствие к нам? Кто виною тому?.. Боже мой, да мы сами, — горько думал Александр Бестужев. — Я ведь только и сумел, что привести московцев на Сенатскую площадь, а там держался в бездействии, когда они рвались в бой. Не нашлось общего языка. Может быть, нам следовало объяснить им все то, что знали мы сами? Они поняли бы, как вот сейчас понимают, кто прав...»

Он залился краской, вспомнив, как в парадном мундире, в белых лосинах выхватил свою саблю и стал точить ее о камень пьедестала памятника Петрова. «Да, мы виной, только мы, — говорил он себе, — не дозрели мы до полного доверия и братства к мужику и солдату. И вот... хоть и сочувствуют, а коли приказано, и стрелять и вешать нас будут».

Никита Муравьев кивнул на костры.

— Культ огнепоклонников, — иронически сказал он Лунину. — И сколь картинно ты освещен!

Пламя ближнего костра ярко озаряло высокую, статную фигуру Лунина в гусарском одеянии и в тюремных шлепанцах вместо лакированных сапог.

Лунин взглянул на свои ноги и улыбнулся:

— Сапоги украли, и плац-майору не сыскать виновного. А костры эти должны быть для вящего нашего позора: ведь раньше, чем превратиться нам в вечных каторжников, необходимо, по царскому убеждению, нас шельмовать — сиречь над головой каждого ломать шпагу и бросать обломки в огонь. Этакое средневековье развели.

И, внезапно дав волю гневу, заговорил с бешенством:

— Сколь мерзки все эти комедии! Суд, следствие, казнь... Я найду слова рассказать об этом потомкам! Для этого стоит сохранить свою жизнь и в каторге. Я и оттуда найду способ продолжить наше дело! Я крикну всему миру о том, что мы шли на гибель, только ища свободы нашему народу. Клевета, что мы, как авантюристы, как оперные злодеи, только и замышляли, что гибель династии. К черту ее! Она мешала только, как бревно на пути. Сбросить мимоходом — и все... Но надлежит восстановить истинный смысл нашей великой задачи. Я раскрою всему миру, как, укрывшись за подлыми исполнителями, их действиями дирижировал еще подлейший из всех — Николай!

Горбачевский, услышав гневную речь Лунина, подошел и сказал вполголоса:

— Мерзость нашего самодержавия так велика, что России ее не выдержать! Упекут в Сибирь нас, восстанут другие... Слушайте, Лунин, я сейчас из окна моего

каземата увидел такое, что вовек не забыть, что одно вопиет о мщении.

Весь обросший длинными волосами, освещенный огнем костра, он был страшен.

— Вы из самой последней партии? — спросил Лунин.

— Да, всех увели сюда, а я еще сидел у себя на Кронверке. Было уже часа два ночи. Слышу под окном бряцанье кандалов. Влезаю на окошко, гляжу — каре павловских гренадер ведет пятерых. У Бестужева-Рюмина запутались цепи. Он дальше ни шагу... Унтер стал распутывать... Вошел ко мне сторож, мы с ним приятели. «Куда их?» — спрашиваю. «В церковь, на заупокойную: царь еще живых отпеть приказал». У сторожа в глазах ужас... А Россия? Ужели Россия забудет?

По волосатому лицу Горбачевского текли слезы. Лунин положил руку на его трясущееся от рыданий плечо.

— Их гибель — победа грядущих, — торжественно произнес Лунин. — Поверьте, причина нашей политической смерти станет условием гражданской жизни поколений... — Он взобрался на кочку, чтобы еще раз перебрать зоркими глазами знакомые и незнакомые лица. Он все еще надеялся приметить в толпе крепкую фигуру Пестеля, словно отлитую из чугуна, или худенького Рылеева с огромными горящими глазами, или Бестужева-Рюмина с его профилем римского центуриона...

Нет, ни одного из пятерых здесь не было.

Последний этап церемонии «исполнения сентенции» наступил.

Осужденных разделили на две группы. Гвардейцев построили в небольшое каре, прочих отвели в армейские части. Моряков посадили на баркас и увезли

в Кронштадт. Исполнение над ними приговора должно было свершиться на адмиральском корабле.

— И тут табель о рангах, — сказал старший Борисов, оказавшийся рядом с Горбачевским. Он поднял свое смуглое цыганское лицо, блеснул насмешливыми глазами: — И в самом позоре гвардейцам больше почета, чем нам!

Приблизился чиновник с грамотой, стал, как дьячок, читать циркуляр, разъясняющий смысл предстоящей государственным преступникам «политической казни». Никто этого чиновника не слушал.

Осужденных офицеров выстроили перед их ротами. Фурлейты по команде подняли шпаги. Шпагу надлежало сломать над обнаженной головой офицера в знак позора и бросить обломки в костер.

Для удобства, чтобы шпаги ломались сразу; их заранее подпиливали.

Церемония началась с Якушкина. Она казалась ему нестерпимо глупой. И когда фурлейт, плохо подпиливший шпагу, ударил Якушкина по голове, он рассердился не на шутку:

— Этак и убить недолго, черт возьми!

Голенищев-Кутузов гарцевал перед строем, делая знаки, чтобы с осужденных лихо срывали ордена и мундиры и бросали их в пламя.

Царь и его присные полагали, что истребление мундиров должно было переживаться офицерами, осужденными в каторжные работы, как потеря чести, как нестерпимый позор, а костры, пожиравшие былые знаки отличия и почета, явятся как бы живой аллегорией того, что все права, мечты и надежды этих офицеров превращены в пепел навсегда.

Николай ждал, что и «исполнение сентенции» станет поучительной картиной моральных потрясений, раскаяния, что осужденные будут рыдать, быть может падать в обморок, пораженные стыдом и позором. Он дал распоряжение — в час лишения офицеров воинской чести присутствовать на площади походному лазарету. Цирюльник и врач стояли, однако, в бездействии.

«Государственные преступники» выражали только насмешливое презрение к производимой над ними церемонии. В их спокойной осанке было столько достоинства, что невольно потупили взоры командующие экзекуцией, куда-то вбок отъехали на своих конях генералы.

По снятии мундиров всех осужденных облачили в полосатые тюремные халаты.

Халаты раздавали наспех, многим они оказались не по росту: у одних волочились по земле, другим едва закрывали колени...

В конце деревянного Троицкого моста росла толпа. Люди махали руками, потрясали снятыми шапками.

— Спасибо народу, — сказал Горбачевский, — он с нами. Душой чует своих заступников.

Лунин сделал знак рукой, — его обступили со всех сторон.

— Сейчас, — сказал он, — в этих полосатых халатах нас, как шутов гороховых, проведут для срама мимо чванного сброда, милостиво допущенного поглазеть на наше, предполагаемое царем, отчаяние. Пойдемте же поступью древних героев, шествующих за лаврами в Капитолий.

И когда стража вела узников обратно в казематы мимо кучки высокопоставленных лиц, те с жадным

любопытством приставили лорнеты к глазам. «Государственные преступники» во главе с Луниным шли с величественной осанкой, спокойно, ведя между собой дружеский веселый разговор.

Высокопоставленные лица, как и Николай, ждали от них выражений горести и упадка духа и были несказанно поражены видом независимого, гордого шествия людей в тюремных одеждах.

Один из служащих иностранного посольства, ухитрившийся стать зрителем всего этого события, написал в свое государство:

«Что это за люди? Ведь только что они лишились всего, чем так дорожат в мире, — положения, имущества, карьеры, счастливой жизни в кругу семьи...»

* * *

Те пятеро, которых на площади тщетно искали в толпе узников, в эту последнюю ночь были заключены в Кронверкскую куртину.

Это был коридор со сводами; деревянные камеры по обе стороны его походили по размерам и устройству на клетки.

Узников рассадили по этим клеткам, разрешили написать родным и получить последнее в жизни свидание с ними.

Рылеев от свидания отказался, не желая подвергать жену еще одному жестокому испытанию, а себя — лишать сил, необходимых, чтобы встретить казнь спокойно.

Сергею Муравьеву, по настоянию сестры его Екатерины Ивановны Бибиковой, дано было свидание с нею.

Но она так билась в рыданиях, что вскоре ее, обессиленную, полуживую, унесли обратно в карету.

У остальных трех осужденных ни с кем свидания не состоялось.

Здесь, в каземате Кронверкской куртины, стояла особенная, мертвая тишина. Камеры разделялись только дощатой перегородкой с большими щелями. И сторожа сделали последнее послабление: узники могли переговариваться почти свободно.

Камера Сергея Муравьева оказалась рядом с камерой Бестужева-Рюмина. Муравьев несказанно обрадовался этому: можно будет поддержать Бестужева, вдохнуть в него мужество, чтобы помочь юноше встретить смерть с гордостью.

Муравьев наставлял Бестужева взойти на помост с высоко поднятой головой. Несмотря на свою собственную молодость, он наставлял, как отец, как учитель, жить в эти последние минуты мыслью только о будущем России, держать в сердце и голове лишь одно упование на справедливый суд потомства.

А жить всем пятерым оставалось лишь несколько часов...

Пришел все тот же плац-майор, сопровождая сторожей с новыми кандалами: приказано было заковать всех в особо тяжелые цепи, как будто по пути на виселицу еще можно было убежать...

Пестель взял замочек от ножных кандалов, поднес его к глазам:

— Это что же, нарочно для нас заказали?

Подушкин глянул на замок, смутился.

— Замочки, точно, перепутаны, — и крикнул тюремному слесарю: — Дурак, это же для первого раз-

ряда, которым в Сибирь идти... Сюда несите другие, без надписи!

— Что же, и для первого разряда превесело, — усмехнулся Пестель.

На замочках были выбиты слова поговорок — невинная затея торговцев, заинтересованных в бойкости торговли скобяными товарами:

«Кому дарю — того люблю».

«Ах, не дорог мой подарок, дорога моя любовь».

Когда внесли кандалы в камеру к Рылееву, он в последнем письме жене добавил: «Прощай, велят одеваться...»

Даже одеревеневший в тюрьме Подушкин был так поражен самообладанием смертников, их спокойствием, что проникся к ним уважением и с непривычной вежливостью спросил каждого — нет ли особых пожеланий?

— Есть у меня пожелание, — сказал Пестель, — скажите правду: здесь ли находится сейчас майор Владимир Федосеевич Раевский?

Подушкин сделал страже знак выйти из камеры, сам, задержавшись на минуту с Пестелем, почти шепотом сказал:

— Как только началось ваше дело, этого Раевского привезли сюда из Тираспольской крепости. И как он до вашего дела не касаем, ибо найдено, что к злоумышленному Обществу он не причастен, то и суд будет над ним полегче. А сейчас — двигайтесь вперед.

— Спасибо, — сказал с тихой радостью Пестель и, поддерживая цепи, пошел...

Цепи громко гремели по каменному полу коридора. Рылеев крикнул:

— Прощайте, братья!..

В ответ узники неистово застучали в двери своих камер — его услышали.

Пестель шел, тяжело волоча ноги, но на душе у него было светло. Он думал о Владимире Раевском.

Из того, что сказал сейчас Подушкин, Пестель понял, что Раевский так и не выдал своей принадлежности к тайному обществу и, как в 22-м году, заключенный в Тираспольской крепости, имел право повторять мужественные строки своего стихотворения:

Я судьбу свою сурову с терпеньем мраморным сносил.
Нигде себе не изменил!

Пятерых смертников вывели из Кронверкской куртины.

Взвод павловских гренадер окружил их и повел в крепостную церковь. Здесь, волею царя, священник в погребальном облачении отслужил по ним заупокойную обедню.

Еще живые, они услышали собственное отпевание.

По выходе из церкви на них надели белые саваны с черными завязками, затянули черные кожаные пояса, на которых было выведено большими буквами: «Злодей. Цареубийца». Далее, по неистощимой фантазии царя, пятерых, для назидания, провели вдоль войска, выстроенного на площади. После небольшого дождя виселицу надо было привести в исправность, и приговоренных решили не уводить обратно в казематы. Их повели мимо виселицы в оказавшийся поблизости просторный погреб. Этот «погреб ожидания» с крохотным грязным окошком в глубине вала напоминал склеп. Пестель тихо сказал Рылееву:

— Ужели все-таки мы не заслужили хоть какого-нибудь уважения и лучшей смерти? Доказали, кажется, что не боимся ни пуль, ни ядер. Бородинский бой, кроме раны, наградил меня и саблей «за храбрость».

Пестель устало опустился на один из длинных узких ящиков, наваленных друг на друга. Это были гробы, заготовленные для смертников. Сергей Муравьев, чтобы Бестужев не понял, что это такое, поспешно обнял его, заслонив собой страшные ящики.

Все молчали. Только молодой Бестужев горько плакал. Ему было еще так немного лет, ему так хотелось жить...

Сергей Муравьев ласково гладил его по голове, казалось, совсем забыв о своей собственной судьбе. Каховский смотрел на них с тоской в провалившихся глазах.

И вдруг Рылеев, охваченный тем огнем, который вдохновлял его жизнь, его творчество, сказал проникновенным голосом:

— Друзья, прошлое наше кончено. Настоящее не в нашей власти и так гнусно, что мы вольны его не принять. Уйдем же мыслями в прекрасное грядущее... А что оно непременно будет прекрасным, в том порукой сочувствие солдат, пригнанных смотреть на наше позорище. Нам порукой и та, для нас нежданная, готовность простого народа присоединиться к нам, когда мы стояли на Сенатской площади.

— И толпы крестьян в Мотовиловке! Ведь они хотели нас поддержать, — добавил Муравьев-Апостол, — но я им не доверился, я их не понял, — с горечью сознался он.

— Мы не поняли, поймут те, что пойдут за нами, — *молодые*.

Рылеев произнес эти слова с глубокой верой.

— Ведь с нами на площади хотели умирать и кадеты и моряки. Когда Михаил Бестужев спешил со своим батальоном и проходил мимо каре, обращенного к Неве, он внезапно увидал бежавших ему навстречу юношей из первого кадетского корпуса и морского училища. «Мы — депутаты от товарищей... — говорили они. — Мы просим, чтобы вы приняли нас в ваши ряды». Бестужев минуту колебался: эти птенцы рядом с гренадерами-усачами... Но он удержался от искушения, не захотел подвергать опасности жизнь молодых героев. Он им тогда сказал: «Поберегите себя для новых подвигов, они будут очень нужны России». И дети обещали... Так вот, друзья, — Рылеев вскинул голову, и его большие глаза засветились, как бывало, ярким вдохновением, — пойдемте в последний путь с мыслью об этих юнцах, которые наше дело подхватят и завершат. Я их вижу, я их приветствую! Новые всходы посеянных нами семян вольности!

— Да будет так! — сказал Пестель и, гремя цепями, встал во весь рост.

И все повторили:

— Да будет!

В погреб вошли палачи. Надели на головы осужденным белые колпаки, закрывавшие не только голову, но и лица, туго связали руки веревкой и повели к виселице...

Самого Николая в эти часы не было в городе. Он уехал в Царское Село, и к нему каждые полчаса летал фельдъегерь со свежим донесением.

В толпе, оттесненной за вал, прошел слух, что Бенкендорф намеренно тянет время, что в последнюю

минуту будет помилование смертникам. Говорили, будто бы он не отрываясь глядит в сторону, откуда можно было ждать царского вестника.

Но фельдъегери мчались только в Царское Село. Оттуда ни один не спешил с доброй вестью.

Приговоренным наконец накинули на шеи петли.

Священник сошел с помоста, обернулся и с ужасом увидел, что на веревках повисли только двое. Остальные трое выскользнули из петель, своею тяжестью проломили тонкие доски помоста и упали в глубокую яму. Это были Рылеев, Муравьев-Апостол и Каховский.

Муравьев, падая, разбился. Соскользнувший колпак открыл его лицо, залитое кровью. Он воскликнул с горечью:

— Бедная Россия! Даже повесить у нас порядочно не умеют.

Каховский грубо выругался. Рылеев гневно закричал Чернышеву:

— Дай палачу твой аксельбант, он крепче веревки!

Все заглушил бешеный вопль генерал-губернатора:

— Вешать снова!

Чернышев подскочил к палачам с какими-то распоряжениями. Бенкендорф, ужаснувшись зрелищем людей, сорвавшихся с петли, лег ничком на шею своей лошади и зарылся лицом в ее гриву.

* * *

Похоронили пятерых за Смоленским кладбищем, на острове Голодае, где стояла гауптвахта. Солдатам этой гауптвахты велено было не допускать народ на могилу казненных. Но народ повалил...

Тогда решили обмануть людей — сказали, будто тела казненных брошены в воду крепостного канала. И там, у канала, целый день стояла бурливая и печальная толпа.

На другой день гром пушек возвестил о каком-то чрезвычайном торжестве. На Сенатской площади, по приказу Николая, производилось парадное очистительное богослужение. Служил сам митрополит вкупе с высшим духовенством. Святой водой кропил места, где в декабре стояли восставшие части, дабы самые камни не сохранили следов мятежа.

Но настоятель Казанского собора надел черную ризу и стал служить панихиду по убиенным...

Екатерина Бибикова, сестра Сергея Муравьева, зашла в собор помолиться о брате и остановилась, пораженная: священник в черном одеянии, захлебываясь слезами, произносил дорогие имена:

— Сергия, Павла, Михаила, Кондратия и Петра...

* * *

Пророчество Рылеева о новых всходах из посеянных декабристами семян вольности сбылось скорее, чем он мог мечтать.

Юноша, почти отрок, Александр Герцен подхватил знамя свободы, сброшенное жестокой царской рукой, и вознес его высоко.

Идеи декабристов, возмутительная, мученическая казнь первых политических борцов за свободную Россию и бессрочная каторга для их товарищей разбудили Герцена.

Впоследствии на страницах издаваемого им в Лондоне русского журнала «Полярная звезда» он рассказал, как произошло это светлое пробуждение. Журнал носил на своей обложке медальон с профилями пяти повешенных революционеров, как знак нерушимого с ними единения и продолжения начатого ими великого дела освобождения родины...

Герцен присутствовал на молебне в Кремле через день после страшной вести о совершенной казни.

«...Победу Николая над пятью торжествовали молебствием. Середь Кремля митрополит Филарет благодарил бога за убийства. Вся царская фамилия молилась, около нее сенат, министры, а кругом на огромном пространстве стояли густые массы гвардии, коленопреклоненные, без кивера, и тоже молились. Пушки гремели с высокого Кремля. Никогда виселицы не имели такого торжества.

Николай понял важность победы.

Мальчиком четырнадцати лет, потерянным в толпе, я был на этом молебствии, и тут, перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой, я клялся отомстить за казненных, я обрекал себя на борьбу с этим троном, с этим алтарем, с этими пушками».

Герцен клятву свою сдержал...

* * *

Оправдалось и другое предвидение Рылеева, его вера в революционную доблесть друга и великого поэта.

За месяц до восстания 14 декабря Рылеев писал Пушкину: «На тебя устремлены глаза России, будь поэт и гражданин!»

Пушкин этот наказ выполнил с честью. Какое утешение, какую великую поддержку получили декабристы, когда в тесных казематах читинского острога, в каторжных кандалах, они слушали стихи Пушкина, им посвященные.

Иван Иванович Пущин, его «друг бесценный», получил от жены Никиты Муравьева, приехавшей к мужу, листок, исписанный знакомым, дорогим почерком. Тайно, через решетку тюремного двора, в дрогнувшие радостным волнением руки Пущина перешел этот листок.

Пущин вслух читал товарищам по заключению:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

О том, как выполнял Пушкин завещанный ему высокий наказ Рылеева, Герцен сказал замечательные слова:

«Душой всех мыслящих людей овладела глубокая грусть. Одна лишь звонкая и широкая песнь Пушкина звучала в долинах рабства и мучений. Эта песнь продолжала эпоху прошлую, наполняла мужественными звуками настоящее и посылала свой голос отдаленному будущему».

1950—1953

ПРИМЕЧАНИЯ

«ПЕРВЕНЦЫ СВОБОДЫ»

Созданный писательницей в канун ее 80-летия, роман продолжает одну из главных тем ее творчества — тему борьбы с деспотизмом, борьбы, протекающей не в разваливающемся государстве, а тогда, когда деспотизм достаточно силен и для того, чтобы восторжествовать над своими противниками, и для того, чтобы жестоко их покарать.

Ольгу Форш всегда привлекали характеры, формировавшиеся в обществе, враждебном свободе. Радищев в его единоборстве с «цивилизованным» екатерининским самодержавием («Радищев»), русские свободолюбцы и интеллигенты в столкновении с дикостью павловского режима («Михайловский замок»), наконец, революционные кружки 1860-х годов («Одеты камнем») — все это звенья единой цепи. Закономерным было обращение к «первенцам свободы» — декабристам.

Восстание декабристов — одна из наиболее славных и трагических страниц в нашей истории. «Лучшие люди из дворян», как сказал о них В. И. Ленин, декабристы поставили своей целью коренным образом изменить враждебный народным интересам строй жизни России — ее государственность, экономику, социальную систему, культуру. В плане государственном — самодержавие должно было быть заменено республикой или конституционной монархией (здесь мнения декабристов расхо-

дились); в плане экономическом — должно было быть уничтожено крепостное право, в социальном — предполагалось уничтожить сословные привилегии; в области культуры — сделать Россию одной из просвещеннейших стран мира.

«Разбудившие» Герцена (выражение Ленина в статье «Памяти Герцена»), декабристы сами были разбужены Отечественной войной 1812 года; победа над иноземным тираном пробудила национальное самосознание и не позволила больше мириться с тираном «отечественным». «Мы были дети 1812 года», — говорил М. И. Муравьев-Апостол.

Первые тайные общества возникли в России непосредственно после Отечественной войны, в 1814—1815 годах, в среде передового офицерства («Священная артель» и др.). В 1816 году был создан Союз спасения — еще не многочисленный, объединивший всего 30 человек. В 1818 году он был преобразован в Союз благоденствия. После фиктивного закрытия Союза благоденствия (см. об этом в примечаниях) в 1821 году начали свою деятельность Северное и Южное общества. Южное — возглавляемое Пестелем — более радикальное и демократическое; Северное — воглавляемое Н. Муравьевым и Трубецким — более умеренное. В 1823 году в Северное общество вступил Рылеев. С его приходом начался новый, последний период деятельности тайного общества — период усиления революционной пропаганды и подготовки вооруженного восстания.

Оба восстания (14 декабря в Петербурге и восстание Черниговского полка на юге) произошли ранее тех сроков, которые намечали себе декабристы. Умер Александр I; создалось междуцарствие, которым надо было воспользоваться. Вместе с тем состав и замыслы обоих обществ, как стало известно декабристам, были сообщены правительству доносчиками, и следовало торопиться с выступлением. Разумеется, все это не могло не отразиться на его результатах.

Но главная причина неудачи коренилась в другом. Своеобразие движения декабристов заключалось в том, что оно осуществлялось дворянскими интеллигентами. Декабристы были наиболее передовой частью русского дворянства — и все же дворянская ограниченность сильно сказывалась в их идеологии и практике и сковывала их революционные возможности. «Страшно далеки они были от народа» — эти общеизвестные слова Ленина объясняют поражение первой, дворянской, революции в России.

И все же, несмотря на неудачу, историческое значение декабристов громадно. «Глас свободы раздавался не долее нескольких часов, но и то приятно, что он раздавался», — писал из крепости Николаю I Г. С. Батеньков.

Мечи скуем мы из цепей
И пламя вновь зажжем свободы —

эти слова А. И. Одоевского из его знаменитого «Ответа Пушкину» могут быть отнесены ко всему последовавшему за декабризмом революционному движению. «Пламя свободы», зажженное декабристами, поддерживалось их продолжателями — Герценом, революционерами-разночинцами. Наследниками декабристов в России являлись все те, кто подымал свой голос против деспотизма. «Мы... увидели цель жизни народов, цель существования государств, — писал декабрист Николай Бестужев, — и никакая человеческая сила не может уже обратить нас вспять».

Передовая русская мысль всегда проявляла к декабристам горячий интерес. Со 2-й половины XIX века, несмотря на цензурные запреты, началась публикация воспоминаний и писем декабристов. Революция 1917 года обострила интерес к первому поколению русских революционеров и открыла новые возможности для их научного изучения и художественного отображения.

В отличие от «Радищева» и «Одеты камнем», где О. Форш в значительной мере сама создавала концепцию событий, разыскивала и группировала материал, последний ее роман создавался на основе больших достижений исторической науки.

Первостепенное значение для всего советского периода изучения декабристов имела ленинская концепция, развернутая в статьях «Памяти Герцена», «Из прошлого рабочей печати в России», в «Докладе о революции 1905 года». Ленин подчеркнул, с одной стороны, дворянскую ограниченность декабристов, заставлявшую их бояться народной «смуты», с другой — их революционную сознательность, их стремление к организованной революции. Именно в силу последнего Ленин декабристами, а не Разиным или Пугачевым начинает периодизацию революционного движения в России.

Непосредственно после революции 1917 года, в связи со столетием со дня восстания 14 декабря, началась подготовка фундаментальных изданий документов, следственных материалов, публиковались исследовательские работы, посвященные самым разным проблемам, деятелям и событиям декабристской эпохи и декабристского движения. Таковы многотомное издание Центрархива «Восстание декабристов», труды П. Е. Щеголева, А. Е. Преснякова, М. Н. Покровского, Ю. Г. Оксмана, М. В. Нечкиной и многих других. Широко публиковались мемуары декабристов — Якушкина, Лорера, братьев Бестужевых, «Записки Горбачевского» (см. о них в примечаниях) и т. д. К началу работы над романом движение декабристов было почти всесторонне изучено. Это, несомненно, облегчило творческую работу писательницы.

Однако О. Форш поставила перед собой труднейшую задачу — превратить историю декабризма, от зарождения первых тайных обществ до разгрома и казни, в художественное повествование. Роман посвящен декабризму в целом; это хроника,

в которой последовательно изображены все существенные события, съезды, встречи, все значительные в том или ином отношении участники движения; дана детальная характеристика принципов, разногласий, замыслов и свершений.

В первой части идет речь о создании первого тайного общества, характеризуется его дальнейшая судьба. Изображены Тульчин и Каменка, Москва и Петербург; идейные разногласия на Московском съезде 1821 года, приезд в Петербург Пестеля и его попытка склонить на свою сторону умеренных северян, создание Южного и Северного обществ, «соперничество» двух конституций — конституции Никиты Муравьева, устанавливающей «аристократию богатств», и демократической «Русской правды» Пестеля.

Вторая часть охватывает события с лета 1825 года. Здесь в центре внимания — расстановка сил на юге, слияние Южного общества с Обществом соединенных славян; проблема народного самосознания и участия народа в движении, лавина предательств, разрушившая планы обоих обществ (Бошняк, Шервуд, Майборода, Ростовцев); восстание 14 декабря на Сенатской площади, героическое восстание Черниговского полка. Наконец, следствие и суд над декабристами; казнь пятерых.

То, что не вместилось в рамки сюжета, сообщается читателю в диалогах действующих лиц; зачастую действующие лица мысленно воспроизводят в своей памяти различные эпизоды из истории тайных обществ или борьбы идей. Роман содержит, таким образом, очень большой идеологический и фактический материал.

Следует отметить почти педантическую точность этой хроники. Текст романа свидетельствует о широкой осведомленности автора в научной и мемуарной литературе. Учтены, по существу, все основные проблемы изучения декабризма. Очень важной чертой романа является правильное соотношение между

главным и второстепенным. Автору можно полностью верить там, где речь идет об отборе фактов и об их подлинности. Подавляющее большинство эпизодов романа, диалогов действующих лиц и их внутренних монологов может быть документировано первоисточниками: программными документами декабризма, следственными материалами, записками, письмами, позднейшими разысканиями ученых.

В построении «Первенцев свободы» решающую роль сыграли «Записки» И. Д. Якушкина, «Записки Горбачевского» и книга М. В. Нечкиной «Восстание 14 декабря 1825 года».

«Записки» Якушкина использованы особенно широко, зачастую вплоть до текстуальных соответствий, в 1-й части романа. Во 2-й части судьба Южного общества дана по «Запискам Горбачевского»; события на Сенатской площади — по указанной книге М. В. Нечкиной. Здесь так же многочисленны прямые соответствия в тексте. Все это, разумеется, усиливает достоверность созданной О. Форш хроники. Заметим кстати, что из всех персонажей романа и упоминаемых в нем лиц — а они чрезвычайно многочисленны — вымышленным является один: крестьянин-партизан Осип Карпенко.

В романе сделана попытка создать коллективный «образ» декабризма, создать, если так можно выразиться, художественный «образ» декабристской идеологии. Идеологические, интеллектуальные проблемы поставлены в центр внимания. В романе нет иного действия, кроме становления тайных обществ и их героического выступления; иного конфликта, кроме конфликта мнений. Мы видим выдающегося декабриста И. Д. Якушкина в его деревне, занятого вопросом освобождения крестьян; и все случайные встречи, знакомства, разговоры, недоразумения устремлены к тому, чтобы натолкнуть его на поиски правильного решения этого вопроса.

Основой личных отношений в романе, симпатий и антипа-

тий героев является исключительно идейное единомыслие или разномыслие. Привязанность к Пестелю Лорера и Барятинского, привязанность к Рылееву Оболенского и братьев Бестужевых мотивируются только так. И писательница в этом права. Дружба с инакомыслящими была редким явлением в декабристской среде.

Форш как исторического романиста всегда характеризовал интерес к идейным, духовным коллизиям. Психология героя всегда мотивируется у нее интеллектуально; общественная позиция определяет характер. И писательница сделала попытку создать «декабристский характер», в котором интеллектуальная сила и политическая сознательность находятся в прямом соотношении с качествами душевными; степень революционности определяет нравственную чистоту. И если говорить не об отдельных лицах, а о декабристской среде в целом, то О. Форш совершенно права. Декабристы и те, кто к ним примыкал, были действительно «лучшими людьми из дворян». Среди своих современников они — наиболее героические, наиболее образованные, наиболее гуманные; они — революционная интеллигенция, в лучшем смысле этого слова. И именно такими они изображены в «Первенцах свободы».

Однако чрезмерная прямолинейность избранных писательницей принципов зачастую приводит к нарушению художественной меры. Так, установка на хроникальность привела к перегруженности, плотности материала, для осмысления которого подчас мало художественного «пространства». История декабристских организаций так и осталась, в сущности, «историей», не превратившись в художественный сюжет. Слишком много людей и событий, упоминаемых бегло, для полноты, в целях чисто информационных. В результате первая часть, несмотря на обилие событий, получилась статичной.

Вторая часть — гораздо динамичнее, напряженнее. Драма-

тизм заложен здесь в самой действительности (подготовка и поражение обоих восстаний).

Для «Первенцев свободы» характерна четкая идейная целеустремленность. Но эта идейная целеустремленность в ряде случаев превращается в прямолинейную тенденциозность. Через весь роман проходит тема народа: от начального эпиграфа до последнего в жизни пятерых декабристов разговора, за несколько минут до казни. Действительно, проблема народа — одна из основных в декабристской идеологии. Все без исключения декабристы были противниками крепостного права. Они выступали от лица всего народа, чувствовали себя его защитниками, хотя боялись его революционной активности.

Однако О. Форш преувеличила масштаб сознательности народной массы (преувеличение, часто встречающееся в исторической и художественной литературе). И это иногда приводит к нарушению художественного и исторического правдоподобия. Разумеется, фигура партизана Карпенко, с его опытом, зрелостью и сознательностью, типична, но нетипично, что Карпенко поучает Якушкина; нетипично, что фельдфебель Михей Шутов превращается в некий недосягаемый образец для южных декабристов.

Равнодушие солдат (т. е. в массе своей крестьян) к «Катехизису» С. Муравьева-Апостола Форш объясняет тем, что им не нужны религиозные обоснования борьбы с тиранией. На самом деле, если чтение «Катехизиса» и не имело успеха — вопрос этот спорен, — то скорее потому, что он был слишком сложен для восприятия солдат. Неубедительным получился разговор о «Катехизисе» между С. Муравьевым-Апостолом и Сухиновым, представителем наиболее демократической группы декабристов: «просительный» тон Муравьева, желавшего прочесть «Катехизис» солдатам, его «детская растерянность» перед Сухиновым и покровительственно-«мягкий» ответ последнего. Кстати, горя-

чая привязанность «нижних чинов» к С. Муравьеву-Апостолу не показана в романе.

Наконец, нельзя обойти следующий эпизод, где все как бы дано в перевернутом виде. «Да, мы виной, только мы, — говорил себе в крепости А. Бестужев, — не дозрели мы до полного доверия и братства к мужику и солдату. И вот... хоть и сочувствуют, а коли приказано, то и стрелять и вешать нас будут». Все в этой тираде наоборот: «не дозрела» до революционной сознательности масса. На это указывал Ленин: «Масса солдат, состоявшая тогда еще из крепостных крестьян, держалась пассивно» («Доклад о революции 1905 года»).

Верная своему принципу изображения революционеров как лучших людей эпохи, О. Форш создала в «Первенцах свободы» запоминающиеся образы отдельных деятелей декабристского движения. Таковы Михаил Орлов — храбрый воин и просветитель, генерал, называвший солдат своими братьями; Якушкин, стремящийся быть прежде всего честным перед собой и другими; В. Ф. Раевский — неизменно мужественный и верный убеждениям. Удачно обрисован Рылеев с его революционным энтузиазмом и поэтическим вдохновением; Рылеев — революционер-романтик, сменивший в Северном обществе прежних, более «рассудительных», руководителей (Н. Муравьева, Трубецкого); человек с большим обаянием, с горячей верой в историческое значение не только победы, но и поражения «первенцев свободы». Внешний и внутренний портрет Рылеева, последнее совещание в ночь на 14 декабря даны по подлинным «Воспоминаниям о Рылееве» Н. А. Бестужева. Конечно, есть в образе Рылеева некоторые элементы идеализации (есть они и у Н. А. Бестужева), но правильно отобрано то, что было славным.

Романтика подвига хорошо показана в Каховском; при этом все, что касается его роли в Северном обществе, его отношений

с Рылеевым, готовности к цареубийству и колебаний, — исторически вполне достоверно. Можно добавить, что обида Каховского на Рылеева, проявлявшего к нему известное недоверие, была более острой и, пожалуй, более справедливой, чем это изображено в романе. «Если Рылеев смотрит на меня как на кинжал в своей руке, то скажи ему, чтобы он не укололся», — таковы были слова Каховского, измененные в романе.

Превосходен образ А. Бестужева, одного из наиболее видных писателей-декабристов. В нем, как и в Рылееве, показано единство революционного и романтического начал. Бестужев везде верен себе. Писатель, он создает новый литературный язык — романтический, «нарядный, приподнятый»; революционер, он является на площадь в парадном мундире и (достоверная деталь) эффектно точит саблю «о гранит Петровой скалы».

В совсем ином плане, контрастно рылеевской группе, показан Трубецкой. С первого же его появления в романе в нем подчеркнуты политическая умеренность, осторожность, нежелание действовать при отсутствии гарантий успеха. Его политической позицией с самого начала предопределено то, что произойдет на Сенатской площади. Храбрый военный, герой 1812 года, Трубецкой испугался 14 декабря прежде всего размаха, который приобретало восстание. Ведь было задумано, что сенат, убежденный или принужденный восставшими, заставит Николая отказаться от престола; что сенат вручит власть Временному правительству. Этот первоначальный план оказался невыполнимым благодаря ранней присяге сената и разъезду сенаторов. Некого было убеждать, а принуждению уже подлежали сам Николай I и его войска. Эта новая ситуация была для Трубецкого слишком революционной. Кроме того, он не верил в выполнимость нового плана. И вот мы видим Трубецкого в романе — таким он был в день 14 декабря, — не имеющего решимости ни для того, чтобы уйти далеко от площади, ни для того,

чтобы примкнуть к восставшим. «Измена» Трубецкого — избранного «диктатором» восстания, его главнокомандующим, — действительно сыграла роковую роль в судьбе восстания.

Наименее убедительным кажется образ Пестеля. И в этом, несомненно, сыграла свою роль рассмотренная выше концепция «декабристского характера», в котором идеология определяет психологию. Лучший из революционеров, Пестель оказался в романе и слишком «идеальным» как человек; образ его получился почти сентиментальным. Заодно идеализирован даже отец Пестеля. Между тем дурная репутация Ивана Борисовича Пестеля — сибирского генерал-губернатора — была общеизвестна и полностью им заслужена.

Писательница через всю книгу проводит мысль о том, что Пестель заслуживал быть главным вождем всего декабристского движения, так как он в наибольшей степени удовлетворял двум основным критериям: он — самый революционный и самый демократический из декабристских руководителей. Разумеется, художник (в отличие от историка) вправе строить предположения о том, что все могло бы быть иначе, чем было на самом деле. Но эту свою концепцию автор не воплощает в объективном ходе повествования, а влагает в уста действующих лиц. И это получилось несколько навязчиво; иногда приводит к нарушению исторического правдоподобия. «Павлу Ивановичу Пестелю — мой братский привет. И еще... передайте, что во многом он был прав», — заявляет в романе Рылеев после восстания. Между тем исторический Рылеев, потрясенный неудачей, был далек от таких настроений.

Форш не обходит сложные и спорные моменты воззрений Пестеля, вызвавшие много разногласий среди декабристов, но дает их в некоем «облегченном» виде. Смутившее многих декабристов заявление Пестеля о том, что Франция благоденствовала при терроре, предстает в романе как невинное и чуть ли

не справедливое; все упреки Пестелю в властности — как необоснованные.

Историки обратили внимание на то, что Пестель, несмотря на очевидную опасность ареста, не решился поднять восстание южан, и это уже после его ареста сделал С. И. Муравьев-Апостол. Автор упоминает об этом, но объясняет пассивность Пестеля его гуманностью, нежеланием напрасно лить кровь. На самом деле Пестель был в состоянии мучительной нерешительности, известного кризиса. Если бы это отразилось в романе, то образ выдающегося декабриста был бы правдивее.

В идиллических чертах обрисованы взаимоотношения Пестеля с Рылеевым. А ведь Рылеев во многом не соглашался с Пестелем и даже называл его «опасным для видов общества» (подразумевая тайное общество). Не мог Пестель — а это изображено в романе — вспоминать о Рылееве как о «дорогом любимом сыне». Это — фальшивая нота, элемент ненужной лакировки.

Менее правдивы также портреты умеренных декабристов и «сомневающихся». Исключения — Трубецкой и Никита Муравьев. Артамон Муравьев изображен в незаслуженно карикатурном виде; а он был искренним и пылким вольнодумцем, дворянская революционность которого не выдержала напора событий и разочарований. Реальный И. Г. Бурцов вовсе не был таким антипатичным и завистливым, каким он изображен. Отметим и слишком «демоническую» характеристику Александра Раевского и его поведение во время съезда в Каменке. Писательница здесь широко воспользовалась сведениями и характеристиками из «Записок» Якушкина, которому поведение А. Раевского представлялось именно таким. В действительности А. Раевский вовсе не был «врагом» декабристов: он и лично и идейно был с ними тесно связан. Поведение М. Ф. Орлова на Московском съезде также дано по «Запискам» И. Д. Якушкина;

именно им были высказаны подозрения (необоснованные) в искренности сделанных Орловым предложений. Встречаются (очень редко) и анахронизмы. Так, Пестель никак не мог считать А. О. Россет-Смирнову «приятельницей» Пушкина: знакомство и дружеские отношения с ней поэта относятся уже к периоду его возвращения из ссылки.

Последний роман О. Форш ценен прежде всего как попытка художественного воспроизведения истории декабристских организаций. Это определяет своеобразие «Первенцев свободы» в ряду других произведений советской исторической прозы, посвященной декабристам.

Воссозданные в романе образы свободолюбцев, посвятивших свою жизнь борьбе за освобождение родины от тирании, за ее политическое возрождение, вызывают глубокое сочувствие. Велико и воспитательное значение этих примеров гражданского мужества, обращенных к современному поколению.

Первая часть романа «Первенцы свободы» напечатана в журнале «Звезда», 1950, № 12. Отдельное издание I части вышло в 1950 году (изд. «Молодая гвардия»). Полное издание романа вышло в том же издательстве в 1953 году.

Роман помещен в III томе Сочинений в четырех томах (Гослитиздат, 1956), по тексту которого печатается в настоящем издании.

Эпиграф — из статьи В. И. Ленина «Памяти Герцена».

Стр. 7. *Якушкин* Иван Дмитриевич (1796—1857) — член Союзов спасения и благоденствия, один из видных деятелей Северного общества; отставной офицер. Участвовал в Отечественной войне 1812 года; за сражения под Бородином и Кульмом получил воинские награды. В тайном обществе пользовался большим авторитетом; принимал участие в составлении устава

Союза спасения. Ради «блага отечества» предлагал себя в цареубийцы (А. С. Пушкин упоминает об этом в 10-й, сожженной главе «Евгения Онегина»). 14 декабря 1825 года находился в Москве и в восстании на Сенатской площади участия не принимал. Был осужден по I разряду и приговорен к пожизненной каторге. Автор ценных «Записок».

Фонвизин Михаил Александрович (1788—1854) — племянник Д. И. Фонвизина, активный участник декабристского движения на его раннем этапе. Был незаурядным военным специалистом. Участвовал в аустерлицкой битве 1805 года и в Отечественной войне 1812 года, проявив много мужества и воинской находчивости. Вышел в отставку, недовольный аракчеевскими порядками в армии. В тайном обществе принадлежал к правому крылу.

Стр. 13. *Щербатов* Иван Дмитриевич (1794—1830) — с 1820 года капитан Семеновского полка. Был отдан под суд за сочувствие восставшим солдатам и приговорен к лишению чинов, орденов, княжеского и дворянского достоинств, телесному наказанию. Вместо этого по решению Николая I был заключен на год в крепость и затем переведен в действующую армию.

Стр. 14. *«Возмутительные» стихи Пушкина* — «К Чаадаеву», «Вольность», «Кинжал», «Деревня», сатирические сказки («ноэли») и эпиграммы на царя и его временщика Аракчеева.

Шварц Григорий Ефимович — после «семеновской истории» был продан военному суду по обвинению в жестоком и несправедливом обращении с «нижними чинами». Вынесенный ему военным судом смертный приговор был заменен отставкой с запрещением дальнейшего возобновления службы. Тем не менее неоднократно восстанавливался на службе и снова увольнялся за злоупотребления властью.

Стр. 16. *Кашкаров* Н. С. (р. 1788) — подполковник, участник наполеоновских войн.

Васильчиков Илларион Васильевич, князь — с 1839 года командующий Гвардейским корпусом.

Стр. 17. *Милорадович* Михаил Александрович (1771—1825) — участник Отечественной войны 1812 года, петербургский военный генерал-губернатор. Пользовался известной популярностью в гвардейских полках. Умер от ран, нанесенных П. Г. Каховским в день восстания 14 декабря (см. текст романа, стр. 300).

Стр. 18. *Конгресс в Троппау* — заседание реакционной коалиции монархических государств (Священный союз). Состоялся в 1820 году в связи с революциями в Италии, Испании и Португалии.

Стр. 19. *Карбонарии* — члены тайной революционной организации, существовавшей в Италии и Франции в конце XVIII и начале XIX века.

Стр. 27. *Горбачевский* Иван Иванович (1800—1869) — активный член Общества соединенных славян и Южного общества; заслужил особое уважение товарищей своей прямотой и правдивостью. Осужден по I разряду и приговорен к пожизненной каторге. *«Не имей рабов, ежели сам рабом быть не желаешь»,* — эти слова взяты О. Форш из устава Общества соединенных славян.

Стр. 30. *Муравьев* Александр Николаевич (1792—1863) — один из основателей Союза спасения и Союза благоденствия, участник Отечественной войны. От движения декабристов отошел рано; был сослан в Сибирь без лишения чинов и дворянства.

Брат Михаил — Михаил Николаевич Муравьев (1796—1866), член ранних декабристских обществ. Впоследствии стал ренегатом, жестоким усмирителем польского восстания 1863 года; заслужил прозвище Вешатель.

Муравьев-Апостол Сергей Иванович (1796—1826) — один из главных руководителей Южного общества декабристов, возглавивший восстание Черниговского полка; подполковник. Ге-

роически участвовал в Отечественной войне 1812 года; получил в награду золотое оружие. Гуманность и справедливость снискали ему исключительное уважение и привязанность солдат. Отличался революционным энтузиазмом; разработал несколько планов вооруженного выступления. В числе пяти декабристов, поставленных «вне разряда», был повешен 13 июля 1826 года.

Муравьев-Апостол Матвей Иванович (1793—1886) — один из основателей Союза спасения и Союза благоденствия, деятельный член Южного общества, участник восстания Черниговского полка. Был причислен к I разряду осужденных и приговорен к пожизненной каторге.

Никита Михайлович Муравьев (1796—1843) — руководитель движения декабристов на его раннем этапе; создатель проекта конституции, капитан гвардейского генерального штаба. Член Верховной думы и правитель Северного общества. Обладал большой эрудицией и теоретическими способностями. Принадлежал к правому крылу декабристов; отстаивал конституционную монархию.

Стр. 31. *Лунин* Михаил Сергеевич (1787—1845) — член Северного общества, выдающийся по своим личным качествам. Сторонник идеи цареубийства. Приговоренный к 15 годам каторги, Лунин продолжал в Сибири агитационно-пропагандистскую деятельность и за свои революционные «Письма из Сибири» вторично подвергся репрессиям: был заключен в каторжную Акатуйскую тюрьму, где вскоре погиб.

Пестель Павел Иванович (1793—1826) — создатель и вождь Южного общества, революционный теоретик и организатор. Радикальность его взглядов отпугивала более умеренных северных декабристов. Настораживала их и властность его характера, требование неограниченных «полномочий» (на 10 последующих за переворотом лет) для Временного правительства, которое Пестель намеревался сам возглавить. В Южном обще-

стве он пользовался громадным авторитетом. Крупный военный, герой 1812 года, награжденный за храбрость золотым оружием, в Южной армии командовал Вятским полком. Был арестован до восстания Черниговского полка. В числе пяти декабристов поставлен «вне разряда» и повешен 13 июля 1826 года.

Чугуевский бунт — восстание крестьян в Чугуевском военном поселении на Украине (1819). Было подавлено со зверской жестокостью Аракчеевым.

Устав, написанный Пестелем. — Не дошедший до нас устав Союза спасения был написан в 1817 году не одним Пестелем, но «комиссией» в составе Пестеля, Трубецкого и И. А. Долгорукова. После принятия этого устава Союз спасения стал называться Обществом истинных и верных сынов отечества.

Стр. 32. *Бурцев* — Бурцов Иван Григорьевич (1784—1829), член Южного общества декабристов, полковник. После 14 декабря был переведен в действующую армию на Кавказ, где проявил большое военное искусство. Умер от раны, полученной в бою.

Стр. 33. *Киселев* Павел Дмитриевич (1788—1872) — генерал, начальник штаба 2-й (Южной) армии, в известной мере находившийся в курсе деятельности тайных обществ и им сочувствовавший.

Комаров Николай — член Союза благоденствия, подполковник. С 1821 года был отстранен декабристами от деятельности в тайном обществе по подозрению (видимо, справедливому) в сношениях с правительством.

Стр. 34. *Орлов* Михаил Федорович (1788—1842) — декабрист, генерал, герой Отечественной войны 1812 года. С 1821 года формально к обществу не принадлежал, но был тесно связан с южными декабристами и Пестелем. Пост командира 16-й пехотной дивизии использовал для революционно-просветительской пропаганды среди солдат; отменил телесные наказания.

Дом его в Кишиневе был центром политического вольнолюбия. После разгрома кишиневской ячейки декабристов его лишили командования дивизией (1823). Привлеченный к следствию по делу декабристов, был уволен в отставку и выслан в деревню.

Стр. 37. *Некрасовцы* — потомки донских казаков, бежавших в начале XVIII века в Турцию и там осевших.

Стр. 41. *Шаховской* Федор Петрович, князь (1790—1829) — один из основателей Союзов спасения и благоденствия. Приговоренный к ссылке в Сибирь, в Енисейске сошел с ума.

Трубецкой Сергей Петрович (1790—1860) — один из руководителей Северного общества, полковник, «диктатор» 14 декабря (см. о нем во вступит. заметке). Участвовал во многих сражениях 1812—1813 годов. В тайном обществе был сторонником умеренных действий конституционного характера. Осужден по I разряду и приговорен к пожизненной каторге. *Письмо* его, адресованное А. М. Муравьеву (1817), сыграло большую роль в активизации деятельности тайного общества.

Стр. 43. *Долгорукий* (Долгоруков) Илья Андреевич (1797—1848) — член Союза благоденствия, полковник, впоследствии генерал-адъютант; с 1821 года в тайных обществах не участвовал и остался вне репрессий.

Стр. 46. *Там что-то свое завелось.* — Речь идет об Обществе соединенных славян, основанном в 1823 году братьями П. И. и А. И. Борисовыми и Ю. К. Люблинским. Общество это по своему составу и принципам было демократичнее Северного и Южного. Летом 1825 года оно слилось с Южным.

Стр. 47. *Мария Федоровна* — вдова Павла I.

Стр. 49. *Раевский* Николай Николаевич, старший (1771—1829) — генерал, герой Отечественной войны 1812 года. Защищавшийся им в Бородинском сражении центральный редут получил название батареи Раевского.

Стр. 50. *«Офальстафился»* — от ставшего нарицательным имени опустившегося дворянина Фальстафа — обжоры, толстяка и хвастуна, героя произведений Шекспира: хроники «Генрих IV» и комедии «Виндзорские проказницы».

Василий Львович Давыдов (1792—1855) — член Южного общества, полковник в отставке. Полностью разделял республиканскую и демократическую программу Пестеля, участвовал в составлении плана цареубийства. Был в дружеских отношениях с Пушкиным, посвятившим ему революционное послание. Осужденный по I разряду к пожизненной каторге, написал в Сибири не дошедшую до нас сатирическую поэму о Николае I.

Охотников Константин Алексеевич (ум. в 1823 или 1824) — член Союза благоденствия, участник войны 1812 года. Умер от чахотки.

Стр. 51. *Александр Николаевич* Раевский (1795—1868) — офицер, близкий приятель Пушкина, изображенный в стихотворении «Демон».

Николаша — Николай Николаевич Раевский, младший (1801—1843) — друг Пушкина, офицер, впоследствии генерал. Служил в войсках на Кавказе.

Черкесёнка с Кавказа вывез... — Речь идет о раненом 3-летнем ребенке-приемыше, которого А. Н. Раевский, по воспоминаниям современника, привез «на коленях».

Стр. 54. *Мария Раевская* (1805—1863) — дочь генерала Н. Н. Раевского, впоследствии жена декабриста С. Г. Волконского, последовавшая за ним в Сибирь. Оставила интересные «Воспоминания». Согласно легенде, была предметом «утаенной любви» Пушкина. Легенда эта лишена оснований; Пушкин был увлечен сестрой М. Н., Екатериной, вскоре вышедшей замуж за декабриста М. Ф. Орлова.

Стр. 55. *Инзов* Иван Никитич (1786—1845) — генерал, главный попечитель о поселенцах в Южной России.

Стр. 56. *Из екатеринославской тюрьмы бежали двое...* — Этот действительный факт лег в основу поэмы Пушкина «Братья-разбойники».

Стр. 59. *Ломоносовского рода...* — Мать А. Н. и Н. Н. Раевских, София Алексеевна, была внучкой Ломоносова.

Воспетый Жуковским папенькин подвиг. — В сражении под Дашковкой ген. Н. Н. Раевский повел в бой своих сыновей, одному из которых было 11, другому 16 лет. Жуковский отобразил этот эпизод в знаменитом в те времена патриотическом стихотворении «Певец во стане русских воинов».

Стр. 66. *Лубенский гусар* — от названия г. Лубны.

Стр. 67. *Шеллинг* Ф. В. (1775—1854) — немецкий философ-идеалист, основоположник натурфилософии — «философии природы», утверждающей тождество двух начал — объективного (природа) и субъективного (философское знание).

Велланский Даниил Михайлович (1774—1847) — философ и медик; сторонник и пропагандист натурфилософии.

Стр. 69. *Волконский* Петр Михайлович, князь (1776—1852) — генерал, начальник Главного штаба и член Государственного совета; был женат на сестре декабриста С. Г. Волконского.

Стр. 70. *Жано Пущин* — Иван Иванович Пущин (1798—1859), член Северного общества, ближайший друг А. С. Пушкина, учившийся с ним в Лицее. Судья Московского надворного суда. После 14 декабря был осужден по I разряду и приговорен к пожизненной каторге.

Николай Иванович Тургенев (1780—1871) — член Союза благоденствия, один из образованнейших людей своего времени, талантливый экономист. 14 декабря 1825 года находился за границей. Был осужден по I разряду к вечной каторге заочно и получил разрешение вернуться в Россию в 1857-м году.

«Зеленая лампа» — политическое и театральное общество, легальный филиал Союза благоденствия. Членом его до высылки на юг был Пушкин.

Стр. 71. *И всех-то нас он подведет, не желая...* — Основной причиной, удерживавшей декабристов от приема Пушкина в тайное общество, была полицейская слежка за ссыльным поэтом.

Стр. 72. *«Инвалид»* — газета «Русский инвалид».

Речь Орлова в Библейском киевском обществе — была произнесена в 1819 году; в ярких красках изображала невежество как опору «всех тиранических систем».

Вяземский Петр Андреевич, князь (1792—1878) — поэт и критик, в это время близкий декабристам; автор страстных политических стихотворений «Негодование» и «Русский бог».

Стр. 73. *...былой его любимец...* — Во время Отечественной войны Орлов был флигель-адъютантом Александра I, весьма к нему благоволившего.

Витгенштейн Петр Христианович (1769—1843) — главнокомандующий Южной армией.

Стр. 74. *Меттерних* К. (1773—1859) — реакционный австрийский государственный деятель и дипломат, основатель Священного союза — коалиции монархических государств Европы.

Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856) — близкий друг Пушкина, посвятившего ему ряд стихотворений; член Союза благоденствия. Один из образованнейших людей своего времени, автор «Философических писем», беспощадных к государственным и культурным основам самодержавной России.

Стр. 75. *«Зандов» кинжал* — имеется в виду цареубийство. Занд Карл (1795—1820) — немецкий студент, убивший реакционного писателя-шпиона А. Коцебу; был казнен.

Польша... получила конституцию. — Речь идет о конституции 1815 года, предоставлявшей Польше известную политиче-

скую и национальную автономию и ряд гражданских свобод (зачастую фиктивных): участие сейма в законодательстве, ограничение цензуры и др. Александру I импонировал «европеизм» Польши.

Стр. 76. *Царь освободил крестьян...* — В 1816—1819 годах Александром I были утверждены проекты освобождения крестьян в бывш. Эстляндской, Лифляндской и Курляндской губ.

События в Греции — вспыхнувшее в 1821 году восстание греков против турецкого ига.

Стр. 77. *Фанариотские князья* — представители аристократических греческих семей; название получили от квартала Фанара в Константинополе. Участвовали в освободительном движении.

Этерия — тайный союз, основанный в 1814 году греками для борьбы за независимость.

Сулиоты — греческие повстанцы.

Стр. 78. *Арзамасская кличка.* — Имеется в виду литературное общество «Арзамас», члены которого получали прозвища, взятые из баллад Жуковского (река Рейн — место действия в одной из баллад).

Стр. 79. *Квирога* — Кирога А. (1784—1841), один из вождей испанской революции 1820 года, герой войны с Наполеоном.

Риего-и-Нуньес Р. (1785—1823) — один из вождей испанской революции.

Стр. 80. *Бенкендорф* Александр Христофорович, граф (1783—1844) — при Николае I главный начальник III отделения и шеф жандармов.

Стр. 81. *Стюрлер* Н. К. — командир лейб-гренадерского полка; 14 декабря 1825 года был смертельно ранен Каховским.

Стр. 84. *С горечью Пушкин добавил...* — Дальнейшие слова приведены по подлинным воспоминаниям И. Д. Якушкина.

Савченко. — Денщика Пестеля звали Степан Савенко; его

преданность Пестелю и понимание значения декабристских целей проявились во время следствия, где он вел себя самоотверженно, скрывая революционные связи Пестеля и местонахождение «Русской правды».

Стр. 85. *Василий Петрович Ивашев* (1794—1840) — декабрист, член Южного общества. После 14 декабря был приговорен к 20 годам каторжных работ.

Фильд Д. (1782—1837) — английский пианист и композитор; долго жил в Петербурге. У него учился М. И. Глинка.

Стр. 86. *Поселения* — военные поселения обращенных в солдат крестьян, известные крайними формами крепостнического угнетения; были одной из главных тем политической агитации.

Стр. 93. *Юшневский* Алексей Петрович (1786—1844) — «директор» Южного общества, генерал-интендант; помогал Пестелю в работе над «Русской правдой». Пользовался в военно-декабристской среде большим авторитетом. После 14 декабря был осужден по I разряду и приговорен к пожизненной каторге.

Стр. 94. *...московский съезд собрался...* — Речь идет о съезде Союза спасения (январь 1821), принявшем решение о фиктивном роспуске общества с целью избавиться как от нерешительных, так и от слишком радикальных членов (в первую очередь Пестеля).

Федор Глинка — декабрист и поэт Федор Николаевич Глинка (1786—1880); «монархическим» назван как сторонник конституционной монархии.

Стр. 97. *Барятинский* Александр Петрович (1798—1844) — член Южного общества, адъютант главнокомандующего 2-й (Южной) армией; поэт-дилетант. Был близок к Пестелю. После 14 декабря осужден по I разряду к пожизненной каторге. Написал по-французски «Тюремные стансы».

Крюков-второй Николай Александрович (1800—1854) и *Ба-*

саргин Николай Васильевич (1799—1861) — члены Южного общества декабристов.

Стр. 98. *«Тульчинские досуги»* — сборник, изданный Барятинским на французском языке (1824).

Стр. 100. *«Миролюбивость»* Ивашева преувеличена: он признавал необходимость цареубийства.

Стр. 101. *Ермолов* Алексей Петрович (1772—1861) — генерал, соратник Суворова и Кутузова, главнокомандующий русскими войсками на Кавказе. Независимость мнений снискала ему популярность в декабристских кругах.

Пушкин восклицал... — в стихотворении «Война».

Рылеев Кондратий Федорович (1795—1826) — вождь Северного общества декабристов, поэт. Осужденный вне разряда, был повешен 13 июля 1826 года.

Стр. 104. *Владимир Федосеевич Раевский* (1795—1872) — один из активных членов Южного общества, поэт. Получил прозвище «первого декабриста», так как подвергся репрессиям за несколько лет до восстания, в 1822 году.

Стр. 106. *Вашингтон* Джордж (1732—1799) — выдающийся американский государственный деятель, возглавивший борьбу Америки за независимость; первый президент США.

Стр. 108. *Закончить свой заветный труд...* — Речь идет о «Русской правде» — «государственном завете», создававшемся Пестелем.

Стр. 114. Запись в дневнике Пушкина — от 9 апреля 1821 года.

Стр. 116. *...Снесем иль нет главу свою...* — Стихи эти приписывались Пушкину ошибочно.

Стр. 117. *Оболенский* Евгений Петрович, князь (1796—1865) — один из наиболее радикальных членов Северного общества, поддерживавший связь с Южным. Николай I в своих

«Записках» назвал его «злодеем во всем смысле этого слова». Был осужден по I разряду и приговорен к вечной каторге.

Стр. 119. *Майборода* Аркадий Иванович — предатель, сыгравший роковую роль в судьбе декабристов. Был принят в общество в 1824 году. В 1844 году покончил с собой.

Макиавелли Н. (1469—1527) — итальянский политический мыслитель, разработавший теорию сильной государственной власти; хитрость и расчетливость считал основой политики.

Стр. 120. *Грибовский* Михаил Кириллович — предатель, член Союза благоденствия, библиотекарь Гвардейского генерального штаба. В 1821 году подал царю записку о составе тайного общества.

Стр. 123. *Повало-Швейковский* Иван Семенович (ум. в 1845 г.) — член Южного общества, полковник; был приговорен по I разряду к вечной каторге.

Стр. 132. *Липранди* (1790—1880) — полковник, снискавший доверие декабристов и Пушкина. Двурушничал и доносил правительству. Оставил важные для изучения той эпохи воспоминания.

Стр. 139. *Пушкин приятелю написал...* — Далее не совсем точная цитата из письма Пушкина к П. А. Вяземскому 2 янв. 1822 года.

Стр. 141. *Бентам* И. (1748—1832) — английский философ, идеолог либеральной буржуазии; развивал утилитаристское учение об обществе как сумме личностей, связанных взаимной выгодой. Сторонник устрашающих наказаний за государственные преступления.

Стр. 145. *Российско-американское общество* — частная русская торговая компания, занимавшаяся колонизацией Аляски и торговлей на Дальнем Востоке. Пользовалась покровительством властей.

Стр. 148. *Бестужев* (Марлинский) Александр Александрович (1797—1837) — декабрист, писатель, критик. После заклю-

чения в крепости и ссылки отправлен рядовым на Кавказ, где был убит в бою при взятии мыса Адлер. См. в романе стр. 423.

Стр. 149. *Орловский* Александр Осипович (1777—1832) — выдающийся живописец и график.

Стр. 150. *«Войнаровский»* — революционно-романтическая поэма Рылеева.

Ней М. (1769—1815) — наполеоновский маршал. В 1813 году перешел на сторону Бурбонов; посланный с войсками против Наполеона, примкнул к нему. После возвращения Бурбонов палатой пэров был приговорен к расстрелу.

Стр. 153. *Батюшков* Константин Николаевич (1787—1855) — поэт; с 1822 года страдал неизлечимой душевной болезнью.

«Увидел наконец адмиралтейский шпиц...» — цитата из стихотворения Батюшкова «Странствователь и домосед».

Стр. 154. *«Беспокойный Никита»* — слова из X (сожженной) главы «Евгения Онегина», сохранившейся в отрывках.

Стр. 158. *Шипов* Иван Павлович (1793—1845) — полковник, член Союза благоденствия; родственник Пестеля. За «раскаяние» был прощен Николаем I. Присутствовал при казни декабристов.

Стр. 165. *«Взыграйте, ветры...»* — слова из стихотворения Пушкина «Кто, волны, вас остановил...»

Стр. 167. «Письмо к *другу, жительствующему в Тобольске...»* — название произведения Радищева.

Стр. 169. *Михаил Павлович Бестужев-Рюмин* (1803—1826) — один из руководителей Южного общества. Подпоручик. Совместно с С. И. Муравьевым-Апостолом возглавлял Васильковскую управу. Вел агитацию среди солдат и офицеров Южной армии; разрабатывал проекты цареубийства. Осужден вне разряда и повешен 13 июля 1826 года.

Стр. 170. *«Польское патриотическое общество»* — тайная организация (1821—1826), ставившая своей целью восстановле-

ние независимой Польши. Объединение с декабристами не состоялось.

Стр. 171. *Поджио* Александр Викторович (1798—1873) — член Южного общества, подполковник в отставке. По заключению следственной комиссии, был «неукротим в словах и суждениях». После восстания Черниговского полка был осужден по I разряду и приговорен к вечной каторге.

Стр. 179. *Гродецкий* Анастасий Степанович — помещик, дворянский заседатель Киевского главного суда; член тайного Польского патриотического общества.

«Конституция Третьего мая» — была принята польским сеймом в 1791 году. Вводила ряд прогрессивных и демократических установлений, но предусматривала господство аристократии.

Стр. 183. *Борисовы* Андрей Иванович (1798—1854) и Петр Иванович (1800—1854) — основатели Общества соединенных славян; прославились замечательной стойкостью убеждений и революционным демократизмом. Петр Ив. вел пропаганду среди солдат, открывая им цели общества. Оба были приговорены к вечной каторге. Андрей Ив. в Сибири сошел с ума; в день скоропостижной смерти брата покончил с собой.

Тютчев Алексей Иванович (1800—1856) — с 1825 года член Общества соединенных славян.

Стр. 185. *...в области морали на месте не стоим...* — Членам Общества соединенных славян уставом предписывались строгие правила нравственности.

Стр. 193 *Андреевич* Яков Максимович (1800—1840) — член Южного общества; активно участвовал в подготовке восстания на юге; после восстания Черниговского полка был осужден по I разряду и приговорен к вечной каторге.

Стр. 196. *Горбачевский, придя домой, записал...* — Далее приводится цитата из «Записок Неизвестного» (члена общества

Соединенных славян), приписывавшихся рядом исследователей Горбачевскому. М. В. Нечкина в своих работах, опубликованных после написания романа О. Форш, убедительно доказывает авторство Петра Борисова.

Стр. 197. *Шеколла* Викентий Иванович. — После восстания Черниговского полка был переведен в рядовые.

Анойченко Федор Николаевич — рядовой Саратовского пехотного полка; по службе был длительно связан с С. И. Муравьевым-Апостолом и М. П. Бестужевым-Рюминым. Был приговорен к 12 тыс. шпицрутенов и, по-видимому, во время истязания погиб.

Стр. 199. *Браницкая.* — владелица 27 тыс. крепостных.

Стр. 201. *Зенин* Иван — солдат-артиллерист, вероятно участник войны 1812 года; имел награждение «за беспорочную службу».

Кузнецов Никита — солдат-артиллерист.

Стр. 205. *Бечасный* — Бечаснов Владимир Александрович (1802—1859), член Общества соединенных славян, сын мелкого чиновника. После восстания Черниговского полка был осужден по I разряду и приговорен к вечной каторге.

Стр. 209. *Кузьмин* Анастасий Дмитриевич — поручик, участник восстания Черниговского полка. После подавления восстания застрелился.

Сухинов Иван Иванович (1795—1828) — поручик, участник восстания Черниговского полка. Осужденный по I разряду и приговоренный к пожизненной каторге, возглавил в Сибири восстание каторжно-ссыльных; после неудачи покончил с собой.

Стр. 212. *Артамон Захарович Муравьев* (1794—1846) — полковник, член Южного общества; в декабристских организациях состоял с 1817 года и занимал радикальные позиции. Однако от участия в восстании Черниговского полка уклонился. Был приговорен к вечной каторге.

Пыхачев Матвей Иванович (р. 1791 г.) — член Южного общества; в решительный момент от участия в событиях уклонился и остался вне репрессий.

Стр. 215. *Лорер* Николай Иванович (1795—1873) — член Южного общества, деятельно участвовавший в подготовке вооруженного выступления и восстания Черниговского полка. Автор ценных «Записок».

Стр. 217. *Бошняк* Александр Карлович (1786—1831) — тайный агент полиции, выследивший Южное общество. Был убит неизвестными мстителями.

Стр. 218. *Старосельский* — поручик Вятского пехотного полка; провокатор, сотрудничавший с Майбородой.

Стр. 224. Разговор Пестеля с графом Паленом произошел в 1814 году.

Стр. 234. *Шервуд* Иван Васильевич (1798—1867) — сын механика-англичанина, выписанного в Россию. С провокаторскими намерениями вступил в Южное общество. Летом 1825 года подал донос Александру I.

Стр. 253. *Бестужев* Николай Александрович (1791—1855) — член Северного общества с 1825 года; морской офицер. Талантливый историк, экономист, живописец и писатель. 14 декабря 1825 года привел на Сенатскую площадь Гвардейский морской экипаж. Был осужден по I разряду к пожизненной каторге.

Стр. 258. *Штейнгель* Владимир Иванович (1783—1862) — член Северного общества, подполковник в отставке. Принадлежал к правой группировке декабристов. Был приговорен к двадцати годам каторги.

Якубович Александр Иванович (1792—1845) — офицер; формально к обществу не принадлежал, но в подготовке и ходе восстания 14 декабря принял активное участие. Пользовался репутацией отчаянного бретера; был переведен из гвардии в армию за участие в дуэли со смертельным исходом. Во время

восстания несколько раз выходил из рядов восставших и отправлялся к Николаю I, что вызвало нарекания и подозрения в двурушничестве. Однако есть предположение, что он подходил к Николаю в поисках удобного момента для его убийства. После разгрома восстания приговорен к пожизненной каторге.

Стр. 264. *Розен* Андрей Евгеньевич (1800—1884) — член Северного общества, автор мемуаров.

Стр. 269. *Секретарь Сперанского* (до 1821 г.) — декабрист Г. С. Батеньков, намеченный в члены Временного правительства.

Стр. 276. *Петр Григорьевич Каховский* (1797—1826). — Поставленный вне разряда, был повешен в числе пяти декабристов 13 июля 1826 года.

Стр. 282. *Строки Рылеева* — из стихотворения «Гражданин».

Пущин Михаил Иванович (1800—1869) — брат декабриста И. И. Пущина, капитан; к обществу не принадлежал.

Бестужев Михаил Александрович (1800—1871) — член Северного общества с 1825 года, штабс-капитан; за активное участие в восстании 14 декабря был осужден по I разряду и приговорен к пожизненной каторге. Автор воспоминаний «Мои тюрьмы».

Стр. 283. *Как прекрасен был сегодня Рылеев...* — слова из «Воспоминаний о Рылееве», написанных Николаем Бестужевым.

Сутгоф Александр Николаевич (1801—1872) — член Северного общества с сентября 1825 года, был причислен к I разряду и приговорен к пожизненной каторге.

Стр. 285. *Петр* — Петр Александрович (1803—1840), младший из братьев Бестужевых. За участие в восстании был разжалован в солдаты.

Стр. 286. *Мать* Бестужевых — Прасковья Михайловна (ум. в 1846 г.); была женщиной простого происхождения (из городских мещан).

«Как счастлив я...» — неточная цитата из стихотворения Рылеева «Романс» (1820).

Стр. 289. *Терзаниями совести* и опасением истребления солдатами царской семьи Якубович мотивировал свой отказ в Следственной комиссии.

Стр. 295. *Щепин-Ростовский* Дмитрий Александрович, князь (1798—1859). — Членом Северного общества стал за два дня до восстания, во время которого вел себя пылко и несколько необузданно. Был приговорен к пожизненной каторге.

Стр. 299. *Орлов* Алексей Федорович (1786—1861) — брат декабриста М. Ф. Орлова. В день 14 декабря оказал царю неоценимые услуги, руководя подавлением восстания. Стал любимцем царя и сумел выхлопотать «помилование» брату.

Стр. 305. *Панов* Николай Алексеевич (1803—1850) — вступил в Северное общество за месяц до 14 декабря. Пользовался любовью и доверием солдат. Был причислен к первому разряду и приговорен к пожизненной каторге.

Стр. 306. *Народу, казалось, было больше, чем солдат.* — Декабрист Розен сообщает в своих «Записках», что народу на площади было «вдесятеро более солдат».

Стр. 311. *...недоуменный и грустный вопрос.* — О поведении Трубецкого см. во вступительной заметке.

Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797—1846) — поэт, критик, драматург, ближайший друг Пушкина со времен Лицея и Грибоедова. В Северное общество вступил за две недели до восстания. Был причислен к I разряду. После десяти лет одиночного заключения был выслан в Сибирь.

Стр. 317. *...застыл рядом с Аракчеевым...* — Николай I не благоволил к Аракчееву, и карьера последнего при нем оборвалась.

Стр. 319. *Оржицкий* Николай Николаевич (1796—1861) — отставной офицер; членом тайного общества не был.

Стр. 322. *...один из современников отметил...* — Имеется в виду священник И. Виноградов, автор «Записок протоиерея».

Соловьев Вениамин Николаевич, барон (1798—1871) — участник восстания Черниговского полка, был приговорен к вечной каторге.

Шепило — Щепилло Михаил Алексеевич, поручик, участник восстания Черниговского полка, во время которого был убит.

Стр. 328. *Принц Конде* Бурбон (1736—1818). — Возглавил военные силы французских эмигрантов; одно время состоял со своим войском на русской службе.

Стр. 329. *Мирабо* О.-Г., граф (1749—1791) — деятель французской революции, один из вождей умеренного крыла; политический писатель и оратор, прославившийся красноречием.

Стр. 337. *Я все расскажу государю об Обществе* и т. д. — Артамон Муравьев предложил наивно-фантастический план «перетянуть» на свою сторону Николая и его окружение и убедить их в необходимости преобразований.

Стр. 340. *Михей Шутов* — после подавления восстания был приговорен к зверскому наказанию — 12 тыс. шпицрутенов.

Стр. 352. *Аврамов* — унтер-офицер, убеждавший солдат примкнуть к восстанию.

Стр. 353. *Мозалевский* Александр Евстахиевич (1803—1851) — прапорщик, участник восстания Черниговского полка; был приговорен к вечной каторге.

Стр. 359. Сведения о чтении перед полком «Катехизиса» С. Муравьева разноречивы. Более вероятно, что чтение имело успех. «Катехизис» не только читался, но предварительно распространялся среди солдат. См. во вступительной заметке.

Стр. 376. *А Муравьев все еще хотел верить в победу.* — Раненый С. Муравьев, по его показаниям, был захвачен самими солдатами в то время, когда хотел сесть верхом, чтобы собрать их.

Стр. 384. *Басаргин обстоятельно запомнил...* — Речь идет о «Записках» члена Южного общества Басаргина (1799—1861).

Стр. 390. *Мордвинов* Николай Семенович, граф (1754—1845) — адмирал, член Государственного совета, находившийся в оппозиции самодержавию.

Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839) — государственный деятель, автор проекта либеральных реформ.

Стр. 399. *Саша Одоевский* — Александр Иванович (1802—1839), член Северного общества, поэт, офицер; во время следствия находился в состоянии растерянности.

А как важно было достучаться до Рылеева!.. — Рылеев вначале в значительной мере поверил в разыгранную Николаем I «гуманность» и его прогрессивные государственные замыслы.

Стр. 411. *Неизбежное «зерцало»* — треугольная призма, на каждой из сторон которой были наклеены петровские указы (о хранении прав гражданских и др.). «Зерцало» считалось необходимой принадлежностью всех без исключения государственных учреждений.

Стр. 415. *...два друга, связанные литературной работой в «Полярной звезде»...* — Кюхельбекер издавал не «Полярную звезду», а альманах «Мнемозина», совместно с В. Ф. Одоевским. В «Полярной звезде» напечатал одно стихотворение.

Стр. 421. *12 июля.* — Казнь декабристов произошла 13 июля 1826 года.

Стр. 425. *Ван-Дейк А.* (1599—1641) — великий голландский художник-портретист, ученик Рубенса. Для полотен его характерны благородство и одухотворенность образов.

Стр. 433. *Цирюльник* — присутствовал для пускания крови в случае потери сознания кем-либо из декабристов.

Стр. 442. Цитата из «Былого и дум» А. И. Герцена.

Стр. 443. Цитата из книги А. И. Герцена «О развитии революционных идей в России».

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРВЕНЦЫ СВОБОДЫ

Ольга Дмитриевна Форш

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ, т. 5

Редактор П. Сидоров
Художественный редактор Л. Чалова
Технический редактор Л. Крючкина
Корректор Г. Шер

Сдано в набор 21/II 1962 г. Подписано к печати 28/X 1963 г. Бумага 70 × 108 1/32. — 15 печ. л. = 20,55 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 19 + 1 вкл. = 19,032 л. Тираж 109 500 экз. Заказ № 504. Цена 75 к.

Гослитиздат
Ленинградское отделение. Ленинград, Невский пр., 28.

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление целлюлозно-бумажной и полиграфической промышленности, Типография № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького, Ленинград, Гатчинская, 26.